

ИЗВЕСТИЯ

Уральского государственного

УНИВЕРСИТЕТА



ЕКАТЕРИНБУРГ

ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

- В. В. Алексеев**, акад. РАН
(Екатеринбург)
- А. Е. Аникин**, чл.-корр. РАН
(Новосибирск)
- Д. Беннер**, проф. (Берлин)
- Дж. Боулт**, проф. (Лос-Анджелес)
- С. В. Голынец**, акад. РАН
(Екатеринбург)
- А. В. Головнев**, чл.-корр. РАН
(Екатеринбург)
- К. Н. Любутин**, докт. филос. наук
(Екатеринбург)
- М. Перри**, проф. (Бирмингем)
- А. В. Перцев**, докт. филос. наук
(Екатеринбург)
- Ю. С. Пивоваров**, акад. РАН
(Москва)
- Х. Рюсс**, проф. (Мюнстер)
- В. В. Тулупов**, докт. филол. наук
(Воронеж)
- А. В. Черноухов**, докт. ист. наук
(Екатеринбург)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Председатель

Д. В. Бугров, ректор УрГУ

Заместители председателя

А. О. Иванов,
проректор по научной работе

С. А. Рогожин,
проректор по учебной работе

А. В. Подчиненов,
директор Издательско-
полиграфического
центра «Издательство УрГУ»

Члены редакционного совета

В. М. Амиров,
канд. филол. наук,
гл. редактор серии 1
«Проблемы образования,
науки и культуры»

Л. С. Соболева,
докт. филол. наук,
гл. редактор серии 2
«Гуманитарные науки»

Н. В. Суслов,
канд. филос. наук,
гл. редактор серии 3
«Общественные науки»

2011
№ 3 (93)

Серия 2
ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ

СЕРИЯ ОСНОВАНА
В 1999 ГОДУ

ВЫХОДИТ
ЧЕТЫРЕ РАЗА В ГОД

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
СЕРИИ

Главный редактор

Л. С. Соболева

Заместитель главного редактора

Д. А. Редин

Члены редколлегии

Е. П. Алексеев

Н. Н. Баранов

С. В. Голынец

О. В. Зырянов (отв. за выпуск)

В. Д. Камынин

Л. С. Лихачева

А. В. Маркин (отв. за выпуск)

А. М. Плотникова (отв. за выпуск)

Ю. А. Русина

А. В. Шаманаев

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОЛОГИЯ

- Леонтьева Т. В.* Семантическое поле «обучение, передача опыта» в русской языковой и фольклорной традиции 6
- Кучина Е. А.* Молитва в лирике А. С. Пушкина: дружество как братство 19
- Волегов А. В.* «Чайка» А. П. Чехова в контексте художественных исканий эпохи 24
- Высоцкая Ю. С.* «Четвертая проза» О. Мандельштама: стилевое своеобразие 30
- Кутяева У. С.* Функциональная типология прецедентных текстов (по пьесам Н. В. Коляды) 42
- Морженкова Н. В.* Авангардистская антропология Гертруды Стайн 51
- ### ИСТОРИЯ
- Кокшаров С. Ф.* Сюжетный рисунок на керамике в творчестве древнего населения Средней Оби 58
- Ганиев Р. Т.* Внешняя политика Китая в VI—VIII вв. по отношению к восточным тюркам в Центральной Азии 65
- Комлева Ю. Е.* Роль поздне римских и византийских традиций в формировании социально-правового статуса профессоров XV—XVIII вв. 73
- Скобелкин О. В.* Иностранцы авторы о западноевропейцах в русском войске 2-й половины XVI в. 85
- Постникова А. А.* Русская кампания 1812 г.: по следам Стендаля 96
- Тутикин П. А.* Отношения Москвы и Вашингтона на завершающем этапе Второй мировой войны в Восточной Европе (январь — май 1945) 103
- Суржикова Н. В.* Военнопленные в Богословском горном округе: статистика и экономика 110

- Горшков С. В.* Капитальные вложения в легкую промышленность Урала в 1959—1965 гг. 129
- Каменская Е. В.* Образ социалистического мира в свердловской областной печати (публикации «Уральского рабочего» в середине 1960-х — 1970-е гг.) 138

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

- Гончарик Н. П.* Этнокультура Алтая в графике Г. И. Чорос-Гуркина 146
- Писцова И. Н.* Керамическая пластика Урала XX — начала XXI в. в собрании Екатеринбургского музея изобразительных искусств 160
- Субботина В. А.* Художественно-стилевое своеобразие тобольской резьбы по кости (1860-е — 1917) ... 171
- Гадицкий Р. В.* Особенности визуализации религиозных сюжетов в романском искусстве 177
- Береговая О. В.* Украшения костюма: мода и технологии 186

ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ: ЮБИЛЕЙНАЯ ПОЛЕМИКА

- Нефедов С. А.* О рабовладельческой сущности русского крепостничества 199
- Тимофеев Д. В.* Поиск подходов к решению крестьянского вопроса в российском социально-политическом лексиконе 1-й четверти XIX в. 206
- Неклюдов Е. Г.* Несостоявшаяся реформа горнозаводской посессии: причины, проекты, последствия 219
- Ефремова Е. Н.* «Фальшивое торжество квасного патриотизма...»: уральская пресса 1911 г. об отмене крепостного права 232

РЕЦЕНЗИИ

<i>Козлов А. С.</i> Новое популярное американское пособие по истории падения Римской империи	241
<i>Зырянов О. В.</i> Эстетика словесного художественного творчества глазами Донецкой филологической школы	245
<i>Семухина И. А.</i> Литература Урала сквозь призму современной жанрологии	253

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Конференции

Литературный музей в современном мире. Международная научно-прак-	
-------------------------------------------------------------------	--

тическая конференция (<i>В. Б. Королева</i>)	262
------------------------------------------------------	-----

Информация

О работе диссертационных советов Д 212.286.03 (<i>М. А. Литовская</i>) и Д 212.286.03 (<i>Л. А. Назарова</i>)	264
Новые публикации филологического факультета	268

MEMORIA

Людмила Григорьевна Гусева (1939–2011)	273
Список сокращений	275
Сведения об авторах	276

УДК 81:39 + 811.161.1'28 + 811.161.1'271

Т. В. Леонтьева

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ОБУЧЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА ОПЫТА» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ И ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ*

В статье предлагается описание свойственных народной культуре представлений об обучении. Исследование выполнено на материале русской диалектной лексики, а также русских пословиц и поговорок. Анализ системно-языковых данных и указанных фольклорных текстов ведется в сравнительном ключе. Устанавливаются объем понятия «обучение», его структура, образное осмысление и аксиологический статус в русской языковой картине мира.

К л ю ч е в ы е с л о в а: этнолингвистика; лингвистическая аксиология; русская диалектная лексика; семантика; мотивация; паремиология; представления об обучении.

В народной культуре особое внимание уделяется обучению в широком смысле, т. е. процессу познания, приобретения умений, опыта, образованию. Трансляция норм, передача знаний находится в сфере интересов любого этноса, поэтому лексико-семантическое поле «Обучение» объединяет множество слов и фразеологизмов, которые предстоит осмыслить с точки зрения семантики и мотивации. Значимость воспитания, обучения ремеслу и накопления опыта, осознание носителем русской культуры того факта, что они составляют основу сохранения и развития общества, подтверждается текстовым материалом, и особенно ценный источник информации о концепте обучения, как нам кажется, представляет собой ф о л ь к л о р. Показательно, что большую группу составляют пословицы, затрагивающие тему познания.

* Исследование выполнено в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (тема «Современная русская деревня в социо- и этнолингвистическом освещении», ГК 14.740.11.0229).

Этот жанр имеет определенное назначение, которое состоит в отборе и аккумуляции сведений, достойных долговременного хранения, поэтому есть основания думать, что пословицы фиксируют устойчивую часть представлений о мире, приближаясь по «степени объективности» отражения действительности к системно-языковым единицам. Для сравнения приведем точку зрения Л. Б. Савенковой, характеризующей пословицу как «иконический знак», «вторичный языковой знак», т. е. как единицу, которая совмещает свойства языкового знака и микротекста [см.: Савенкова, с. 101].

Кроме того, пословицы представляют собой жанр со специфическим коммуникативным заданием — служить назиданием, наставлением. Паремии, образующие тематическую группу «Обучение», интересны тем, что они аккумулируют знания о знании, учат тому, как следовало бы учиться.

В настоящей статье предлагается опыт экспликации представлений об обучении, репрезентированных в системно-языковых единицах и в текстовом материале одного фольклорного жанра. Для анализа привлекаются номинации этой сферы (цельнооформленные лексемы и фразеологизмы из общенародного языка и русских народных говоров), отобранные по семантическому основанию, а также русские пословицы и поговорки, затрагивающие тему познания.

Источники, из которых извлечен материал исследования, сопоставимы с известной долей условности. Сравнение проводится исходя из того, что диалектная лексика и корпус русских пословиц сходны в отражении традиционной народной культуры, запечатленной их средствами. Можно предполагать, что они имеют общую образную основу, опираются на одни и те же понятия и культурные ценности. Обращение к традиционно противопоставляемым источникам — системе языка и системе текстов — при общем для них предмете исследования обусловило сопоставительный ракурс изложения.

Материал будет представлен далее в соответствии с задачами выявления объема понятия «обучение», его структуры, образного осмысления и аксиологического статуса в русской языковой картине мира.

Объем понятия «обучение»

Обучение имеет процессуальный характер и существует в виде множества ситуаций, которые описаны посредством лексических единиц и текстов. Анализ семантики слов и тематики пословиц позволит прояснить вопрос о том, к каким ситуациям применимо понятие «обучение». Прежде всего обратим внимание на значения глаголов *учить*, *учиться*, *обучать* и на лексемы, в дефиниции которых включены эти слова. Так, слово *учиться* используется при описании самых разных ситуаций: учиться писать, читать, ходить, косить и т. д., учиться какой-либо профессии, учиться вести себя, быть сдержаннее, мудрее, жить в сообществе людей, учиться хитрить и т. п. Наличие этих же глаголов в синтаксической структуре пословиц является одним из критериев отбора пословичных текстов.

Изучение семантики лексических и фразеологических единиц основывается на том, что их значения рассматриваются как итог осмысления человеком

действительности. Носитель языка подбирает языковые знаки только для тех объектов, которые он «замечает», вычленяет в окружающем мире. При обращении к общенародным и диалектным фактам естественно ожидать, что состав лексико-семантического поля «Обучение» будет разнородным в семантическом и грамматическом отношении.

Действительно, в дефинициях слов отображены такие ситуации передачи и приобретения знаний, как получение образования (кемер., иркут. *на скамье сидеть* 'учиться в школе' [СРГС, т. 4, с. 300]), приобретение культурных навыков (новг. *накультіроваться* 'набраться знаний, стать культурным' [СРГК, вып. 3, с. 341]), воспитание детей (брян., смол. *припутіть* 'приучить к делу, воспитать, вывести в люди' [СРНГ, вып. 31, с. 361]), морально-этическое воздействие на взрослого человека путем внушения, наказания, совета (печор. *в кость сказать* 'дать нужный совет' [ФСРГНП, т. 1, с. 79], печор. *говоря* 'увещания, наставления' [СРГНП, т. 1, с. 139]), приобретение жизненного опыта (печор. *битый по плечу* 'бывалый, опытный, много повидавший, много знающий' [ФСРГНП, т. 1, с. 44]), освоение ремесла и хозяйственных умений и навыков (карел. *натуріться* 'научиться, приобрести навык в работе' [СРГК, вып. 3, с. 388]).

Это семантическое разнообразие соотносимо с широкой тематикой и содержанием пословиц. Если классифицировать их, то они распределятся по группам, описывающим обучение грамоте (*Аз, буки и веди страшат, что медведи* [Иллюстров, с. 390]), приобретение мастерства (*Ученье без уменья — не польза, а беда* [Зимин, с. 281–282]), нравственное воспитание (*Учись доброму, а худое и само придет* [Даль, т. 4, с. 543]), приобретение жизненного опыта в трудных обстоятельствах (*Бедность учит, а счастье портит* [Там же]) и др. Нередко слово *учиться* употребляется в них недифференцированно — имеется в виду обучение вообще, любое: *Науку трудно терпеть, а после слобится* (Собрание А. И. Богданова) [ППЗ, с. 99], *К чему смалу привык, тому под старость не учиться* [Даль, т. 4, с. 236].

При анализе отображения в языке избранного фрагмента действительности выявляется множество совпадений между представлениями об обучении, зафиксированными в лексике (в значениях слов и в их мотивации) и в корпусе пословиц. Приведем для сравнения несколько параллелей.

Значительное место в народной культуре отводится приобретению практических умений и навыков — ремесленнических, хозяйственных, профессиональных. Об этом говорит внутренняя форма перм. *умелец* 'опытный, знающий, сведущий в чем-л. человек' [СПГ, вып. 2, с. 474], лексическое значение мурман. *наштиговаться* 'наловчиться, научиться что-н. делать' [СРГК, вып. 3, с. 401], контекстное словоупотребление перм. *азы иметь* 'иметь представление, понятие о чем-л.' (*Азы-то имеешь косить? Главно, на пятку жми*) [СПГ, вып. 1, с. 358]. Суждения о практическом результате обучения содержат и пословицы: *Не учи безделью, учи рукоделью; Не учась и лаптя не сплетишь; Ученье — путь к уменью* [Зимин, с. 281–284], краснояр. *Учись смолоду — не умрешь с голоду* (Собрание М. В. Красноженовой) [ППЗ, с. 178], олон. *Коли грамотка дастся,*

так на ней далеко уедешь (записи неизвестного лица) [ППЗ, с. 156] (здесь и далее — сведения об ареале пословицы даются в случаях, когда это известно).

И в лексике, и в пословицах уделено внимание нравственному и культурному воспитанию, формированию привычек: *учиться* ‘воспитывать, вырабатывать в себе какую-либо привычку, качество, умение’ и *учить* ‘воспитывать, вырабатывать, прививать какие-либо качества, привычки, навыки’ (...*учить деликатности*) [ССРЛЯ, т. 16, с. 1162, 1165]; волог., ленингр. *нава́дить* ‘приучить к чему-н.’ (*Что ты его не навадила говорить «Здравствуй»?*) [СРГК, вып. 3, с. 297]; *Не учись пиво пить, учись деньги копить* [Даль, т. 4, с. 543], краснояр. *Около чего потрешься, того и наберешься* (собрание М. В. Красноженовой) [ППЗ, с. 181].

Особое право на воспитание признается за родителями: арх. *по́йка* ‘родительское воспитание’ [СРНГ, вып. 30, с. 333], ср. диал. (Латв. ССР) *безба́тьковщина* ‘плохо воспитанный человек; ребенок (обычно выросший без отца)’ [СРНГ, вып. 2, с. 181]; *Умел дитя родить, умей и научить* [Даль, т. 4, с. 510]; *Учи сына сам* (собрание И. В. Пауса) [ППЗ, с. 41]. Пословицы указывают на закономерную схожесть родителей и детей, вольно или невольно перенимающих родительские взгляды и привычки: *Молодой петух поёт так, как слышал от старого; Свинья — хрю, и поросёнок — хрю; Отец — рыбак, и дети в воду смотрят* [Зимин, с. 284].

Освоение грамоты также находится в зоне внимания носителя русского языка: ср. перм. *больша́я гра́мота* ‘образование’ (*Сиротой жил, дак не дали большую грамоту*) [СПГ, вып. 1, с. 185]; олон. *Грамота черкнет — и памяти не надо, прочтешь — и спрашивать не надо* (записи неизвестного лица) [ППЗ, с. 152]; *Грамоте поучиться, как камешки поглотать* [Иллюстров, с. 390].

Кроме того, затрагивается сфера приобретения житейского опыта и мудрости: простореч. *образоваться* ‘стать рассудительнее, разумнее’ (*Обломать, чтоб сучья-то все эти с мужика шибить — вот тогда он и поймет, образуется — Г. Успенский «С конки на конку»*) [ССРЛЯ, т. 8, с. 367]; *Не спрашивай старого, спрашивай бывалого* (собрание В. Н. Татищева) [ППЗ, с. 58], *Убыток учит нажить прибыль* [ПРН, т. 1, с. 635]. Как можно заметить, в пословицах конкретизируются те области, в которых приобретается опыт, значимый для народной культуры.

Еще один способ передачи знаний — совет, на что указывает внутренняя форма перм. *совета́тельный* ‘много знающий, умеющий; опытный’ [СПГ, вып. 2, с. 368]: *От совета старых людей голова не болит; Один советует — один и отвечает* (собрание И. В. Пауса) [ППЗ, с. 45]. Ирония по отношению к советчику слышится в пословице: *Научат добрые люди решетом воду носить* [ПРН, т. 2, с. 439].

Таким образом, обучение — широкое понятие, выступающее в нескольких ипостасях, каждая из которых представлена в лексике и в суждениях, составляющих содержание пословиц.

Референциальная связь между этим денотативным многообразием и общим для них понятием «обучение» должна иметь обоснование, подтверждаемое на уровне семантики, мотивации, словоупотребления, текстов.

Репрезентация в лексических и паремиологических единицах семантической структуры понятия «обучение»

Одна из задач описания русской языковой картины мира состоит в исследовании того, на какие предметы, свойства, действия, ситуации, состояния, отношения, процессы обращает внимание носитель русского языка.

Процесс, организованный как ряд разворачивающихся во времени и пространстве действий людей, должен быть репрезентирован в языке «сюжетно». Действительно, обучение с учетом всего многообразия конкретных ситуаций можно осмыслить в виде инвариантной семантической структуры, которая включает актанты, их характеристики и действия, атрибуты, результат, ценностные ориентиры. Эти элементы образуют прототипическую ситуацию — типизированное представление об обучении в разных его воплощениях.

При анализе слов и пословиц выявляются две основные позиции в соответствии с двумя типами описываемых ситуаций — воздействием обучающего на обучаемого либо самостоятельным приобретением знаний и опыта. В значениях глаголов и в синтаксических конструкциях пословиц заложены основные синтаксические валентности: *учить* — кто, кого, чему; *учиться* — кто, у кого, чему.

Субъект обучающего воздействия упоминается и в лексике, и в пословицах, однако различие состоит в типе информации о нем. Лексика фиксирует его основную функцию: волог. *нау́читель* 'учитель' [СРГК, вып. 3, с. 393]. Пословицы же содержат, помимо всего прочего, итог рефлексии людей относительно качеств того, кто берется учить: *Кто собой не управит, тот и других не наставит* [Зимин, с. 284], *Кто молчит, тот двух научит* [Даль, т. 2, с. 350].

Пословицы имеют необходимый «ресурс» для того, чтобы обозначить социальные роли, через которые реализуются воспитательные функции. Согласно народным стереотипам, в роли того, кто оказывает поучающее воздействие, кто способен учить, наставлять, могут выступать родители, муж, люди, поп: *Не учил отец — дядя чужой научит*; *Не выучили отец с матерью — нужда научит* [Зимин, с. 284]; *Лучше камень долбить, нежели злую жену учить* [ПРН, т. 1, с. 475]; *Не уча (Неуча) в попы не ставят* [Даль, т. 4, с. 543]. В обобщенных категориях это родные, чужие и священнослужители. В лексическом материале наиболее явно выражена только обучающая функция родителей: пск., твер. *неотцѡвщина* 'непослушание, неповиновение родителям' [СРНГ, вып. 21, с. 106].

В то время как «дидактические» возможности лексики ограничены, пословицы — подходящая «форма» для хранения рекомендаций и запретов. Это касается, например, «народной субординации», а именно правил поведения обучающего: *Учи жену без детей, а детей без людей!* [ПРН, т. 1, с. 470]; *Учи, поколе поперек лавки ложится* [Даль, т. 4, с. 543].

Помимо прочего, значима в народном сознании тема «педагогических неудач» и расплаты за них: *Не выучил сына, так он тебя выучит* [Зимин, с. 284]. Пословицам как дидактическому жанру свойственно предупреждать о путях развития ситуации, устанавливать причинно-следственные, условные, временные и другие логические связи между явлениями.

Наконец, общность между лексическими и пословичными репрезентациями обучающего воздействия состоит в констатации возможности замены персоналии (субъекта обучения) обстоятельствами, ср. литер. *учить* 'обогащать опытом, знаниями, пониманием чего-либо' (*Жизнь учит...*) [ССРЛЯ, т. 16, с. 1163—1165], арх. *образовать* 'изменить к лучшему' (*Армия-то всех образует...*) [СРНГ, вып. 22, с. 192]; *Нужда мудрее мудреца* [Зимин, с. 284], *Бедность учит, а счастье портит* [Даль, т. 4, с. 543].

Пословицы определяют наиболее устойчивый для представителей русской культуры спектр житейских обстоятельств, вынуждающих человека меняться, учиться быть другим. Такую функцию выполняют бедность и болезнь, отъезд из дома и неволя, работа и женитьба: *Нужда научит терпеть* (собрание В. Н. Татищева) [ППЗ, с. 59]; *Нужда научит Богу молиться*; *Нужда научит кузнеца сапоги тачать*; *Нужда научит горшки узнавать* (или — *обжигать*); *Убожество учит, богатство пучит* [ПРН, т. 1, с. 79—80]; *Печка дрожит (нежит), а дорожка учит* [Даль, т. 1, с. 509]; *Научит горюна чужая сторона (и вымучит, и выучит)* [Там же, с. 389]; *Неволя научит калачи есть* (Собрание А. И. Богданова) [ППЗ, с. 100]; *Неволя учит и ума дает* [ПРН, т. 2, с. 428]; краснояр. *Работа и мучит, и кормит, и учит* (Собрание М. В. Красноженовой) [ППЗ, с. 176]; *Дело учит, и мучит, и кормит* [Даль, т. 2, с. 370]; *Добрая женитьба к дому приучает, худая от дому отучает* [ПРН, т. 1, с. 453]. Интересно, что пословицы имплицитно характеризуют этот вид познания мира как эффективный вариант обучения с «гарантированным» результатом.

Объект обучения, безусловно, попал в объектив языка: моск., пск., ленингр., смол. *обученец* 'ученик' (*Это мой обученец в этом деле*) [СРНГ, вып. 22, с. 257], *Боится школьник лозы больше грозы* [ПРН, т. 1, с. 247]. Маркированы некоторые характеристики познающего, и пословицы имеют явное преимущество перед лексикой в их репрезентации, поскольку на первый план выходит оценка эффективности обучения человека с такими характеристиками. Приводятся своеобразные «модели прогнозирования» успешности обучения, зависящей от природных данных, возраста, стремления либо нежелания учиться, семейного положения, а также от уже имеющихся знаний либо умений.

Молодость и старость противопоставляются друг другу как соответственно наиболее и наименее подходящее для обучения время: краснояр. *Ребенок, что воск, — что хочешь, то и сольешь* (собрание М. В. Красноженовой) [ППЗ, с. 185]; *К мягкому воску печать, а к юну ученье* [Иллюстров, с. 387]; *Вовремя — лозою да грозою, а ушло время — и дубиной дурь не вышибешь* [Зимин, с. 284]; *Не учили, куда поперек лавки укладывался, а во всю вытянулся — не научишь!* [Даль, т. 4, с. 543]; *Старого учить — время ушло* [Зимин, с. 281]. Любопытно, что в лексике молодость «выглядит» иначе, а именно как период интеллектуальной незрелости (смол. *младоумие* 'неразвитость, недогадливость' [СРНГ, вып. 18, с. 182]), который не рассматривается с позиций «обучаемости».

Придается значение способностям, которые имеет человек при рождении: моск. *саморód* 'человек, обладающий большими природными дарованиями, но не получивший систематического образования; самородок' [Там же, вып. 36, с. 97], арх., свердл. *самоу́к, самоу́ка* 'самоучка' (*Самоука ведь я, до всего сам*

дошел [СРНГ, вып. 36, с. 108]), перм. *иметь нату́ру* ‘иметь склонность, способности к чему-л.’ (*Кто натуру не имеет, на кузнеца не выучится* [СПГ, вып. 1, с. 359]), *Нет роженного, не дашь ученого (ума)* [Даль, т. 4, с. 543]; *Ученая ведьма хуже природженной* [ПРН, т. 1, с. 542].

Нежелание учиться, прилагать усилия понимается как препятствие для приобретения знаний: *Науку в голову не вобьешь, как охоты не будет; Не выучит школа, выучит охота; Ум слабый не желает науки, а хочет век прожить без скуки* [Иллюстров, с. 387–389]; *Иной охоч, да не горазд, иной и горазд, да не охоч* [ПРН, т. 1, с. 542]. В пословицах проводится мысль о том, что нельзя обойтись без приложения усилий: *С трудом науку изобретать* (Собрание И. В. Пауса) [ППЗ, с. 45]; *Аще кто хочет много знати, подобает ему мало спати* (сб. посл. б. Петровской галереи) [Там же, с. 24]. На уровне лексики интенции обучающегося не просматриваются. Нет цельнооформленных лексем со значением ‘желание учиться’, ‘тот, кто не хочет учиться, не прилагает усилий’ и под.

Кроме того, уже имеющийся навык затрудняет усвоение нового: *Легче учиться, чем переучиваться* [Зимин, с. 281]. Бессмысленность совета как попытки «научить» кого-либо тому, что он уже знает (или думает, что знает), утверждается в пословицах: *Не учи плясать, я и сам скоморох; Не учи рыбу плавать; Учи Астраханца рыбу пластать* [ПРН, т. 1, с. 541]; *Учёного учить — только портить* [Даль, т. 4, с. 543].

Наконец, пословицы указывают на «конфликт» между женитьбой и обучением: *Женатому учиться — времечко ушло* [ПРН, т. 1, с. 540]. По-видимому, в этом случае имеется в виду нехватка времени на обучение ремеслу, грамоте, поскольку в других пословицах, как уже говорилось, женитьба осмысливается, наоборот, как способная учить, если речь идет о приобретении жизненного опыта — умении вести хозяйство, мудрости в семейных отношениях.

Итак, физические данные, личностные качества (интенции, готовность), приобретенные умения, социальные факторы помогают прояснить вопрос о возможности или необходимости обучения. Однако носитель языка не может либо не считает нужным фиксировать такие «формулы расчета» в дефинициях слов или их внутренней форме.

Мы предполагаем, что информация, не запечатленная в виде цельнооформленной лексемы, имеет меньшую стереотипность. Вариантность суждений доказывает это. Так, в пословицах нередко делаются контрастные заявления об одном и том же предмете речи. Это проявляется, например, в противоположных оценках «обучаемости» человека. С одной стороны, «неспособного не стоит учить»: *Безумного волей не научишь* [Там же, с. 564]; *Дурака учить — время тратить* [Зимин, с. 277]. С другой стороны, «даже неспособного возможно учить»: *И медведя учат, не только человека* [Даль, т. 4, с. 543]; *И зайца учат стички зажигать; Ученое телятко разумней неученого дитятки* [Зимин, с. 282–285]. Еще пример — противоречие между утверждением о старости как препятствии для обучения и утверждением о возможности познавать мир в течение всей жизни: *Старого учить — что мертвого лечить. — Учиться никогда не поздно* [Там же, с. 281, 284].

Обратим внимание на то, что в некоторых языковых фактах и пословицах семантика, отсылающая к обучающему лицу, отсутствует вовсе, ср. волог. *обуміться* 'обучиться, научиться, узнать больше' [КСГРС], пск. *в голову бросать что* 'усваивать, запоминать что-либо' [СПП, с. 29], *Не учи хромать, у кого ноги болят* [ПРН, т. 1, с. 542]; *Учиться — не палку поднять с пола; Человек всю жизнь учится* [Зимин, с. 284]; и др.

Реконструкция ситуаций обучения показывает, что один из актантов, имплицитно включенных в семантику глагола *учить*, — ученик — более значим в сравнении с другими. Приобретение знаний без участия обучающего лица возможно, в то время как обучение при отсутствии приобретающей стороны (ученика, обучающего, познающего) невозможно. Первая валентность глагола *обучать* (обучающий) может оставаться незамещенной в реконструируемой позиции, а вторая (обучаемый) — ее обязательный элемент.

Результат обучения. Категории эффективности процесса обучения и его результата уже упоминались выше в связи с «педагогическими неудачами» родителей и с оценкой «обучаемости» человека, поставленной в зависимость от его возраста, личных качеств и социальных характеристик. Особенно приспособлены для объективизации этих категорий пословицы. В лексике же на результат указывает грамматическая оппозиция несовершенного и совершенного вида глаголов: перм. *нашколиться* 'выучиться' (*Внучка в городе нашколилась, теперь в магазине торгует*) [СПГ, вып. 1, с. 582], перм. *наторить* 'приобрести навык, научиться' (*Шибко хорошо она наторила свадьбы проводить, ее и в город зовут*) [Там же, с. 575].

Атрибуты обучения. Несмотря на то, что в зоне внимания носителя языка находится приобретение опыта, атрибутом обучения признается именно книга, и в этом лексика и пословицы «солидарны»: ворон., костром. *кнѣжнѣй* 'начитанный; учёный' [СРНГ, вып. 13, с. 344], перм. *букварь* 'о глупом, мало знающем человеке' (*Ты че, букварь ли че, ниче не соображаешь*) [СПГ, вып. 1, с. 65]), *Учиться без книги — что удить рыбу без крючка; Напрасный труд удить рыбу без крючка и учиться без книги* [Зимин, с. 282]; *Сладки книги, да не имеемся, а горько вино, да не лишимся* (собрание А. И. Богданова) [ППЗ, с. 111]; *Грамотею / учёному / письменному и книги в руки; Кто знает аз да буки, тому и книги в руки* [Бирих, с. 307]; краснояр. *Книгу читай — умом смекай* (собрание М. В. Красноженовой) [ППЗ, с. 172].

Сущность обучения. Типизированная модель обучения, обобщающая все его частные воплощения, основывается на динамической составляющей, поскольку тот, кто учится чему-то, меняется — становится знающим, компетентным, умелым, опытным, рассудительным, культурным. Сема 'изменение', выявляемая в дефинициях и реализуемая при помощи различных мотивационных элементов, является здесь базовой, ср. карел. *обрусеть* 'стать культурнее, цивилизованнее' (*Обрусеть... перешла в культуру, с дикого человека стал русский, настоящий*) [СРГК, вып. 4, с. 112]. Две обозначенные выше пропозиции (воздействие обучающего на обучаемого и самостоятельное приобретение знаний) имплицитно содержат общий предикат — изменение человека, инициируемое каким-либо субъектом или объектом (человеком или обстоятельствами).

Выявляются в дефинициях слов обсуждаемой группы и в пословицах также другие элементы динамической семантики: ограничения свободы (печор. *закликбть* 'окриком останавливать, бранить за шалости' [СРГНП, т. 1, с. 239]), речевого воздействия (печор. *в кость сказать* 'дать нужный совет' [ФСРГНП, т. 1, с. 79], *Сказано на глум, а ты бери себе на ум* [Даль, т. 1, с. 367]), деструктивного, в том числе физического, воздействия (карел. *накачать пиллюль* 'наказывать кого-н.' [СРГК, вып. 3, с. 330], мурман. *едать берёзовой каши* 'быть наказанным' (*Девки, видать, у матери берёзовой каши не едали, непослушны*) [Там же, вып. 2, с. 20]), принуждения (карел. *отбъть* 'заставить отказаться от вредных привычек, отучить' (*А нонь его отбили от этой глупости*) [Там же, вып. 4, с. 272]) и др. Объем понятия «обучать» можно описать как набор значимых сем: 'изменять кого-л.', 'воздействовать на кого-л.', 'оказывать речевое воздействие', 'принудить кого-л. к определенному поведению', 'контролировать (ограничивать) кого-л.' и т. д.

Таким образом, обучение как явление действительности, с которым соотносятся отобранные лексические единицы и пословицы, предстает в наивно-языковом сознании русского человека в виде структуры, включающей субъект и объект действия, а также само действие, его атрибуты и результат. Возможность варьирования этой структуры состоит в выпадении субъекта воздействия, и тогда человек, познающий мир через естественные обстоятельства, перестает быть объектом обучения, становясь единственным актантом в этой модели.

Отметим, что различия между лексикой и паремиологией существуют лишь в отображении отдельных вариантов прототипической ситуации обучения — нравственного, школьного, ремесленного и пр. Кроме того, пословицы более пригодны для хранения информации о взаимозависимости между разными участниками и этапами процесса, для оценочных и прогностических суждений по поводу результата, для детального описания актантов.

Как лексика, так и фразеология сообразно своим ресурсам способны фиксировать сходства, различия, связи между близкими понятиями. Например, в пословицах *Много учен, а недосечен; И не учен, да толчен* [ПРН, т. 1, с. 540] разведены получение знаний и воспитание (или опыт), а в лексике объективирована атрибутивная связь между образованием и культурой, переходом в другой культурный слой, ср. карел., ленингр. *накультуриуться* 'набраться знаний, стать культурным' [СРГК, вып. 3, с. 341], арх. *выйти на русь* 'выйти в люди, набраться опыта, получить образование; оторваться от своей среды' (*В деревне жил, жил, да вышел на русь и начал сам себя высоко ставить* [СГРС, т. 2, с. 226]).

Репрезентация в лексических и паремиологических единицах образного осмысления процесса обучения

Изучение лексики семантического поля «Обучение» в мотивационном аспекте позволяет реконструировать множество образов, и лишь небольшая их часть имеет соответствия в пословицах. Выясняется, что обычно постулируемая образность пословиц проявляется здесь сдержанно, поэтому метафоры, общие для лексики и текстов, вполне обозримы.

Так, одним из активных способов языковой кодификации информации о мыслительном акте и обучении является мотив хватания: литер. *понять, уловить смысл, схватывать суть*; влад. *зацáпистый* 'способный' [СРНГ, вып. 11, с. 168], иркут. *подхвátчивый* 'догадливый, наблюдательный' [Там же, вып. 28, с. 236]; *Сокол хватает на лету, а ворона и сидячего не возьмет* [Зимин, с. 282] и др.

Приобретение знаний осмысливается при помощи метафоры содержания: перм. *копítь ком умá* 'накапливать знания' [СПГ, вып. 1, с. 414], волог. *подна-нихáться* 'набраться некоторых отрывочных знаний' [СРГК, вып. 4, с. 647]. В пословицах она получает развитие в идее невозможности «наполнить» глупого человека знанием: *Дырявого меха не надуть, а безумного не научить* [Иллюстров, с. 387]. Ср. «водные» образы: арх. *почёрпнуть* 'узнать' [КСГРС]; *Неразумного учить — в бездонную кадку воду лить; Дурака учить — что решетом воду носить* [Иллюстров, с. 388].

В исследуемом материале представлена метафорическая оппозиция света и тьмы: простореч. *тёмный* 'невежественный, некультурный; неграмотный' [ССРЛЯ, т. 15, с. 257], перм. *потёмок* 'необразованный, неграмотный' [СПГ, вып. 2, с. 188], *Ученье — свет, а неученье — тьма* [Зимин, с. 281]. Возможно, однако, что в лексике и в пословицах эта метафора имеет разную этиологию, поскольку внутренняя форма слов включает в себе идею недостаточного обзора (ср. литер. *кругозор*), плохого зрения (ср. значения омск. *тёмный* 'неграмотный' и 'слепой, незрячий' [СРГС, т. 5, с. 43]), а пословицы — идею одобрения или неодобрения (*Мир освещается солнцем, а человек учебой* [Зимин, с. 281]).

В пословицах эксплуатируется метафора инструмента: *Человек неучёный, что топор неточёный* [Там же], *Тупо сковано, не наточишь; глупо рожено — не научишь* [Даль, т. 4, с. 543]. Сопоставим это с тем, что в лексике через свойство недостаточной остроты осмысливается неграмотность: новосиб. *тупой человек* 'неграмотный, необразованный' [СРГС, т. 5, с. 104], перм. *тупик* 'неграмотный' [СПГ, вып. 2, с. 454] и др. Семантическая модель «точить > учить» также представлена в лексике в метафоре обработки изделия ковкой, натачиванием: литер. (перен.) *оттáчивать* 'делать более совершенным, доводить до высокой степени мастерства; отшлифовывать' [ССРЛЯ, т. 8, с. 1647], ленингр. *наточить* 'научиться чему-н.; перенять что-н.' [СРГК, вып. 3, с. 386], мурман. *наковать* 'научить, показать своим примером' [Там же, с. 334]; и др.

Семантику управления, которая связана с понятием воспитания, воплощает в себе метафора обуздания: *Конь добр, да не езжен, дорог парень, да не учен* [ПРН, т. 1, с. 541], *Коня правят уздою, а человека умом* (собрание И. В. Пауса) [ППЗ, с. 41]. Если пословица, содержащая образ заужданной лошади, — факт единичный, то в лексике соответствующая мотивационная модель используется для выражения семантики воспитания и представлена очень ярко (более десятка фактов): печор. *держáть в крепких вожжáх* 'держат в строгости, зависимости, подчинении' (*Уж как они ни держали детей в крепких вожжах, а всё равно упустили* [ФСРГНП, т. 1, с. 205]), смол, кубан., терск. *заседлáть* 'заставить повиноваться, подчинить себе' [СРНГ, вып. 11, с. 25], ворон., смол., терск., кубан. *зауздывáть* 'усмирять, заставлять повиноваться' [Там же, с. 129]; и др.

Любопытна выявляемая в параллельных синтаксических конструкциях ассоциация между обучением и битьем: *Хорошо того учить, кто слушает, а бить, кто плачет* [Иллюстров, с. 389]. Ее появление неслучайно, поскольку было в ходу телесное наказание: *Без палки нет ученья; Не побивши, не выучишь; Кнут (плеть) не мука, а вперед наука* [ПРН, т. 1, с. 540]; *Кто не учился, тот побой не видал* (собрание А. И. Богданова) [ППЗ, с. 89]; *Не научил плетью, а дубиной не научишь* [Там же, с. 101].

Итак, метафора натачивания воплощает в себе идею обработки, а значит, изменения объекта; метафора зауздывания выражает мотивы ограничения и контроля; битье ассоциируется с обучением по общему для них мотиву прямого жесткого воздействия; и т. д. Можно заметить, что эти мотивы близки смыслам, из которых складывается понятие «обучение». Образы, аллегории подтверждают контуры понятия, уже определившиеся при исследовании дефиниций слов либо логического содержания пословиц. Следовательно, образы и эксплицируемые мотивы представляют собой инструмент идентификации и верификации структуры понятия. При этом вовсе не обязательно, чтобы речевые и системно-языковые «показатели» всякий раз совпадали.

В лингвистических работах стало традиционным обращение к образному фонду паремий [см., например: Колкова; Несветайлова; Савченко; Семененко; и др.], лексика же существенно дополняет образный фонд пословиц об обучении. Например, не находят аналогов в известных нам пословицах следующие образы: этнические (алт. *түрок* 'неграмотный, необразованный человек' [СРГС, т. 5, с. 106]), региональные (пск. *баба рязанская* 'темная, отсталая женщина' [ПОС, вып. 1, с. 79]), зоологические (оренб. *выкунать* 'научиться чему-либо, узнать что-либо' [СРНГ, вып. 5, с. 298]), ландшафтные (печор. *жить в лесу, молиться колесу* 'быть неразвитым, необразованным' [ФСРГНП, т. 1, с. 82]) и др.

Репрезентация в языке аксиологической составляющей: отношение к обучению

Представления носителя языка о действительности не только являются ее слепками, ментальными копиями, но и содержат «субъективную надстройку», оценочный компонент. Аксиологический статус отдельного объекта может выражаться полярными оценками «хорошо» и «плохо», если речь идет о высказывании, безразличие же (отсутствие оценки), как правило, остается за кадром.

В пословицах на тему «Обучение» прямая оценка с использованием слов «хорошо» и «плохо» содержится нечасто, а в случаях, когда она имеет место, речь идет не об одобрении или осуждении, а о рациональной оценке образа действий обучающего по отношению к обучающему по шкале «правильно — неправильно»: *Хорошо того учить, кто слушает, а бить, кто плачет; Хорошо того учить, кто перенимает* [Иллюстров, с. 389]. Показательно, что эта своеобразная рекомендация «учителю» — учить только того, кто сам готов взять — единственная выражена в столь явной форме.

Среди пословиц суждения рекомендательного характера составляют большую группу, и по крайней мере часть из них рассчитана на трансляцию ценно-

стей. Рекомендации выражаются посредством императива, утвердительными высказываниями: *Не кайся рано встати, а молодо учитись* [Иллюстров, с. 387]; *Век жить, а век учитца* (сб. посл. б. Петровской галереи) [ППЗ, с. 24]. Таким образом, обучение, получение знаний одобряется и поощряется, т. е. находится в числе ценностей в народной культуре.

Отсюда метафора материальной ценности, имеющая аксиологический подтекст: *Ученье человеку ожерелье* [Иллюстров, с. 390], *Ученье лучше богатства; За ученого (битого) двух неученых (небитых) дают, да и то не берут* [Даль, т. 4, с. 543].

В лексике ценность явления может быть выведена из экспрессивной оценки. Об уважении к мастерству, образованности, опыту и другим «продуктам» обучения опосредованно свидетельствует множество презрительных, уничижительных обозначений необразованного, незнающего, неумелого человека.

Почтительное отношение к образованному человеку передается параметрическими прилагательными, обозначающими большие показатели на измерительной шкале: перм. *большой* ‘грамотный’ (*Вы ведь из городу, все большие: все записываете*) [СПГ, вып. 1, с. 48], краснояр. *громкой* ‘образованный, уважаемый всеми (о человеке)’ [СРНГ, вып. 7, с. 150].

При этом народной культуре свойственна амбивалентность отношения к грамотному человеку. Образование, как и интеллектуальная деятельность, не признается работой: диал. *Он и делать ничего не умеет — разве умственно что писать сможет* [Там же, вып. 27, с. 46], *Перо сохи легче; Грамотей не пахарь ‘не работник’* [ПРН, т. 1, с. 535].

Обучение получает также рациональную оценку по критериям практической полезности (*Кто грамоте горазд, тому не пропасть; Грамоте учиться — вперёд пригодится* [Иллюстров, с. 390]) и трудности (перм. *зарепетить* ‘замучить учебой’ [СРНГ, вып. 10, с. 382], *Всякое ученье напору мученье* [Даль, т. 4, с. 543]; *Ученье — мученье; Наука — (вечная) мука* [Иллюстров, с. 390]; *Всю науку не изучишь, а себя измучишь; Без муки нет науки* [Зимин, с. 282–283]).

Таким образом, аксиологическая составляющая представлений об обучении одинаково репрезентирована в лексике и в пословицах.

Подведем некоторые итоги сравнения, выявляющего сходства и различия в представлениях об одной сфере действительности, закладываемых носителем языка в разные «носители информации». Очевидно, что существует «зазор» между представлениями об обучении, выявляемыми на системно-языковом материале и фольклорных текстах одного жанра.

Во-первых, анализ лексики дает иные результаты, чем анализ текстов, несмотря на то, что оба вида исследования квалифицируются как экспликация концепта, запечатленного вербальными средствами.

Во-вторых, случаи схождения в отображении объекта действительности должны расцениваться как наиболее репрезентативные при характеристике фрагмента языковой картины мира.

В-третьих, на основании расхождений в репрезентации объекта действительности каждый источник информации получает осмысление с точки зрения специфики своих возможностей, своего «когнитивного потенциала». Например,

лексика обладает большей образностью и в каком-то смысле семантической всеохватностью, в то время как пословицы имеют преимущество в выражении рациональных оценок и императивных смыслов, в установлении логических взаимосвязей. Слово предрасположено к сохранению информации неосознанной, раскрывающей способ осмысления мира, схемы ассоциирования, и способно «застолбить» актуальные для носителя языка понятия, номинируя их и игнорируя в номинативном плане то, что для человека не так важно и не требует названия. Текст же содержит намеренно транслируемую информацию. Это «второй уровень», потому что часто текст имеет предметом речи то, что не названо одним словом (не вмещается в одно слово) и требует описательного подхода. Это более сложные мыслительные конструкции.

В-четвертых, различия между представлениями, оставившими след в лексеме, и представлениями, запечатленными в пословице, важны для разграничения центра и периферии эксплицируемого концепта. Текст всегда менее «объективен», чем лексические факты, поскольку создается при непосредственной рефлексии автора по поводу его коммуникативного намерения, от которого зависит содержание текста и его модусы. Пословицы принадлежат не к языковым, а к речевым единицам, но тексты этого жанра фиксируют устойчивые, стереотипические представления.

Важно, что между полученными результатами разных видов анализа нет противоречий, поэтому их можно считать соотносимыми по принципу взаимодополняемости. Однако полезно излагать их дифференцированно, что позволит оценить степень объективированности представлений, степень их стереотипности. Можно предполагать, что анализ «свободных» текстов, отличных от жанра пословиц, в которых хранится дидактически ориентированная часть информации, выявит расширенный список объектов описания, большую вариативность связей между ними, широкий и противоречивый набор социальных оценок, в том числе полярных, взаимоисключающих, и представления об отдельных событиях из истории образовательной системы.

Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Русская фразеология : ист.-этимол. слов. / М., 2005. 926 с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Репринт изд. М., 1981–1982.

Зимин В. И. Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений. М., 2008. 736 с.

Илюстров И. И. Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках : Сборник русских пословиц и поговорок. 3-е изд., испр. и доп. М., 1915. 480 с.

Колкова Н.А. Концепт «смерть» в пословичных текстах // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. 2008. № 11. С. 8–15.

КСГРС — Картотека Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка и общего языкознания УрГУ, Екатеринбург).

Несветайлова И. В. Паремиологическое представление концептов «зависть» и «ревность» в английском и русском языках // Вестн. Иркут. гос. лингвист. ун-та. 2009. № 3. С. 123–128.

ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1967 —. Вып. 1 —...

ППЗ — Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII—XX веков / под ред. Б. Н. Путилова. М. ; Л., 1961. 291 с.

ПРН — *Даль В. И.* Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и проч. : в 2 т. 2-е изд., без перемен. СПб. ; М., 1879.

Савенкова Л. Б. Русская паремиология: семантический и лингвокультурологический аспекты. Ростов н/Д., 2002. 240 с.

Савченко В. А. Концепт «борода» в русских и немецких паремиях // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер. : Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. № 3. С. 44-49.

СГРС — Словарь говоров Русского Севера. Екатеринбург, 2001 —. Т. 1 — ...

Семенов Н. Н. Роль когнитивной метафоры в организации внутренней формы паремий // Вестн. Майкоп. гос. технол. ун-та. 2010. № 3. С. 109—114.

СПГ — Словарь пермских говоров. Пермь, 1999—2002. Вып. 1—2.

СПП — Словарь псковских пословиц и поговорок / сост. В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. СПб., 2001.

СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 1994—2005. Вып. 1—6.

СРГНП — Словарь русских говоров Низовой Печоры : в 2 т. / под ред. Л. А. Ивашко. СПб., 2003—2005. Т. 1—2.

СРГС — Словарь русских говоров Сибири : в 5 т. / под ред. А. И. Федорова. Новосибирск, 1999—2006. Т. 1—5.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. М. ; Л., 1965 —. Вып. 1 — ...

ССРЛЯ — Словарь современного русского литературного языка : в 17 т. М. ; Л., 1948—1965.

ФСРГНП — Фразеологический словарь русских говоров Нижней Печоры : в 2 т. / Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед., Коми гос. пед. ин-т ; сост. Н. А. Ставшина. СПб., 2008.

Статья поступила в редакцию 13.12.2010 г.

УДК 821.161.1-14 + 2-534.3

Е. А. Кучина

МОЛИТВА В ЛИРИКЕ А. С. ПУШКИНА: ДРУЖЕСТВО КАК БРАТСТВО

В свете православного типа духовности как доминанты в отечественной культуре рассматривается лирика А. С. Пушкина, в которой отмечается поэтическая молитва и наблюдается устремленность к духовно-аскетическому мироосмыслению.

Ключевые слова: А. С. Пушкин; поэтическая молитва; дружество; молитвенные темы; духовно-аскетическое мироосмысление.

Мирозерцание А. С. Пушкина характеризуется генетической предопределенностью религиозного сознания в русской культуре и проявляется в его творчестве через православно-христианское видение мироустройства. Исследователь И. А. Есаулов, рассматривающий русскую литературу в едином православном контексте, полагает, что «православный тип духовности... определил доминанту русской культуры» [Есаулов, с. 268].

В лирике связь с корнями культуры наиболее глубока, так как в ней «переживание души поэта не опосредовано сюжетными коллизиями, вымышленными героями, с их идеями, чувствами, конфликтами. <...> ...Именно поэзия наиболее точно отражает глубину национальной личности, складывающуюся в течение веков в ряде поколений, ту глубину, которая формируется в религии», — пишет Т. А. Кошемчук, которой принадлежат значительные труды по изучению русской поэзии [Кошемчук, с. 19]. В истоках нравственного, эстетического, духовного сознания русских поэтов лежит православное Слово, Слово молитвы, опыт безусловно усвоенной православной традиции.

Обращение к молитве зарождается и появляется у Пушкина в дружеской лирике — посланиях к друзьям.

Становление Пушкина как нравственной личности происходило не столько в семейном кругу, сколько в кругу друзей, в Царскосельском лицее (с 1811 по 1817 г.). «Чувство “дружбы” было особенно развито у Пушкина; оно как бы компенсировало ему недостаток родительской любви и ласки в прошлом» [Пушкин: путь к Православию, с. 20]. Здесь, в стенах Лицея, он начал писать первые стихи. Стихотворение «Завтра с свечкой грошевою...» написано в 1816 г. — Пушкин еще юн. Но житейская ситуация, предшествующая написанию стихотворения, не так легка по внутреннему состоянию, какой ее хочет представить дуэлянт. На подсознательном уровне душевный настрой глубок и чуток, нравственно определен, потому сердечные устремления предполагают одно:

Завтра с свечкой грошевою
Явлюсь пред образом святым... [Пушкин, т.1, с. 137].

В апреле 1820 г. была напечатана в «Невском зрителе» (в первой редакции под названием «Кюхельбекеру») поэтическая пьеса «Разлука» (1817), которая включает «косвенную молитву»:

...И пусть... (услышит ли Судьба мои молитвы?),
Пусть будут счастливы все, все твои друзья! [Там же, с. 202].

Слова искренни, чистосердечны: повтор «все, все», эмоциональный императив со слов «пусть будут», вопрос и восклицание. Проникновенно звучит житейская молитва за близких — молитва просительная.

Старшему товарищу поэт посвящает стихотворение «Чедаеву» (1821). Оно было напечатано в «Сыне Отечества» в 1824 г. Пушкин открыто, безыскусно обращается к своему другу:

...Одно желание: останься ты со мной!
Небес я не томил молитвою другой...[Пушкин, т. 2, кн. 1, с. 169].

Это обращение можно назвать м о л и т в о й - п р о ш е н и е м.

Такой же эмоциональный тон и теплота чувств звучат в другом стихотворении поэта, посвященном любимому другу Жанно («Мой первый друг, мой друг бесценный...»). Оно было написано 13 декабря 1826 г. в Пскове. Поэт возлагает надежду на волю небес и адресует другу свои пожелания. Первое пятистишие

начинается с восклицательного обращения: «Мой первый друг, мой друг бесценный!» В стихах чувствуется не только радость встречи и не просто дружеская привязанность к товарищу, но и любовь, духовное родство. Второе пятистишие — это одно восклицательное предложение, и в нем поэт произносит самое сокровенное:

...Молю святое Провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье... [Пушкин, т. 3, кн. 1, с. 39].

Дни совместного пребывания в Лицее называются «ясными», а дружеские отношения рождают молитву о друге.

Интересным представляется сравнить окончательный вариант стихотворения с вариантами черновых строк. Поэтический поиск шел «от головы», от разума: стиховой ряд звучит в миноре, по-лермонтовски сыплются горестные вопросы:

...Скажи, куда девались годы,
Дни упований и свободы?
Скажи, что наши, что друзья?
Где молодость? Где ты? Где я?
Судьба рукой своей железной
(Разбила) мирный (наш) Лицей... [Пушкин, т. 3, кн. 2, с. 582].

Окончательный вариант рождается от иной мотивации, словно произошла замена «от головы» на замену «от сердца, от духа». Дружеские отношения совершенно лишены материальных привязанностей: щедрость, солнечность душевного настроения теперь передаются поэтом через ритмико-интонационную организацию стихотворения (мелодика стиха мажорная, «теплая»), через рифмовку строк (поддерживается особый, приподнятый эмоционально-возвышенный тон, молитвенное прошение). Встреча друзей в Михайловском была важна для обоих. Дружеское послание Пушкина утешило, укрепило Пушкина. Так, Пушкин рассказывает в своих записках следующее: «1828 года 5-го января привезли меня из Шлиссельбурга в Читку <...> Пушкин первый встрѣтилъ меня въ Сибири задушевнымъ словомъ <...> Отраднo отозвался во мнѣ голосъ Пушкина. Преисполненный глубокой, живительной благодарности, я не могъ обнять его, какъ онъ меня обнималъ, когда я первый посѣтилъ его <...> а въ 1842 г. братъ мой Михаилъ отыскалъ въ Псковѣ самый подлинникъ Пушкина, который теперь хранится у меня въ числѣ завѣтныхъ моихъ сокровищъ» [Пушкин, 1916, с. 319–320].

В этом же тематическом ряду находится послание Пушкина к И. И. Козлову «Певец, когда перед тобой...», которое было напечатано в сборнике 1826 г. Это также не обычное «послание», а послание-утешение к другу.

Козлов в 1821 г. ослеп и около того же времени получил известность своими переводами из Байрона, оригинальными стихотворениями и поэмами. Получив от Козлова экземпляр поэмы с собственноручною подписью, Пушкин писал в апреле брату: «Подпись слѣпаго поэта тронула меня несказанно. Повѣсть

его прелесть; сердись онъ, не сердись, — а “Хотѣлъ простить — простить не могъ” достойно Байрона. Видение, конецъ прекрасны. <...> Хочется отвѣчать ему стихами...» [Пушкин, 1916, с. 32–34].

Как и в «Мой первый друг, мой друг бесценный...», в этом стихотворении есть сердечное обращение: «О милый брат». К нему прибавлены слова признательности и благодарности. Пушкин другу-поэту дает возможность не отчаиваться, открывает иной мир — мир гения и духа:

...Мгновенно твой проснулся гений...
Тебе он создал новый мир:
Ты в нем и видишь и летаешь
И вновь живешь... [Пушкин, т. 2, кн. 1, с. 347].

Это и стало спасительным для Козлова; поэтическое дарование Пушкина принесло духовное возрождение: «...О нет, недаром жизнь и лира / Мне были вверены судьбой!». Получив стихотворение Пушкина, слепой поэт отвечал: «Невозможно выразить то величайшее удовольствіе, какое доставили мнѣ ваши очаровательные стихи: это было поистине прекрасное мгновение въ моей жизни, я васъ за него горячо благодарю... Еще раз — спасибо, большое спасибо: стихи ваши дошли прямо до моего сердца!» [Пушкин, 1916, с. 32–34].

Пушкину дан свыше особый дар дарения, душевная и духовная «солнечность», «просветленная энергия» гения. В стихотворениях друзьям эти личные свойства Пушкина, человека и поэта, особенно открыты. «Живительная благодарность» Пущина, «величайшее удовольствіе» Козлова — благодатными явились послания поэта друзьям. Их содружество объединяется силой христианского отношения к ближнему, милости друг к другу, и это плоды истинного братского чувства, взаимной духовной поддержки и взаимных молитв.

Продолжает традицию лирических стихотворений, посвященных «святому братству» стихотворение «19 октября 1827 года», напечатанное в «Славянине» в 1830 г. Поражает удивительная по силе чистота, молитвенная настроенность поэта, когда тихо, без пафоса звучат проникновенные слова моления за друзей: «Бог помочь вам, друзья мои, / В заботах жизни, царской службы...» [Пушкин, т. 3, кн. 1, с. 80]. Пушкин благоволит ближнему: в поэтическом строе речи нет ни уныния, ни горячности эмоций, а только забота, тепло, живительная мудрость.

И. Ю. Юрьева пишет о соответствии этого стихотворения с великой ектеньей («О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их Господу помолимся») [Юрьева, с. 336]. Прямые параллели поэтического текста с молитвой из богослужения не случайны. Великая ектеня (с греческого «усердие») — это ряд молений, протяжно произносимых диаконом или священником. Ектеня бывает великой, просительной, сугубой и малой, об оглашенных, об умерших и др. [см.: Христианство, с. 528].

Важным представляется обозначить великую ектеню. Ее еще называют «мирной»: «Миромъ Господу помолимся...» [см.: Требник, с. 237]. Далее следуют перечисления «о ком?»: «о Свышнем мире», «о мире всего мира», «о святем храме» и т. д. Это молитва и индивидуальная, личная, и всеобщая, соборная; это молитва всей Церкви о всем мире или всем миром о мире. Так и у Пушки-

на: «Бог помочь» кому? — Вам, «друзья мои, в заботах жизни, царской службы» и т. д.

Стихотворение «Коварность» (18 октября 1824 г.) впервые было напечатано в «Московском вестнике» в 1828 г. Это лирическое стихотворение является средоточием православно-христианской этики в отношении братской любви, дружбы и взаимоотношений людей вообще. Поэт через бытовую ситуацию (разногласие, ссора, недоброжелательность) говорит о причинах разлада между людьми.

Прежде чем с укором резко осуждать кого-либо («Неблагодарен он, он дружбы недостойн»), ты должен признать, что сам ни разу не погрешил против истины в отношении другого:

...Но если сам презренной клеветы
Ты про него язвительным был эхом...[Пушкин, т. 2, кн. 1, с. 298].

Только в этом случае друг (или другой человек) «В прах готов упасть, / Чтоб вымолить у друга примиренье...». В ином случае: «Ты осужден последним приговором...». И этот приговор — предательство (грех Иуды).

Данное стихотворение идейно связано со стихотворением «Он между нами жил...» (10 августа 1834 г.). Прошло десятилетие — переосмыслен нравственный опыт. Что было ближайшим поводом к написанию стихотворения, осталось неизвестным. «Мирный, благосклонный» и «злой» — это все об Адаме Мицкевиче, друге, собрате по перу, но и о предавшем идеалы братства. Пушкин являет благородство, терпимость и любовь к «врагу». Молитва поэта к Всевышнему открывает нам прежде всего мировосприятие нового Пушкина: цельность, особую глубину, тихую мудрость его православного миропонимания:

...О Боже! возврати
Твой мир в его озлобленную душу! [Пушкин, т. 3, кн. 1, с. 331].

В первоначальных редакциях: «Боже! Освяти / В нем сердце правдою Твоей и миром / И возврати ему...», «...Боже! / Ниспошли Твой мир...» [Пушкин, т. 3, кн. 2, с. 942–945]. Следует добавить, что эти строчки структурно-семантически повторяют слова первомученика архидиакона Стефана (I в.), молившегося об убивающих его: «Господи! Не вмени им греха сего» [Библия, с. 1162]. И «мир возвратился»: ответом-примирением на это стихотворение явилась во многом замечательная статья Адама Мацкевича о Пушкине, написанная после его смерти (напечатана во французском журнале «Le Globe») [Путеводитель, с. 256].

Итак, представлена поэтическая молитва как духовно-художественное целое в стихотворениях Пушкина.

Молитва у Пушкина — часть многогранного творчества и проявление его духовного величия. Органическая часть стихотворений, соотносимых с молитвой, проявляет себя именно в таком тематическом ряду, где это величие возможно показать в отношении к ближнему, к другу, в отношении к Божиим заповедям. В этих стихотворениях дружество понимается как братство — «святому братству верен я». Это соборное и святое единение становится

благодатным единением людей. Основа союза — чувство любви, духовная благодать общения, православно-христианское видение мироустройства.

Художественная система Пушкина-поэта есть отражение глубинных, генетически, исторически предопределенных основ православного самосознания Пушкина-человека.

-
- А. С. Пушкин: путь к Православию / сост. А. Н. Стрижева. М., 1999.
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Рос. библейск. о-во. М., 2007.
Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995.
Кошемчук Т. А. Русская поэзия в контексте православной культуры. СПб., 2009.
Путеводитель по Пушкину / предисл. И. В. Немировского. СПб., 1997.
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений : в 17 т. М., 1995—1997.
Пушкин А. С. Сочинения : в 9 т. Т. 4. Пг., 1916.
Требник / Совет Рус. православной церкви. М., 2007.
Христианство : энцикл. слов.: в 2 т. Т. 1. / ред. С. С. Аверинцев. М., 1993.
Юрьева И. Ю. Молитвы в текстах Пушкина // Духовный труженик: А. С. Пушкин в контексте русской культуры. СПб., 1999. С. 329—338.

Статья поступила в редакцию 17.03.2011 г.

УДК 821.161.1-2 + 808.1

А. В. Волегов

«ЧАЙКА» А. П. ЧЕХОВА В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИСКАНИЙ ЭПОХИ

Анализируется эстетическое новаторство чеховской пьесы «Чайка» в контексте культурной эпохи конца XIX в., которой свойственна переориентация художественного мышления на декадентство, символизм, новую литературу, новое понимание личности в культуре.

К л ю ч е в ы е с л о в а: А. П. Чехов; новое искусство; символизм; декадент; западно-европейская драма.

«Чайка» занимает особое место не только в творчестве писателя, но и в истории мировой литературы и драматического искусства. Это связано не только с тем, что здесь (пожалуй, впервые в полную силу) проявились новые авторские приемы Чехова, но и с тем, что здесь совершенно по-новому, новыми художественными средствами автор говорит о роли искусства в обществе и о необходимости поиска новых путей в искусстве. «Комедия» Чехова сама является примером эстетического новаторства, характерного для этой интереснейшей эпохи культуры. В литературе этого времени происходил переход доминирующего типа художественного сознания от реалистического к модернистскому.

Именно поэтому интерпретации текста, в том числе учебный лингвосмысловый анализ в иностранной аудитории, будут более глубокими, если учитывать не только особенности авторского стиля писателя, но и художественные искания эпохи.

Переходную эпоху в культуре 2-й половины XIX в. можно наблюдать практически во всех национальных литературах Европы. Для нее характерна глубокая и комплексная смена ценностей и эстетических ориентиров. Если в эпоху критического реализма на первый план выходила социальная или даже биологическая детерминированность характера человека, то позднее способы создания образа человека в искусстве меняются. Если герой реалистического произведения проявляется в общественной значимости, в новую эпоху на первый план выходит самоценная сложность, загадочность, иррациональность характера героя. Сложность и новаторство тем, идей ведут к отказу от традиционного обоснования такого сложного характера человека. При этом одни и те же (подчас противоречивые) тенденции движения от реализма натуралистического типа к явлению, которое некоторые исследователи называют предсимволизмом или протосимволизмом, можно наблюдать во французской литературе (Г. Флобер, Ж. Гюисманс), в бельгийской (М. Метерлинк), немецкой (Г. Гауптман), норвежской (Г. Ибсен), шведской (А. Стриндберг) и других литературах. Интересно, что такую трансформацию художественного мышления и соответственно средств художественного выражения можно наблюдать даже на примере творчества одного художника.

Декадентство, символизм, новая литература, новая драма — эти явления, при всех своих различиях, имеют общее: они отражают переориентацию художественного мышления. Сами представители художественного мира «нового искусства» — сложные и неоднозначные личности. Это также было характерно для «духовно изысканной» эпохи. Меняется понимание личности в культуре. Происходит осознание самоценной сложности внутреннего мира человека. Отсюда попытка освобождения личности от социальных догм, стремление противопоставить материальным ценностям, навязываемым обществом, духовные эстетические искания. В массовом общественном сознании очень быстро появляется и становится распространенным стереотип человека конца века, человека эпохи декаданса — декадента.

Хотя с самого начала «новое искусство» утверждалось во многом как «борьба» со старой эстетикой, это все-таки была эпоха, когда литературные направления и течения проникали друг в друга, и людей искусства, по словам Н. А. Бердяева, объединяло «мудрое знание не только одного своего, но и противоположного себе» [цит. по: Полоцкая, с. 95]. Эпоха предлагала широкий диапазон культурных парадигм [см.: Там же].

Идейно-эстетические искания Чехова начала 90-х гг., предопределившие его интерес к «новому искусству», привели к появлению в его произведениях символов — знаков, которые в изображении явлений чувственного мира открывают тайны сверхчувственного. Многие исследователи видели именно «движение к символу» одной из главных черт эстетического новаторства Чехова. Так, еще 100 лет назад В. Ч. Боцяновский писал: «В отличие от своих современников, Чехов

не оставил нам высказываний о символе, но, несомненно, существуют в эстетике писателя такие моменты, которые поясняют обращение его к художественной символике как выражению исканий новых путей реализма» [Боцяновский, с. 48–49].

В «Чайке» символическое начало может рассматриваться на разных уровнях: во-первых, как жизненный материал (эпизод постановки пьесы Тrepлева и сам образ поэта-декадента); во-вторых, как художественная ткань самой чеховской драмы.

Пьеса Тrepлева — очевидная ассимиляция «чужих» текстов. Мотив пьесы «Чайка» первоначально прозвучал в шутовском письме Чехова и был связан с обыгрыванием устойчивых элементов символистской поэтики: «...текст, написанный К. Тrepлевым, напоминает о некоторых умонастроениях, характерных для философских сочинений В. Соловьева 90-х гг. и для первого поколения русских символистов» [Зингерман, с. 314]. В качестве другого источника, который здесь скрыто цитирует Чехов, называют также драмы М. Метерлинка. По известному выражению В. Набокова, Чехов заставил своего героя Тrepлева в «Чайке» написать пьесу в стиле бельгийского драматурга. О глубоком интересе Чехова к Метерлинку свидетельствуют его письма к А. С. Суворину. Впоследствии Чехов приветствовал постановку одноактных драм Метерлинка в МХТ. Заметны идейные переключки авторов. Метерлинк в эссе «Сокровище смиренных» писал: «Существует каждодневная трагедия, которая гораздо реальнее и глубже и больше подходит к нашему настоящему существованию, чем трагедия больших приключений». Трагизм, по мысли Метерлинка, заключается не в исключительных ситуациях, в которые попадает человек, а в самом факте повседневного существования. О трагизме в повседневном говорил и Чехов: «Люди обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются жизни».

Однако еще А. Белый отмечал различия между ними: «Символизм Чехова отличается от символизма Метерлинка весьма существенно. Метерлинк делает героев драмы сосудами своего собственного мистического содержания. В них открывается его опыт... Старик: “Нет ли кого-нибудь среди нас?”. Слишком явный символ. Не аллегория ли это? Чехов, истончая реальность... ничего не вкладывает преднамеренно [в символы]. Его символизм поэтому произвольно врастает в действительность... Благодаря этому ему удается глубже раскрыть звучащие на фоне мелочей символы» [цит. по: Лосиевский, с. 109]. Как видим, А. Белый также противопоставлял чеховский символ аллегории. Эстетическое новаторство во многом именно в этой области, в «новом» понимании символа, в стремлении к бесконечности смыслов. Образы-символы «обрастают» «вечными» значениями, и идейное содержание произведений выходит за пределы тематики обыденного.

Одно из ранних упоминаний о замысле «Чайки» встречается в письме Суворину, где Чехов пишет о постановках литературно-артистическим кружком А. С. Суворина драм Гауптмана и Метерлинка [см.: Головачева, с. 187]. Некоторые детали пьесы Тригорина переключаются с аналогичными в «Смерти Тентажиля»: большие красные окна, в которые глядит Королева-Смерть и две красные точки — глаза дьявола в драме, которую ставит чеховский герой.

«У Метерлинка — это сила, отнимающая жизнь, у Треплева — уничтожающее начало» [Собенников, 1992, с. 188]. Такие приемы, как многократные повторы («Холодно, холодно, холодно. Страшно, страшно, страшно») характерны для Метерлинка, хотя уже в то время стали устойчивым элементом символистской поэтики. Источниками треплевской пьесы, очевидно, были и тексты другого рода — литературная и театральная критика. Современные исследователи указывают на знакомство Чехова с русской журнальной периодикой тех лет, в которой давалась обширная информация о новейших течениях, о самых ярких событиях в европейском искусстве [см.: Шах-Азизова, с. 199; Головачева]. Некоторые детали драмы Треплева, самого сочинения и его постановки (запах серы), настолько характерны, что в ряде случаев со всей определенностью можно указать еще на один источник заимствования — постановки П. Фора в Париже. А. Г. Головачева приводит в качестве примера безымянную статью — одно из иностранных обзоров журнала «Артист»: «Некий французский драматург» создал «аккомпанемент музыки, красок и ароматов. Сообразно со смыслом происходящего на сцене должны были меняться все ощущения зрителей — слуховые, зрительные и обонятельные... Эта затея, комментировал обозреватель, «на большинство публики произвела, конечно, впечатление курьеза. Но яркие символисты убеждены, что большинство зрителей просто не доросло до идеальной тонкости ощущений» [Головачева, с. 188].

Другой представитель западной «новой драмы», чье творчество называют в качестве источника, который скрыто цитирует уже сам Чехов, а не его герой, — это Г. Ибсен. Современники склонны были проводить параллели между «Чайкой» и «Дикой уткой» Ибсена. Идеино-композиционное сходство двух символов очевидно. Мотив «подстреленной птицы — погубленной жизни» является основным компонентом сюжетно-композиционного единства в обеих пьесах. Однако многие отмечают существенные различия. У Чехова «...переход от одного смыслового уровня к другому, более емкому, осуществляется полутонами, неявно» [Собенников, 1989, с. 131]. У Ибсена — «аллегорическая однозначность. В системе отношений с другими мотивами он не обладает таким многообразием связей, как чеховский мотив. Параллель с судьбой старика Экланда» [Там же]. Как видим, художественные расхождения двух авторов исследователь видит в оппозиции «аллегорическая однозначность — символическая многозначность».

Образы самих представителей художественного мира «нового искусства» также были интересны Чехову. «Чайка» — свидетельство того, что и сами творцы нового искусства («декаденты») как человеческий тип, «безусловно, заинтересовали и захватили его» [Гиндин, с. 118]. Образ Треплева — новый тип художника-декадента в русской литературе. Это сложный сплав черт конкретных личностей, героев газетных и журнальных публикаций, литературных персонажей. Чехов был лично знаком с представителями русского символизма Д. Мережковским, З. Гиппиус, А. Волынским; с К. Бальмонтом он поддерживал дружеские отношения, с Ю. Балтрушайтисом в 1904 г. планировал путешествие по странам Скандинавии [см.: Сахарова, с. 270]. Поэтому автор-символист («декадент») как тип творческой личности был Чехову хорошо знаком.

Взаимоотношения Чехова с Мережковскими по-своему драматичны. Чехов заинтересовался Д. Мережковским после его большой статьи о себе в ноябрьском номере «Северного вестника» за 1888 г., оценил ее в письме Плещееву как «весьма симпатичное явление» [см. об этом: Собенников, 1989, с. 53]. В письме Суворину есть такие характеристики: «Очень умный человек»; «Мережковский по-прежнему сидит в доме Мурузи и путается в превыспренных исканиях, и по-прежнему он симпатичен». Известное высказывание Чехова: «В человеке все должно быть прекрасно...» перекликается с тем, что писал Д. Мережковский в статье «Гоголь и черт»: «В заботе человека об одежде сказывается любовь и уважение к своему телу. Байрон и Пушкин хорошо одевались... во внешнем изяществе невольно отражалось соответствие, гармония между внешним и внутренним». Духовная дисгармония Гоголя, по Мережковскому, проявлялась, в частности, в неумении одеваться [см.: Там же, с. 54].

А. С. Собенников замечает также, что в статьях Мережковского тех лет часто встречается агрессивная ирония по отношению к русским последователям натурализма; это очень близко тому, что говорит и чеховский Треплев в «Чайке».

Чехов был знаком с драмой Мережковского «Гроза прошла». Более того, в «Чайке» характеры персонажей и некоторые детали обстановки говорят о том, что драма Мережковского «попала в творческую кладовую Чехова» [Собенников, 1989, с. 196]. Образ Арсения Палицына, художника-декадента, главного героя драмы Мережковского, в чем-то перекликается с образом Треплева. А. С. Собенников даже считает, что в Трепеле есть черты самого Мережковского. Все это говорит о том, что в период 1891–1892 гг. Чехова и Мережковского объединяло многое: личные и деловые отношения, даже их совместное путешествие. Чехов собирался сотрудничать в журнале, который были намерены издавать Мережковские. Тем не менее, когда издательские планы реализовались, он отказался участвовать в журнале «Новый путь». Впоследствии личные отношения характеризуются скорее как настороженные. Чехов иронично, даже неприязненно писал: «Восторженный и чистый душою Мережковский хорошо бы сделал, если бы свой квази-гетевский режим, супругу и “истину” променял на бутылку доброго вина, охотничье ружье и хорошенькую женщину. Сердце билось бы лучше» [Там же, с. 36]; «Мережковский же ценил в Чехове то, что находилось на периферии художественной системы писателя. Постепенно у Мережковского сложилось неприязненное отношение к “чеховщине”» [Там же, с. 40].

С Брюсовым Чехов не был знаком лично. Однако известно, что «Чайка» создавалась именно в то время, когда одним из самых заметных событий литературной жизни в стране стал «шум по поводу первых сборников русских символистов» [см.: Гиндин, с. 122], язвительные рецензии в газетах и журналах и даже резкие высказывания Л. Толстого. Именно в этот период многое в оценке «декадентства» в России изменилось. Если раньше о «новом искусстве» было известно из критических статей, посвященных исключительно западноевропейской литературной жизни, то в эти два года символизм и декадентство становятся реальными и быстро развивающимися явлениями отечественной лите-

ратуры. В. Брюсов позднее писал: «О! Как изменилось положение за эти 700 дней!» [Гиндин, с. 117–118]. И личность Брюсова как главного автора альманахов «Русские символисты», конечно же, не могла пройти мимо внимания Чехова.

С Бальмонтом Чехов познакомился в 1895 г., в период окончания работы над «Чайкой». «Огромный поэт», — так отзывался о нем Чехов [см.: Нинов, с. 102]. Личность Бальмонта во многом соответствовала образу декадента. Само же стихотворение «Чайка» из сборника «Под северным небом» было, несомненно, известно Чехову. Этот сборник имелся в его библиотеке.

Круг личных знакомств Чехова среди русских символистов включал также Ю. Балтрушайтиса, по чьей просьбе Чехов, уже тяжело больной, пишет рекомендательное письмо А. Стриндбергу, характеризуя Балтрушайтиса как переводчика и поэта.

При всей сложности своего отношения к символизму, Чехов, являясь одной из центральных фигур этой переходной эпохи конца века, сам чувствовал необходимость поиска новых средств выразительности. Поэтому стиль «Чайки» во многом уникален, Чехов не просто давал в «Чайке» образец иной поэтической манеры. «Он осуществил композиционный принцип мозаики, монтажа различных по стиливой манере кусков... создание особого смыслового поля произведения» [Собенников, 1989, с.118]. Это связано и со статусом символов как элементов «чужого» и «авторского» в тексте. Хочется отметить некоторые детали, где происходит взаимопроникновение этих начал. Здесь особенности образа выходят на качественно новый уровень. Отдельные поступки, слова приобретают новое значение. В речи Нины символы «чужого» художественного мира становятся «своими», авторскими. Прием повторения по-новому осмыслен. Героиня не просто повторяет фразу, как было в постановке Треплева, теперь Нина словно вслушивается в звучание фразы. Такое повторение — и ответ «Нет, не то». Прием по-новому осмыслен, возвращает зрителя на новом уровне к идее Мировой Души, противостоящей вечному злу. Поэтому и смысл дальнейших слов Нины, хотя и полных бытовых деталей (пьяные купцы, поезд), вырастает за пределы повседневных бытовых проблем и дает ощущение духовной победы героини.

Таким образом, по словам А. Белого, в «Чайке» «открывается какой-то тайный шифр, и мелочи — уже не мелочи, они становятся все больше проводниками Вечности».

Боцяновский В. Чехов и символисты // Чеховский юбилейный сборник. М., 1910. С. 47–52.

Гебри П. Чехов и А. Белый (эмблематика, символы, языковое новаторство) // Чехов и Серебряный век. М., 1996. С. 80–90.

Гиндин С. И. Константин Треплев, Владимир Финдесъеклев и Генрих Шульц // Чехов и Серебряный век. С. 116–127.

Головачева А. Г. «Декадент» Треплев и бледная луна // Чехов и Серебряный век. С. 186–195.

- Зингерман Б.* Театр Чехова и его мировое значение. М., 2001. 432 с.
- Лосиевский И. Я.* «Чеховский» миф А. Белого // Чехов и Серебряный век. С. 106–116.
- Нинев А.* Чехов и Бальмонт // Вопр. лит. 1980. № 1. С. 98–131.
- Полоцкая Э. А.* Пролет в вечность: Белый о Чехове // Чехов и Серебряный век. С. 95–106.
- Письма Мережковского к Чехову / подгот. текста и коммент. А. М. Долотовой // Чехов и Серебряный век. С. 258–267.
- Сахарова Е. М.* Чехов и Балтрушайтис // Чехов и Серебряный век. С. 268–279.
- Собенников А. С.* Художественный символ в драматургии Чехова. Иркутск, 1989. 200 с.
- Собенников А. С.* Чехов и Метерлинк // Чеховиана: Чехов и Франция. Р. 1992. С. 124–129.
- Шайкевич Б. А.* Драматургия Ибсена в России. М., 2007. 234 с.
- Шах-Азизова Т. К.* Чехов и западноевропейская драма его времени. М., 1966. 152 с.

Статья поступила в редакцию 17.03.2011 г.

УДК 821.161.1-14 + 821.161.1-312.6

Ю. С. Высоцкая

«ЧЕТВЕРТАЯ ПРОЗА» О. МАНДЕЛЬШТАМА: СТИЛЕВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ

Рассматриваются особенности индивидуального стиля О. Мандельштама на примере одного из его прозаических произведений — «Четвертой прозы». Образ мира, образ человека и образ автора — три важнейших категории, на основании которых выстраивается целостный анализ художественного текста.

Ключевые слова: Мандельштам; стиль; метафора; проза поэта; образ мира; образ человека; образ автора.

Художественный мир Осипа Мандельштама становится сегодня объектом все более пристального внимания исследователей. Работы недавних лет представляют собой различные, порой даже противоположные подходы к изучению его творческого наследия, хотя все они устремлены к исчерпывающему анализу созданий художника.

Накопленный наукой материал, казалось бы, позволяет вступить на путь подлинных обобщений и итогов процесса осмысления картины мира, исполненной О. Мандельштамом. Однако сам сверхсложный — при всей его стилевой очерченности — характер творчества автора словно бы препятствует подобному научному синтезу, сопротивляясь принципам последовательного моделирования эстетического бытия, выстроенного крупнейшим талантом художника. Неслучайным поэтому оказывается недавнее появление целого ряда трудов [см., например: Поляновский; Ронен; Черашняя; Пак Сун Юн; Лекманов, 2009; и др.], предлагающих различные интерпретации мировидения и поэтики О. Мандельштама — одного из великих авторов трагического двадцатого века.

В то же время бесконечно разнообразное его наследие нелегко «улавливается» самыми пристальными и глубокими исследователями. И если в поэзии

его многое увидено и угадано «в мандельштамовском духе», то проза его остается в основном в стороне и воспринимается лишь как «вторая» форма по отношению к «главной» [см.: Гиппиус, с. 569]. Однако именно проза (как ощущает ее сам автор и как говорит строй его прозаических вещей) становится для Мандельштама той областью творчества, где явственно обнажаются законы его художественного мышления, законы «работы» его слова и его стиля, открывающие пути формирования необходимых ему эстетических смыслов.

Поэтому изучение художественного стиля О. Мандельштама, являющегося в его прозаических созданиях, представляется нам необходимым исследовательским актом, позволяющим приблизиться к корневым, глубинным свойствам редкостной творческой индивидуальности художника, к строю его поэтики, чья конструкция «несет с собой» необычайное авторское мировидение.

Исходя из ставшего классическим для современной науки утверждения о стиле творца как сквозном принципе свойственного ему строения художественной формы [см.: Литературный энциклопедический словарь, с. 372], мы в нашем анализе будем опираться на понятие «двумерной, структурно-пластической» природы стиля художника, который, являясь «внутренним, структурным законом поэтики творца... управляет всеми внешними, видимыми, ощутимыми слоями его поэтики» [Эйдинова, 1997, с. 25]. Мы двинемся по пути освоения и определения стиля Мандельштама, открывающегося в его прозе и демонстрирующего характерную для него эстетическую действенность и «энергическую свершаемость» [Эйдинова, 2009, с. 10].

Созданная О. Мандельштамом «Четвертая проза» (1930) являет собой текст повышенной стилевой сложности (как, впрочем, и другие его прозаические вещи). Он сконструирован не только как слово автора о законах его творчества, а значит, о его литературном «я» («литературной личности», по Ю. Тынянову), но и как образ его времени, сделанный с особой художественной жесткостью, определяющей гротескно-смещенную пластику этой вещи, вырастающую в резко конфликтный, настойчиво деформированный самими противостояниями свойственной ему поэтики, сверхконтрастный («остродуальный», по определению В. Эйдиновой) стиль.

Образная ткань «Четвертой прозы», обладающая усиленной метафорической пластикой, выстраивается в устрашающую картину мира, насыщенную нескончаемыми рядами подробностей и деталей, пугающими и словно бы «смотрящими» в разные стороны и почти не сочетаемыми друг с другом. Это «белоснежный железнодорожный сон», «бестрамвайная ночь», «желтый социалистический пассаж-комбинат, созданный... из элементов шикарной гостиницы на Тверской, ночного телеграфа или телефонной станции, из мечты о всемирном блаженстве, воплощаемом как перманентное фойе с буфетом, из непрерывной конторы с салютующими клерками, из почтово-телеграфной сухости воздуха, от которого першит в горле», «бухгалтерская ночь», «черная лошадиная кровь эпохи», «ворованный воздух», «синие ночи», «грязная редакция безыдейного журнальчика», «суррогат ночи», «желтая больница комсомольского пассажа», «иудины окна похабного дома», «жестяная повестка»

[Мандельштам, 1994, с. 492–503]¹. И — в конфликте с приведенным словесным рядом: «брюссельское кружево», «воздух, проколы, прогулы» [с. 503]. К метафорическим образам-приметам мира вплотную примыкают стилистически не маркированные, но предельно конкретные знаки эпохи: «газетовые гробы», «читальный зал, переделанный из церкви», «большие буфеты», «бутерброды с красной икрой», «стальные кондукторские щипцы» [с. 492–503]. Мы видим, что концентрированно-метафорическое, экспрессивное слово автора, перемежаясь со словом относительно нейтральным, но в контексте воспринимаемым как явственно сниженное, создает образ мира, потерпевшего катастрофу. Железная дорога, трамваи, комбинаты, гостиницы, конторы и буфеты, сталкиваясь друг с другом в пространстве текста, образуют атмосферу удушья, тесноты, невозможности жизни. Слово Мандельштама, работающее сверхконтрастными столкновениями абстрактного и конкретного, материального и нематериального, низкого и высокого, отмечено энергией предельности и, рождая в нас тревожащее ощущение распада жизни, выстраивает образ неуправляемого, хаотично организованного мира.

Человек, сиротствующий в таком «перевернутом» бытии, перестает, как мы понимаем, быть равным себе, утрачивает ощущение собственной идентичности, раздваивается и даже «множится». Не случайно человеческое «я» в текстах Мандельштама постоянно и настойчиво соотносится с «другим» в тщетных попытках самообретения. Увидим это в «Египетской марке»: «...Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него...» [Мандельштам, 1990, с. 74] и в следующей за ней «Четвертой прозе»: «...Мы стреляем друг у друга папиросы и правим свою китайщину... Кто мы такие? Мы школьники, которые не учатся. Мы комсомольская вольница. Мы бузотеры с разрешения всех святых...» [с. 492–493]; «...Я китаец — никто меня не понимает. Халды-балды!..» [с. 495]; «...Что это за фрукт такой, этот Мандельштам, который столько-то лет должен что-то такое сделать и все, подлец, изворачивается? Долго ли еще он будет изворачиваться?..» [с. 501], «...Во-первых, я откуда-то сбежал и меня нужно вернуть, водворить, разыскать и направить. Во-вторых, меня принимают за кого-то другого. Удостоверить нету силы...» [с. 502]. Перед нами — слово-разрыв, организованное смещением точки зрения авторского «я», о чем говорят колебания между «я» и «мы», речь о себе в третьем лице, а также ряд глаголов (*вернуть, водворить, разыскать, направить*) — словесные знаки точки зрения «другого», враждебного, чуждого, не принимаемого автором голоса. Это «расколотое» говорение, образуемое странно отчужденными друг от друга словесными формами, утратившее свою основу «плоти и хлеба», создает облик определенной личности, не умеющей ощутить очертания и окружающей ее реальности, более того, очертания собственного голоса.

Обратимся далее к другим персонажным образам, включаемым в слово повествователя и отличающимся еще большей рассеченностью и раздробленностью. Это и Венямин Федорович Каган, который «позволял вытряхивать

¹ Далее текст «Четвертой прозы» и стихотворные тексты О. Мандельштама цитируются по этому изданию с указанием страницы.

себя из профессорской коробки, подходил к телефону во всякое время, не зарекался, не отнекивался, но... задерживал развитие болезни»; и Исая Бенедиктович, который «повел себя так, как будто болезнь заразительна, прилипчива, вроде скарлатины, так что и его... могут, чего доброго, расстрелять» [с. 490], «носился по Москве наобум, без всякого плану», «делал себе прививку от расстрела», «жил благочестивым французом, кушал свой потаж, знакомых выбирал безобидных... и ходил... к двум скупщикам переводного барахла», «слинял, смяк, высунул язык»; и родственники Исаия Бенедиктовича, умершие «на ореховых еврейских кроватях»; и партийцы, отдыхающие «в обществе буржуа» [с. 491]. Тут же возникает мальчик «в козловых сапожках, в плисовой поддевочке, напомаженный, с зачесанными височками... в окружении мамушек, бабушек, нянюшек» (и рядом с ним «пришепетывающие архангелы» — «старые девы» — «гнусные жабы» — характерный для Мандельштама образ-метаморфоза, конструируемый на глазах у читателя и динамически развертывающий только что названный в тексте образ мальчика); и девушка-хромоножка, которая «пришла к нам с улицы», «кладет свой костыль в сторону», «ходит, волочась на костыле»; а всюду — животный страх «стучит на машинках... ведет китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежащим, требует казни для пленников» [с. 492]; ГУМы и тресты «спят и разговаривают на родном китайском языке»; Ленин и Троцкий «ходят в обнимку, как ни в чем не бывало»; Вий «читает телефонную книгу на Красной площади»; армяне «ходят из города Эривани с зелеными крашеными селедками» [с. 501].

Перед нами — поражающее нагромождение разноплановых, разнопорядковых и потому бессвязных образов. Не человек, а скорее марионетка, автомат действует в мире мандельштамовского текста: без закона, без порядка, без смысла, поддаваясь общей, непостижимой и дьявольски неостановимой силе, становясь ее частью. Действие каждой персонажной фигуры в приведенном словесном ряду словно бы не принадлежит ей, получает свою отдельную силу, одновременно осуществляя трудноуловимое, но упорствующее превращение механической человеческой фигуры в объект. Не случайно Венямин Федорович «позволяет вытряхивать себя», не случайно вихрастый малютка-комсомол действует «под руководством агитмамушек, бабушек, нянюшек», а Горнфельд «выполняет социальный заказ». Образы людей в «Четвертой прозе» либо подменяются образами собирательных вещей (ГУМ, трест), партийной организации («малютка-комсомол»), либо наделяются чертами искалеченного, больного, разъятого тела: «девушка-хромоножка»; «...я — стареющий человек — огрызком собственного сердца чешу господских собак...» [с. 502]. Страшная, безликая сила, чье действие прячется за спиной человека-марионетки, подменяя его волю своей, открывается нам впересечениях множющихся словесных рядов, организованных по принципу сумасшедшего повтора разнородных и отторгающих друг друга словесных элементов. И вот эта чудовищная сила обретает свой голос:

...Кассирша обсчиталась на пятак — убей ее!
Директор сдуру подмахнул чепуху — убей его!
Мужик припрятал в амбаре рожь — убей его!.. [с. 493].

Безмерное насилие, неизбежно влекущее за собой смерть, поистине становится действующим лицом «Четвертой прозы», причем предельно остро эта страшная «подмена» всего и вся мертвящим началом открывается именно через активно работающее контрастными соотнесениями мандельштамовское слово, возникающее в зияющих логических переходах, в форме, постоянно стремящейся преодолеть себя, в словесных колебаниях на грани исчезновения языковой нормы («...густопсовая сволочь пишет...»; «...Пошли вон, дураки!...» [с. 495], «Митька Благой — лицейская сволочь...» [с. 497]). Трагедию мира и человека автор, как мы показываем, переживает именно словом и в слове, что полностью соответствует его высказыванию о «героической эре» в жизни слова, когда оно «разделяет участь хлеба и плоти: страдание» [с. 389]. Однако своим «страдающим» словом автор не только переживает трагедию, но и преодолевает ее.

Подобное «сопротивляющееся» миру начало мандельштамовского текста зримо являет себя в предельно исповедальных строках, обращенных именно к литературному творчеству:

...Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо,
с у м а с ш е д ш и й н а р о с т (здесь и далее в цитатах разрядка наша. — Ю. В.).

И до самой кости ранено
Все ущелье стоном сокола, —
вот что мне надо.

Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух... [с. 494].

Казалось бы, и здесь работает та же максимально экспрессивная образность, та же конфликтно-разрывная интонация, колеблющаяся на грани языковой нормы, но этот прозаический текст вмещает в себя поэзию (строки, цитируемые Мандельштамом, принадлежат Важа Пшавела), усиливая авторское, почти отторгающее жизнь слово огромной энергией прекрасного. Кроме того, и для нас это особенно существенно, второй поэтический текст присутствует здесь в виде поэтически «заряженной» метафоры *дикое мясо словесного ремесла*, подчеркивающей материальную, даже телесную, природу художественного слова и отсылающей нас к более поздним строкам Мандельштама, несущим в себе то же состояние тончайше-болевого ощущения жизненной «материи» (стихотворение «Батюшков»):

...И отвечал мне оплакавший Тасса:
Я к величаньям еще не привык
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык... [с. 189].

Так, трагически чувствующий и осмысляющий пространство словесного искусства как пространство ранимого человеческого существа Мандельштам вместе с тем слышит мир великого искусства слова как мир «волшебный», «светлый», «нежный». Эти живые и высокие краски, которыми наделяет он создания Батюшкова, символизируют собой поэзию с ее «гармоническим про-

ливнем слез». Так парадоксально-контрастно сходятся в мандельштамовской поэзии и «наше мученье, и наше богатство». В прозе так же (в «Четвертой прозе», в частности): среди доминирующих в тексте обнаженно-губительных образов возникают образы возвышенного, прекрасного искусства. В нем, как в брюссельском кружеве, «главное то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы» [с. 503].

Отметим еще одно похожее словесно-стилевое мандельштамовское явление, сопрягающее его прозаические и стихотворные строки: «...И я бы вышел на вокзале в Эривани с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой — моим еврейским посохом — в другой...» [с. 496]. И — параллельно — стихотворение «Посох»:

...Посох мой, моя свобода —
Сердцевина бытия,
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?

Я земле не поклонился
Прежде, чем себя нашел,
Посох взял, развеселился
И в далекий Рим пошел...
..Снег растает на утесах,
Солнцем истины палим,
Прав народ, вручивший посох
Мне, увидевшему Рим! [с. 97].

Сопряжение это, рождаясь на основании общего словесного компонента, демонстрирует его особую функцию в каждом из текстов. Его пафос в «Посохе» — это пафос истины и свободы, бесстрашно обретенной поэтом. И совершенно иной пафос пронизывает «Четвертую прозу» отягощенным состоянием автора, который ощущает свой «еврейский посох» лишь «стариковской палкой» — знаком отъединенности от мира настоящей литературы, убиваемой «кровавой советской землей», где правит «некий Митька Благой — лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки» и стоящая «в ряду убийц русских поэтов» (рядом с другим именем — «тусклым именем Горнфельда» [с. 497]).

Так, проза Мандельштама берет на себя роль бескомпромиссного обвинения «разрешенной», бесстыдно служащей власти литературы. И здесь его кажущийся беспомощным посох предстает знаком борьбы с писательской пресмыкающейся «мразью». Его свободное и смелое слово творит стиль, способный в своем противопоставлении истинной и ложной (презренной) литературы вступать на путь абсолютного отрицания ее фальшивого существования — отрицания, поднимающего «Четвертую прозу» на уровень того самого высокого творчества, чей образ воплощен в строках «Посоха». Такова точка зрения автора, клеймящего «разрешенных» писателей. Вот его сражающийся с их миром, настойчиво-экспрессивный словарь: «...Я хочу плевать им в лицо», «хочу бить их палкой по голове» и «всех посадить за стол в Дом Герцена... дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда» [с. 495], «ненавижу всеми душевными

силами» [с. 499]. И далее — отдельные, подчеркнуто огрубленные речевые единицы и обороты, такие как *густопсовая сволочь, рогатая нечисть, раса с противным запахом кожи, раса, кочующая и ночующая на своей блевотине, вороватая цыганишна писательского отродья* [с. 495, 496, 499]. Столь концентрированная отрицательная метафорика творит бунтующее стилевое единство текста, рождающееся в сопряжении сверхэкспрессивных, отторгающихся друг от друга, чужеродных словесных компонентов. Авторское «я» есть «я», собирающее в смешанный образ «нетворчества» и, рядом, творчества резко контрастные лексические «силы». Автор находится в эпицентре истинных и ложных литературных явлений, чья борьба не только несправедлива, но унижительна для настоящего писателя.

Мандельштамовское слово, являющее в тексте «Четвертой прозы» образ истинного писательства, сосредоточивается в словесных оценках автора-повествователя, пишущего о «прекрасном русском стихе», который он «не устает твердить», стихе, который волево, энергично и с предельным состраданием «морозом стреляет в комнату»: «*Не расстреливал несчастных по темницам* — вот символ веры, вот поэтический канон настоящего писателя — смертельного врага литературы...» — таким высоким словом сопровождает автор-повествователь строки С. Есенина [с. 496]. Строки эти, с одной стороны, обостряют трагическую напряженность авторского слова, а с другой — звучат как заклинание, ощущаются как спасительный, но в то же время «ворованный» воздух. Автор-повествователь чувствует себя «скорняком драгоценных мехов, едва не задохнувшимся от литературной пушнины» [с. 501]; он бежит «навстречу плевриту — смертельной простуде, лишь бы не видеть... иудиных окон похабного дома на Тверском бульваре» [с. 501], ибо «несет моральную ответственность» за «пасквильное» толкование гоголевского Акакия Акакиевича [с. 501].

Мы видим, что путь, избранный Мандельштамом в его «Четвертой прозе», сопровождается настроением не только бесконечно мужественным. Его тональность — это тональность предельной самоотверженности и в то же время ужаса перед «дремучим советским лесом», где он «был оставлен разбойниками», которые назвались, как пишет он, его судьями [с. 500]. И далее — еще острее и сильнее — о «не-литературе», буквально зажимающей творца в кольцо страха: «она меня мяла, лапала и тискала, и все было страшно, как в младенческом сне» [с. 500]. Дуальный мандельштамовский стиль — через это храброе и одновременно переполненное испугом состояние — особенно потрясает своим сложнейшим словесным составом, чьи слагаемые противостоят друг другу и все же сплетаются в единое оксюморонное целое.

Эстетическая сила и красота стиля Мандельштама рождаются именно в подобных стыках словесной пластики, передающей «несопрягаемые сопряжения» лексического строя его «Четвертой прозы». Они возникают не только в сопоставлении прозаической и стихотворной речи², но оказываются рядом в самом

² Например, в объединяющем его стих и «Четвертую прозу» образе бритвы «Жиллет»: «...Пластинка бритвы “жилет” — изделие мертвого треста» [с. 495] и «...Пластинкой тоненькой жилета / Легко щетину спячки снять...» [с. 222].

жестко-гневною тексте «Четвертой прозы». Так, невероятно сниженный словарь автора, адресованный угоднической литературе, тем не менее «впускает» в свой сверхрезкий строй словарь, творящий иной образ, — творчества, не знающего состояния прислужничества, где обличительная мандельштамовская пластика получает особо выразительную энергию. Густота негативного лексического слоя «Четвертой прозы» делает подчеркнуто громким и видным позитивный лексический слой. Например, слова Данте³, воспроизведенные на языке оригинала и окруженные особой, семантически «продолжающей» их лексикой (*дремучий, судьи, старцы, время*), буквально врываются в мандельштамовский текст, наделяя прозаические строки грозной и торжественной интонацией, пророческими смыслами превращая *старцев с гусиными головами* из судей в осужденных.

Итак, мы увидели, что «Четвертая проза» — это не только слово о трагедии и слово-трагедия, но и слово о б и с к у с т в е, формирующееся по законам диалога, текст, который, несмотря на всю свою предельно конфликтную, гротескную, экспрессивно-исполненную организацию, остается вместе с тем словом Мандельштама-поэта, наполненным «жизнестроительной» [см.: Эйдинова, с. 44] энергией. И в то же время стиль Мандельштама, вбирающий в себя и организующий множество культурных голосов, соотносящий поэзию и прозу, удивляющий резкостью и эмоциональностью смысловых переходов и сдвигов, обозначен также функцией п р е о д о л е н и я страха, унижения, одиночества, которыми наполнен текст «Четвертой прозы».

Кроме того, стиль автора обеспечивает единство и устойчивость мотивной структуры текста, благодаря чему «Четвертая проза» воспринимается нами не как набор разрозненных главок, объединенных лишь волей автора, но как внутренне связанное целостное произведение. Главным и наиболее явным мотивом, образующим конструктивно-смысловое его единство, является мотив насилия, лишения жизни, мотив казни, убийства. Проследим за его нескончаемыми и неумолимыми словесными воплощениями: «...и его — Исаия Бенедиктовича — могут, чего доброго, расстрелять...»; «...Вдарь, Васенька, вдарь!...»; «...животный страх... бьет по лежащим, требует казни для пленников...»; «...мальчишки топят всенародно котенка на Москва-реке...»; «...священное правило самосуда...»; «...Убей его!...», «...Убей ее!...»; «...он саваном газетным шелестит...»; «...он страшный и безграмотный коновал происшествий, смертей...»; «...брызжет фонтаном черная лошадиная кровь эпохи...»; «...хочу бить их палкой по голове...»; «...умер мой покровитель...»; «...когда рубят головы...»; «...к числу убийц русских поэтов...»; «...погибнуть от Горнфельда...»; «...чинить расправу над обреченными...»; «...и умоляют: подохни!...» [с. 490—502]. Гибельный мотив насилия не просто пронизывает, но захватывает собой текст Мандельштама, наделяя его катастрофическими и разрушительными смыслами. Работа

³ «In mezzo del commin del nostra vita...» — на середине жизненной дороги я был оставлен в дремучем советском лесу разбойниками, которые назвались моими судьями. То были старцы с жилистыми шеями и маленькими гусиными головами, недостойными носить бремя лет...» [с. 500].

соотнесением уничтожающих стилевых регистров (*Вдарь!, Убей!, Подохни!*), формируясь в атмосфере насильственной энергии глагольных форм (активность императивных образований) и нагружая существительные синонимичным «звучанием конца» (газетный *саван*, *коновал* происшествий), авторское слово обретает качество чрезмерности, нагнетенной предельности в описании смертоносной атмосферы времени.

В высшей мере существенным в плане нагнетения этой устрашающей атмосферы представляется нам и мотив дьявольского наваждения, снова и снова возникающий на страницах «Четвертой прозы»: «...башмак протеза напоминает деревянное копыто...»; «...происходит непрерывная свадьба козлоногого ферта... с парным для него из той же бани нечистым...»; приходит «...записка от корректного черта...»; «...рассыпется рогатая нечисть...»; «...В ий читает телефонную книгу на Красной площади» [с. 493, 495, 496, 503]. Примыкает к нему и мотив «псиного», угрожающего и в то же время сниженного начала (*густопсовая сволочь, псиные ночи, пся-кровь*). Эти семантически родственные словесные ряды, образующиеся сцеплением враждебных человеческому миру и активно отторгаемых художественным сознанием элементов, наделяют текст «Четвертой прозы» нескончаемой силой авторского неприятия установившегося — не волей человека, но волей дьявола — страшного миропорядка.

Теснейше связан с этой сатанинской не-жизнью мотив странной ее глухоты, воплощенный в «Четвертой прозе» в диком, не поддающемся объяснению образе «китайщины»: «...Мы... правим свою к и т а й щ и н у, зашифровывая в животно-трусливые формулы великое, могучее, запретное понятие класса...», «...животный страх ведет к и т а й с к у ю п р а в к у...», «...Я к и т а е ц — никто меня не понимает. Халды-балды!..», «...В Доме Герцена один молочный вегетерианец — филолог с головенкой к и т а й ц а — этакий ходя — ха о - ха о, ш а н г о - ш а н г о ... некий Митька Благой...»; «...А я говорю — к китайцам Благого — в Шанхай его, к к и т а е з а м!...»; «...Гумы и тресты спят и разговаривают на родном к и т а й с к о м языке...» [с. 492, 495, 497, 503]. Мотив «китайщины» выступает в тексте знаком иного, чужого, странно обессмысленного голоса, который возникает словно бы сам по себе, вдруг, резко и немотивированно, почти безумно, «рвет» и «дробит» текст («...где ходит сарт с бараньими глазами. Халды-балды!..» [с. 496], «...как священник из турецкой деревни. Халды-балды!..» [с. 496], «...и ел бутерброды с красной икрой. Халды-балды!..» [с. 496], «...как татарин, укравший сто рублей. Халды-балды!..» [с. 496]), сопровождая его движение подчеркнуто сниженной, просторечной, «небрежной» интонацией. Конфликтные стилевые элементы, выстраивающие мотив «китайщины», характеризуют слово Мандельштама как разнонаправленное, работающее на грани смысловой полноты и смысловой редукции и наделенное одновременно энергией разрушения и созидания.

Все эти подчеркнуто укрупненные семантические «линии» текста противопоставлены в «Четвертой прозе» авторскому «я», которое невозможно назвать ни героем, ни темой, ни тем более мотивом. Именно «я» говорящего, чей облик формируется в тексте парадоксально скрещивающимися словесно-тематическими линиями иудейства, вины и, главное, творчества; «я», чей голос

наделен особой (неровной, срывающейся, трагически окрашенной) интонацией, становится тем организующим «центром» текста, вне которого оказывается невозможным его единство.

Не случайно голос и образ автора возникают в тексте совершенно неожиданно, знаменуя собой первый наиболее явный семантический его «сдвиг» и формируя некий ключ к тексту, творимому, казалось бы, по принципу «смыслового беззакония»: «...Потом он слинял, смяк, высунул язык, и сами родственники вскладчину отправили его обратно в Петербург». И тут же: «Меня всегда интересовал вопрос, откуда берется у буржуа брезгливость и так называемая порядочность...» [с. 491]. В результате «перебоя» намечившейся сюжетной линии вольным голосом автора, ломающим сюжетную логику текста, и формируется та самая его внезапная («внепричинная») логика, творящая «другую» реальность — необъяснимую, почти фантастическую, управляемую разрушительными («нездешними») силами.

Все более необъяснимой, уходящей от привычной, рациональной логики, становится далее словесная конструкция «Четвертой прозы», где именно авторский голос «руководит» сдвигами и смещениями, ломающими традиционное представление о литературном тексте, имеющем свое обозримое начало, развертывание, конец:

...Кто эта безмужница? — Легкая кавалерия.

Мы стреляем друг у друга папиросы и правим свою китайщину... К нам ходит девушка, волочась на костыле... Кто мы такие? Мы школьники, которые не учатся. Мы комсомольская вольница. Мы бузотеры с разрешения всех святых... Наше понятие учебы так же относится к науке, как копыто к ноге, но это нас не смущает.

Я пришел к вам, мои парнокопытные друзья, стучать деревяшкой в желтом социалистическом пассаже-комбинате... [с. 493].

Снова возникающий на семантическом «сломе» голос автора буквально «множится» на наших глазах, колеблясь между двумя полярными голосами, между звучанием «я» и «мы». Голос личности или голос многих, массы, толпы слышится в тексте. Ни тот ни другой в отдельности, но и тот и другой — в их смятении и смешении. Голос авторского «я» и голос «другого»; это уже не диалог, но синхронно звучащая речь, которая, мгновенно и укрупненно возникнув, так же мгновенно исчезает:

...Я поступил на службу в «Московский комсомолец» прямо из караван-сарая Цекубу... Меня ненавидела прислуга в Цекубу...Днем и ночью я ходил смотреть на паводок... По утрам я пил стерилизованные сливки... Я брал на профессорских полочках чужое мыло... я стучал палкой в окно... Я жил в Цекубу, как все, и никто меня не трогал, пока я сам оттуда не съехал в середине лета... я переезжал на новую квартиру... [с. 494].

Все более настойчиво звучат в голосе «я» элементы авторской биографии, все более явно проступает — сквозь очертания времени — свершающаяся на глазах читателя авторская судьба. Мандельштамовское слово, организованное многочисленными повторами (*я брал, я стучал, я жил*), становится крайне

экспрессивным, заявляющим себя подчеркнуто настойчиво, волево. Его акцентированное, личностно-активное присутствие в тексте все более возрастает: «...произведения мировой литературы я делю...»; «...я хочу плевать в лицо...»; «...я бы запретил...»; «...у меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива...»; «...я один в России работаю с голоса... Какой я к черту писатель!...»; «...я не устану повторять...»; «...а я говорю...»; «...уж позвольте мне судиться!.. разрешите мне занести в протокол. Дайте мне... приобщить себя к делу! Не отнимайте у меня... моего процесса!...»; «...я ненавижу всеми душевными силами... не хочу... не буду...»; «...я настаиваю... я горжусь...»; «...я несу моральную ответственность...» [с. 491–503]. Авторская инициатива и «действенность» являют небывалую силу благодаря своему непрерывному глагольному «существованию». Большинство глаголов здесь — это глаголы активного действия, творящие эффект необыкновенно динамичной авторской речи. Нарастающая, волевая интонация, с которой мандельштамовское «я» вторгается в текст, становится решающим фактором единства «Четвертой прозы», наполняя ее строки мощной стилевой энергией.

Концептуально существенна сама степень авторской активности, ведь писательское «я», организующее текст, буквально одержимо стремлением самоидентификации, самообретения, утверждения — пусть будущего — себя в мире. Отсюда — и многочисленные личностные речевые конструкции, выстроенные по типу дефиниции; и постоянные, неизбежные во всех крупных прозаических текстах Мандельштама отсылки к собственной родословной, которые можно рассматривать в качестве отдельной, с особой эстетической силой воплощенной составляющей его творчества («...Я настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе, и в особенности в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского отродья...» [с. 499]); и уже названная смена точки зрения, когда автор предстает перед читателем и перед самим собой как «я» и одновременно — отстраненно — как «он», «подлец», «фрукт такой» [с. 501], что прямо отсылает нас к скрытому драматизму стихотворения 1935 г.:

...Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,
Нрава он был не лилейного,
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама... [с. 211].

Думается, что представление о себе-«другом» было совершенно необходимо Мандельштаму — прозаику и поэту: оно дало ему возможность снова и

снова, с непреходящей горечью и тоской, опосредованно и оттого еще более напряженно и нервно-эмоционально говорить о себе, не услышанном, не узнанном и не принимаемом современниками. Разговорная интонация этой «другой» его речи, крайнего отчаяния интенсивнейше выражает авторское состояние, передавая его в отчужденной и потому еще более трагической форме явно-неявного страдания.

Страстное желание диалога с современниками, читателями, со временем, чьи «шум и прорастание» так дороги Мандельштаму, мы находим и в многочисленных обращениях, характеризующих «Четвертую прозу» как текст, активно направленный к «другому»: «...Я пришел к вам, мои парнокопытные друзья...»; «...Пошли вон, дураки!..»; «...Угадайте, друзья, этот стих...»; «...Дяденька Горнфельд! Зачем ты пошел жаловаться...»; «...Александр Иванович Герцен!.. Разрешите представиться...»; «...Уважаемые романес с Тверского бульвара!..»; «...А ведь мне, братишки, труд впрок не идет...» [с. 493, 495, 496, 498, 499, 501, 503]. Эти активные, настойчивые, предельно экспрессивные обращения к друзьям, врагам, литераторам, читателям предстают стиливыми знаками направленного, разрешающегося в событие, динамически организованного мандельштамовского текста.

Странная, удивительная, сверхнапряженная «Четвертая проза» Мандельштама, само наименование которой содержало в себе акцент на «выпадении» ее конструкции и ее пафоса из строя и смысла традиционной прозы рубежа 1920—1930-х гг., не знающей тех небывалых деформаций, словов и смещений, что строят парадоксальный, удивительный стиль автора (и устремленный к читателю, и закрытый от него своим сложным устройством), так и не нашла читателя и собеседника при жизни писателя. Трагическая судьба художника стала трагической судьбой его текстов, которые, однако, пережив годы невосполнимого забвения, поражают мир своей могучей стиливой энергией. Их «второе открытие» — сложнейшая и необходимая задача современной науки.

Аверинцев С. С. Судьба и весть Осипа Мандельштама // Аверинцев С. С. Поэты. М., 1996. С. 198—277.

Берковский Н. Я. О прозе Мандельштама // Берковский Н. Я. Текущая литература. М., 1930. С. 155—181.

Бродский И. Сын цивилизации // Звезда. 1989. № 8. С. 188—196.

Гинзбург Л. Я. Поэтика Осипа Мандельштама // Гинзбург Л. Я. О старом и новом : ст. и очерки. Л., 1982. С. 245—302.

Гиппиус З. Проза поэта // Гиппиус З. Чертова кукла. М., 1991. С. 569—571.

Есенин С. Я. Обманывать тебя не стану [Электронный ресурс]. URL: <http://esenin.ouc.ru/ya-obmanuvat-tebya.html>.

Закс Л. А. Антропологические основания художественного стиля // Текст. Поэтика. Стил. Екатеринбург, 2004. С. 9—27.

Лекманов О. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000.

Лекманов О. Осип Мандельштам. М., 2009.

Левин Ю. И. Избранные труды : Поэтика. Семиотика. М., 1998.

Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.

Мандельштам О. Э. Сочинения : в 2 т. Т. 2. М., 1990.

- Мандельштам О. Э.* Сохрани мою речь. М., 1994.
- Пак Сун Юн.* Органическая поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2008.
- Поляновский Э.* Гибель Осипа Мандельштама. Париж ; СПб., 1993.
- Ронен О.* Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002.
- Руднев П.* Словарь культуры XX века [Электронный ресурс]. URL: <http://www.philosophy.ru>.
- Топоров В. Н.* О «психофизиологическом» компоненте поэзии Мандельштама // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995. С. 428–446.
- Тынянов Ю. Н.* Промежуток // Тынянов Ю. Н. История литературы. Критика. М., 200. С. 399–435.
- Успенский Б. А.* Анатомия метафоры у Мандельштама // Успенский Б. А. Избр. тр. : в 2 т. Т. 2. М., 1996. С. 306–343.
- Черашняя Д. И.* Поэтика Осипа Мандельштама : субъектный подход. Ижевск, 2004.
- Эйдинова В. В.* О стиле Исаака Бабеля («Конармия») // Изв. Урал. гос. ун-та. 1997. № 6. С. 25–30.
- Эйдинова В. В.* Энергия стиля. Екатеринбург, 2009.

Статья поступила в редакцию 12.01.2011 г.

УДК 821.161.1-2 + 811.161.1'44

У. С. Кутяева

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ (ПО ПЬЕСАМ Н. В. КОЛЯДЫ)

Освещается проблема создания функциональной типологии прецедентных текстов, извлеченных из пьес Н. Коляды «Мурлин Мурло» (1989), «Мы едем, едем, едем...» (1995), «Кармен жива» (2002). Рассматриваются как вербальные, так и невербальные тексты.

К л ю ч е в ы е с л о в а: прецедентный текст; драматургия Н. Коляды; функциональная типология; интертекстуальность.

В современной лингвистике (в частности, в работах таких известных исследователей, как Ю. Кристева, В. А. Лукин, Н. А. Кузьмина, Л. Г. Бабенко) **интертекстуальность** рассматривается как одно из собственно текстовых свойств наряду с законченностью, цельностью, связностью, информативностью, языковой текстовой личностью. При этом, как пишет Н. В. Иноземцева, «основным маркером интертекстуальности является прецедентный феномен» [Иноземцева, с. 167], а «для интертекстуальных единиц используется понятие прецедентного текста» [Там же].

На сегодняшний день остается открытой проблема создания адекватной типологии прецедентных текстов, отсутствуют четко сформулированные основания для выделения разновидностей прецедентных текстов. Одной из наиболее распространенных является типология прецедентных текстов с точки зре-

ния способа их функционирования и жанровой специфики [см.: Илюшкина; Супрун, с. 96]. При этом следует указать, что традиционная классификация ставит в один ряд явления различного качества (например, популярные песни, фольклор, кинофильмы, детскую литературу, Библию, древнерусские тексты и др.) [см.: Супрун, с. 96].

В настоящей статье предлагается функциональная типология, созданная на основе 132 прецедентных текстов, извлеченных из пьес Н. В. Коляды «Мурлин Мурло» (1989), «Мы едем, едем, едем...» (1995) и «Кармен жива» (2002). Отметим, что, вслед за Е. А. Козицкой, как возможный источник заимствования мы рассматриваем не только отдельные вербальные тексты, но и целые корпусы текстов и определенные типы культуры, осмысленные как тексты, а также невербальные тексты [см.: Козицкая, с. 54–57].

Произведения Н. В. Коляды отличает тяготение к реализму, обращенность к определенной эпохе (как правило — советской или постсоветской), поэтому историко-культурная интерпретация творчества данного автора является актуальной и перспективной. Соответственно в статье представлен взгляд на тексты пьес Н. В. Коляды как на проекцию социокультурной жизни российского общества 80–90-х гг. XX в. и начала XXI в. Общественные и культурные процессы данного периода определенным образом отражаются и на характере функционирования прецедентных текстов в рамках рассматриваемых произведений.

Классы прецедентных текстов, функционально значимых для пьес Н. В. Коляды, рассмотрены с учетом принадлежности к определенному типу культуры. Анализируя особенности обращения к прецедентным текстам выделенных типов, мы выявили, каким образом прецедентные феномены участвуют в формировании социального и культурного фона произведения, а также в раскрытии образа героев.

В статье рассмотрены такие культурные типы прецедентных текстов, за которыми стоят определенные формы сознания, сосуществующие синхронно в рамках картины мира русского человека конца XX — начала XXI в., представленной в произведениях Н. Коляды.

Как значимые для рассматриваемых пьес Н. В. Коляды были выделены следующие культурные типы: 1) фольклорный, 2) массовый, 3) классический, 4) советский идеологический, 5) детский, 6) религиозный.

Итак, классификация текстов, созданная на базе выделенных культурных типов, представлена шестью типами прецедентных текстов. Кратко охарактеризуем каждый из этих типов.

Тексты фольклорного типа культуры

Тексты фольклорного типа культуры, одного из самых живых и устойчивых, составляют четвертую часть всех прецедентных текстов, используемых в рассматриваемых произведениях Н. В. Коляды (15 употреблений из 52 в пьесе «Мы едем, едем, едем», 11 из 41 в пьесе «Мурлин Мурло» и 8 из 39 в пьесе «Кармен жива» соответственно). Герои постоянно обращаются к народной

мудрости, которая, будучи облеченной в совершенную, годами выработанную форму, также нередко подкрепляется авторитетом родителей:

Миша (*вдохнул*). Бедному Ванюшке жениться — так и ночь коротка.

Зина. К чему вы это?

Миша. Так. Вспомнил. Мамина поговорка...

Помимо отсылок к текстам традиционного фольклора в произведениях Н. В. Коляды присутствуют и обращения к фольклорным текстам с «новым» содержанием. Так, например, в пьесе «Кармен жива» представлены такие тексты «нового» фольклора, как «Некоторые любят погорячее», «Не протягивайте руки, а то протянете ноги». В пьесе «Мурлин Мурло», написанной в 1989 г., встречаем анекдот перестроечной эпохи, где явно выражается негативное отношение к власти:

Инна [о жене М. Горбачева]... А еще анекдот про нее рассказывают: стоит Равиля, плачет. Ее спрашивают: «Ты чего?». А она говорит: «Талон на сахар потеряла!»

Изменение ценностных ориентиров периода 90-х отражено в анекдоте, представленном в пьесе «Мы едем, едем, едем...»:

Зина. Прямо как в анекдоте: просыпается девица рано утром, с бодуна, смотрит, а вокруг нее на постели три мужика голых спят. Девица закурила и говорит: «Ах, видела бы моя мама, что я курю!»... Вот так и я.

На уровне фольклорных текстов функционируют в произведениях Н. В. Коляды некоторые авторские песни, обращение к которым никогда не сопровождается упоминанием имени автора. Поэтика таких песен настолько близка к фольклорной, что нередко они воспринимаются именно как народные: *Однозвучно звенит колоко-о-о-о-льчик...; На мою на могилку, знать, никто не придёт! На моей на могилке соловей не споёт!* («Кармен жива»); *Там вдали за рекой зажигались огни-и-и-и!!!* («Мурлин Мурло»).

Следует отметить, что отсутствие обращений к народной культуре для героев Н. В. Коляды симптоматично. Так, речь Алексея («Мурлин Мурло»), в которой нет отсылок к фольклорным текстам, с учетом обилия в ней советских речевых штампов кажется слишком сухой, канцелярской. Излишнее использование клише и в то же время отсутствие обращений к фольклорным текстам также делают бедной речь Раисы («Кармен жива»). Герои Н. В. Коляды, оторванные от фольклорной культуры, словно бы лишены некоего важного опыта, вследствие чего выглядят несколько ущербными.

Тексты массового (популярного) типа культуры

Популярная (или массовая) культура — выражение особого типа общественного сознания, которое в отечественной и западной науке определяется как массовое. Важно отметить такую сущностную черту массовой культуры, как доступность широкому кругу населения и направленность на него.

Тексты данного типа культуры составляют приблизительно четвертую часть всех представленных прецедентных текстов в пьесах Н. В. Коляды (14 в пьесе «Мурлин Мурло», 2 в пьесе «Мы едем, едем, едем» и 14 в пьесе «Кармен жива»).

В пьесах 1980–1990-х гг. в основном представлены отсылки к текстам западной массовой культуры: «*Рабыня Изаура*», *Чикаго*, *Мурлин Мурло* («Мурлин Мурло»), *Шварцеггер* и *Ван Дамм* («Мы едем, едем, едем...»), что обусловлено мощным наплывом зарубежной попкультуры в связи с окончанием изоляции СССР от остального мира в период перестройки и гласности. В пьесе «Кармен жива» (2002) имеются указания на тексты отечественной массовой культуры (например, фильм «Три мушкетера»), при этом отсутствуют отсылки к текстам зарубежной массовой культуры, что, вероятно, объясняется отсутствием новизны такого рода заимствований для современного русского человека.

Тексты классического типа культуры

Тексты данного типа культуры очень разнородны как в содержательном, так и в жанровом отношении, но в целом характеризуются как образцовые, проверенные временем и составляют основу культурного богатства определенной нации, а нередко и всего человечества.

Тексты классического типа культуры составляют приблизительно пятую часть всех представленных в пьесах Н. В. Коляды прецедентных текстов (6 употреблений в пьесе «Мурлин Мурло», 8 — в пьесе «Мы едем, едем, едем» и 14 — в «Кармен жива»).

Необходимо отметить, что в большинстве своем тексты, к которым обращаются персонажи, не выходят за рамки советской школьной программы: *Кто скачет, кто мчится в ночной тишине...* — неточная цитата из ставшего классическим перевода В. А. Жуковского «Лесного царя» И. В. Гете («Мы едем, едем, едем...»), *Мороз-воевода дозором обходит владенья свои!* — цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос» («Мы едем, едем, едем...»). Хрестоматийность преобладающего числа цитируемых текстов во многом обусловлена достаточно низким культурным уровнем большинства героев Н. В. Коляды. Так, очевидно, представления о творчестве известного русского писателя у героини пьесы «Кармен жива» поверхностны и носят обыденный характер:

И р и н а. ...Всё, надоело. В поте морды тут пашешь каждый день. Рабство какое-то от её прихотей зависеть! Каждый вечер дома как колосок подрубленный падаешь от работы, а она?! *Достоевский* прям, достала уже! Она не в настроении, а мы чё тут?..

Показателен пример использования общеизвестного текста одним из героев для оценки культурного уровня другого персонажа:

А л е к с е й. ...Это ведь, оказывается, из-за тебя, дуры набитой, кошки драной, из-за тебя, а я думал... Дебилка! «Муму» не прочитала за свои почти тридцать лет?! Не прочитала ведь, не прочитала?!

О л ь г а. Не прочитала...

Наличие в речи героя текстов, не входящих в школьную программу, указывает на его образованность по сравнению с остальными персонажами. Например, на общем фоне выделяется героиня пьесы «Кармен жива» Эльвира, которая обращается к таким текстам, как «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова, «Ночь ошибок» О. Голдсмита.

Тексты советского идеологического типа культуры

Отсылки к текстам данного типа культуры в пьесах Н. В. Коляды частотны для пьес «Мурлин Мурло» и «Мы едем, едем, едем» (8 и 7 употреблений соответственно), первая из которых создана на закате советской эпохи, а вторая — вскоре после падения СССР. Герои пьес Н. В. Коляды воспроизводят характерные лозунги: «Свобода, равенство, братство», формулировки: «Не был, не состоял, не участвовал» («Мы едем, едем, едем»).

Период 80–90-х гг. ознаменован крушением советской ценностной системы, поэтому значительная часть отсылок к текстам данного типа культуры носит иронический характер:

З и н а (*молчит*). Здравствуй, лошадь, я — *Буденный*.

Героиня использует данную фразу вместо приветствия незваному гостю, и, таким образом, выражает свое негативное отношение к ситуации через сниженное обращение к имени советского военачальника.

Следующая реплика представляет собой интересный пример игрового конструирования текста по аналогии с бытующими в советское время текстовыми моделями:

И н а. ...Мама — в *гортоне* работает, ну, *город топчет*, сплетни собирает. Я на стройке коммунизма наяриваю...

Обыгрывание «советских» текстов становится приметой речи тех героев Н. В. Коляды, которых Н. Л. Лейдерман метко назвал «артистами» [Лейдерман, с. 35]. В пьесе «Мы едем, едем, едем» таким персонажем является Зина, а в пьесе «Мурлин Мурло» — Инна.

Тексты детского типа культуры

Следует отметить, что большая часть отсылок к текстам данного типа культуры принадлежит пьесе «Мы едем, едем, едем» (18 из 21), что обусловлено представленным в данном произведении особым типом героя-романтика, поэтизирующего свое детство. Как пишет Н. Л. Лейдерман, типичный персонаж Н. В. Коляды — человек, выросший в советском государстве, человек, у которого было ««счастливое советское детство» — с пионерскими песнями, первомайскими демонстрациями, с флагами» [Лейдерман, с. 131]. Представление о детстве как о прекрасном, беззаботном времени в сознании героев неразрывно связано с советской эпохой. Для персонажей, не принявших ценности материально ориентированной культуры 90-х, какими являются Нина и Миша из

пьесы «Мы едем, едем, едем», «счастливое советское детство» стало символом безвозвратно ушедшего «золотого века».

Само заглавие пьесы «Мы едем, едем, едем...» является отсылкой к известной детской песенке. В этом произведении также представлены считалки («Кто вперед — тому красный самолет, кто второй — тому конь боевой, кто третий — в позолоченной карете...»), стишки («Мишка косолапый по лесу идет...»), детские приговорки («Сегодня воскресенье, девочкам печенье, а мальчишкам-дуракам толстой палкой по бокам»), песенки («В лесу родилась елочка, в лесу она росла! Зимой и летом стройная, зеленая была!»), названия мультфильмов («Бобик в гостях у Барбоса»).

В пьесе «Мы едем, едем, едем» героям-романтикам противостоит Зина, бойкая «челночница», чье стремление оторваться от советского прошлого проявляется в том числе и через отсутствие в ее речи отсылок к текстам детской субкультуры. Интересно, что ирония Зины, атакующая всю советскую идеологическую культуру, никогда не касается того, что связано с детством героини. Воспоминания о детстве, которое недоступно ни для какой идеологии и политики, — единственное, что способно по-настоящему затронуть душу Зины, надежно скрытую под маской кича. Именно затаенная детскость героини, интуитивно угаданная романтиком Мишей, становится основой сближения персонажей. И хотя песенка «Мы едем, едем, едем» исполнялась неоднократно на протяжении всей пьесы, только в финале примирившиеся и наконец-то разглядевшие друг друга герои поют ее вместе.

Отметим, что в остальных двух пьесах обращения к текстам детской субкультуры единичны и не связаны с поэтизацией этих текстов: *Солнечный круг! Немцы вокруг! Гитлер пошел на разведку!..* («Мурлин Мурло»), *Курочка Ряба* («Кармен жива»).

Тексты религиозного типа культуры

Собственно носители религиозной культуры в рассматриваемых пьесах Н. В. Коляды не представлены, а отсылки к библейскому тексту в речи героев, как правило, случайны и носят бытовой характер, что значимо для нас с точки зрения выявления факта несформированности религиозного сознания человека советской и постсоветской эпохи.

Те случаи обращения к библейскому тексту, которые обнаруживаются в речи героев, вероятно, обусловлены хрестоматийным характером прецедентных знаков:

И н н а (*Рыдает*). Конец света настал! Как было в Библии написано, так оно и вышло! Ведь говорили, все говорили: готовьтесь, суки, готовьтесь, а мы, дураки, не верили, не слушали, не верили в Бога, в душу твою мать! («Мурлин Мурло»).

Связь Библии с представлением о конце света является характерной для массового сознания, а значит, отсылка подобного рода не свидетельствует об обязательном знании данного текста. Кроме того, соединение со сниженной лексикой снимает всякую авторитетность с религиозного источника, делает

обращение к нему элементом речевой игры. Учитывая характер введения библейского текста и общий культурный уровень Инны, можно предположить, что героиня в действительности текст не читала.

Единственная цитата из четырех, представленных на текстовом пространстве исследуемых пьес, которая является сознательной отсылкой к религиозному источнику и не связана с игровым переосмыслением последнего, принадлежит речи «интеллигента» Алексея:

Алексей. Да, любовь! Обязательно любовь! *А теперь пребывают сии три: Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них больше!* Так сказано в Библии, вы, конечно же, помните?..

Следует отметить, что, несмотря на ее распространенность, данная цитата остается неузнанной остальными героями, что подчеркивает не только их нерелигиозность, но и низкий культурный уровень.

Продемонстрируем, каким образом созданная классификация прецедентных текстов позволяет выявить специфику их функционирования в рассматриваемых пьесах.

За каждым из выделенных типов культуры, как было уже отмечено, стоят определенные формы сознания и соответствующие им ценности и идеалы. Анализируя характер обращения к прецедентным текстам каждого из типов, обратимся к выявлению особенностей картины мира русского человека конца XX — начала XXI в., образ которого представлен в произведениях Н. В. Коляды.

Период 1980—1990-х гг. в русском ментальном пространстве отмечен серьезнейшим идеологическим кризисом, обусловленным разрушением советской ценностной системы. Это время ломки многих общественных норм и устоев, формирование которых происходило в течение семидесяти лет [подробнее см.: Лейдерман]. В это время особенно заметна такая тенденция в культуре, как резкое отрицание, направленное в первую очередь на советскую тоталитарную культуру. В пьесах Н. В. Коляды «Мурлин Мурло» (1989) и «Мы едем, едем, едем...» (1995), написанных в данную эпоху, такое отрицание проявляется в игровом использовании некоторыми героями текстов, маркированных как «советские»:

И н н а. ...Извиняюсь, вырвалось. Извините, товарищи. Думала: *в кругу подруг на стройке коммунизма...* («Мурлин Мурло»).

З и н а. ...Он же алкота, видно сразу по цвету лица, прям с плаката: «Ты еще не *опохмелился?!!!!*». Ноги иксом и рожа как у *Розы Люксембург?!!!!* («Мы едем, едем, едем...»).

Нередко негативное отношение распространяется и на всю традиционную культуру. Подобное отрицание любых культурных ценностей прошлого — крайняя форма протеста против официальной идеологии. Так, ирония распространяется и на тексты русской классической литературы:

З и н а. ...*Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к себе! Среди шумного бала с вешцами ты встретила меня!* («Мы едем, едем, едем...»).

З и н а. Я?! Что ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня?! Трудно высказать и не высказать всё, что на сердце у меня, понимаешь?!... («Мы едем, едем, едем...»).

Обыгрыванию подвергаются и некоторые традиционные фольклорные тексты:

З и н а. ...Вижу: он в свитре старой вязаной, драной, ты в халатике замызганном, подаешь ему котлетку из вонючего фарша на стол и концерву из кильки!.. Ну, а что, ты считаешь — *с милым рай и в шалаше!*

Показательно, что случаи иронического переосмысления такого рода текстов в пьесах Н. В. Коляды единичны, что во многом объясняется гибкостью народной культуры.

Процесс отторжения «старой» культуры является в период 1980—1990-х гг. ведущим, однако одновременно с ним происходит и движение инерционного характера. Значение советской тоталитарной культуры нельзя недооценивать даже в период ее «кризиса». Так, некоторые герои пьес 80—90-х гг., несмотря на изменение культурной ситуации, остаются верными прежним («советским») ценностям:

М и ш а. Мне — не надо [речь идет о даче взятки]. Нужно — государству. *Свобода, равенство, братство...* А вы, товарищ... («Мы едем, едем, едем...»)

Для героев-«традиционалистов» разрушение прежних ценностей становится настоящей трагедией. Потеря опоры в настоящем во многом стала причиной поэтизации прошлого. Отсюда частое обращение к текстам детского фольклора, мультфильмам и песенкам. Так, Миша и Нина, герои пьесы «Мы едем, едем, едем...», словно бы прячутся от «новой» эпохи за привычным миром веселых песенок, считалок, стишков.

Обе тенденции восприятия советской культуры — ее отторжение и поэтизация — находятся в отношениях конфликтности. Однако в любом случае советский или околосоветский текст маркируется как принадлежащий уходящей культуре.

Более поздняя пьеса «Кармен жива» является отражением н о в о г о к у л ь т у р н о г о п е р и о д а, который характеризуется стабилизацией ментального пространства, укоренением в российском обществе новых (постсоветских) ценностей. Так, в рассматриваемом произведении отсутствует особая маркированность текстов советской культуры, они перестают осознаваться как «советские» и приобретают статус устойчивых оборотов:

Э л ь в и р а. *Отряд не заметил потери бойца*, Раечка. Понимаешь? Пожалуйста, сделай, чтоб тебя не стало...

Знаковым для новой эпохи является бесконфликтное схождение в пространстве одного произведения текстов, закодированных разными культурными кодами. Герои не отстаивают ценности какой-либо из культур, но используют тексты различных культур в качестве вспомогательного материала:

*Эльвира. ...Зал затих, я вышел на подмостки! Прислонясь к дверному косяку!
Я один, всё тонет в фарисействе! Жизнь прожить — не поле перейти! Ну, или что-то в этом духе!*

В данном случае неточность цитаты (приведены только начальные и заключительные строки стихотворения Б. Л. Пастернака «Гамлет») отражает небрежность обращения с первоисточником, а фраза «Ну, или что-то в этом духе» может быть использована для характеристики использования прецедентных текстов различного типа в рассматриваемый период. Конкретный текст в современную эпоху существует среди множества подобных и теряет самоценность, тексты различных культур в конечном итоге образуют единое текстовое поле.

В заключение следует отметить, что в основе созданной классификации прецедентных текстов лежит критерий функциональной значимости выделяемых типов прецедентных текстов пьес Н. В. Коляды. Данная классификация является динамической и дает возможность на ее основании выявить особенности функционирования прецедентных текстов в произведениях Н. В. Коляды как единиц культуры. В частности, одна из важнейших функций прецедентных текстов в рассматриваемых пьесах Н. В. Коляды — осуществление связи произведений с определенной историко-культурной эпохой. Так, характер обращения с прецедентными текстами в пьесах Н. В. Коляды рубежа 80–90-х гг. «Мы едем, едем, едем...» и «Мурлин Мурло» отражает особенности момента ухода «старой» (советской) культуры и зарождения культуры «новой» (постсоветской). В то же время использование прецедентных текстов в современной пьесе «Кармен жива» вписывается в парадигму нового культурного периода, который может быть определен как «постмодернизм».

Илюшкина М. Ю. Своеобразие использования прецедентных феноменов в печатной туристической рекламе // Лингвистика XXI века : материалы федерал. науч. конф., Екатеринбург, Урал. гос. пед. ун-т, сентябрь 2004 г. Екатеринбург, 2004. С. 62–63.

Иноземцева Н. В. Прецедентность и интертекстуальность как маркеры англоязычного научно-методического дискурса (на материале англоязычных статей по методической проблематике) // Изв. Самар. науч. центра Рос. акад. наук, 2010. Т. 12, № 3. С. 167–169.

Козицкая Е. А. Смыслообразующая функция цитаты в поэтическом тексте. Тверь, 1999. 140 с.

Лейдерман Н. Л. Драматургия Николая Коляды : критический очерк. Каменск-Уральский, 1997. 160 с.

Супрун А. Е. Исследования по лингвистике текста : сб. ст. М., 2001. 308 с.

Статья поступила в редакцию 13.12.2010 г.

УДК 821.111(73) + 7.035.93

Н. В. Морженкова

АВАНГАРДИСТСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ГЕРТРУДЫ СТАЙН

Анализируется авторская концепция героя, во многом обусловившая литературный эксперимент американской модернистки Г. Стайн. Исследуются такие вопросы, как депсихологизация, деиндивидуализация образов человека в прозе писательницы, генезис ее «простых» героинь. Авторская концепция героя рассматривается на фоне модернистской рефлексии, направленной на поиск новых способов мысли о человеке.

Ключевые слова: Гертруда Стайн; авторская концепция героя; депсихологизация; деиндивидуализация; модернистский вариант маленького человека.

Для начального этапа рецепции творчества американской модернистки Гертруды Стайн (Gertrude Stein, 1874–1946) характерна резкая критика «античеловечности» и «антилитературности» ее авангардистской эстетики. Общим местом стайноведения стала тенденция рассматривать экспериментальный язык писательницы как фактически полностью упраздняющий категории автора и героя. В этой перспективе стиль автора представляется своеобразным антиподом гуманности, продуктом «бесчеловечной» деятельности записывающего механизма, вытеснившего творящего субъекта [см.: Reid, p. 168]. Однако следует иметь в виду, что стайновская депсихологизация, «дегуманизация» литературы заключается в элиминации человеческой составляющей именно в смысле словоупотребления XIX в. Обычный человек с его «безыскусным» словом (столь любимый реалистами) становится предметом ее активного творческого осмысления, принципиально отличного от реалистической сфокусированности на иллюзии достоверности и психологизма реалистического романа. Здесь следует отметить, что само понятие психологизма в литературе XX в. претерпевает значительные изменения. Если в XIX в. психологизм мыслился прежде всего в его соотнесенности с человеческим характером и душой, то в XX в. психологизм начинает осознаваться в его связи с мыслительными процессами, сознанием и подсознанием. Сама идея соотносить художественное произведение с психологической составляющей неоднократно открыто критикуется Г. Стайн. Так, иронично говоря о психологизации Шекспиру е, она замечает, что гениальность «Гамлета» заключается вовсе не в том, как Гамлет реагирует на появление тени своего отца. По мысли писательницы, Шекспир мог бы придумать с десяток других вариантов этой сцены, а читатель восторгался бы глубиной ее психологизма ничуть не меньше. Но, как подчеркивает Г. Стайн, «никакой психологии в Шекспире нет» [Stein, 1971, p. 149].

В контексте искусства и литературы XX в. стайновская установка на депсихологизацию имеет много совпадений. Теоретическое самосознание модернизма в начале XX в. во многом складывается как оппозиционное гуманизму XIX в. с его признанием человека высшей ценностью в мире. Попытки Г. Стайн избавиться от традиционно понимаемой «человечности» искусства и очистить

литературу от собственного «я» перекликается с декларациями многих модернистских авторов. Так, в «Техническом манифесте футуризма» (1912) Ф. Маринетти призывает преодолеть субъективную ограниченность искусства, изгнав из него психологию [см.: Маринетти, С. 158–162]. Здесь уместно вспомнить и заявление Т. С. Элиота о необходимости элиминации личностного компонента, ибо суть поэзии заключается не в пестовании субъективности, а, напротив, в упразднении личностных переживаний [Eliot, p. 90]. У. Б. Йейтс метафорически определял личностное как «быстро разлагающееся» (*all that is personal soon rots*). Предотвратить это гниение может лишь «древняя соль» традиции (*it must be packed in ice or salt. ...Ancient salt is the best packing*) [Yeats, p. 886]. Об утрате искусством «человеческой» составляющей писал в ключевой для культуры XX в. работе «Дегуманизация искусства» (1925) Х. Ортега-и-Гассет [см.: Ортега-и-Гассет]. Однако в этом контексте речь следует вести не столько об антигуманизме модернизма и о «бесчеловечности» культуры современности в целом, сколько о возникновении нового антропологического видения. Смерть субъекта не только не повлекла за собой упразднение человека как сосредоточия художественной рефлексии, но и спровоцировала активный поиск новых антропологических практик, новых художественных способов мысли о человеке.

Отвергая комплекс представлений о человеке, возникший в рамках реалистической художественной парадигмы, Г. Стайн делает человеческое мышление, идентичность личности и «первичную реальность жизни» ключевыми темами своего творчества. Значимо, что в литературу Г. Стайн приходит из психологии, которую она изучает под руководством Уильяма Джеймса в колледже Рэдклифф. Первыми опубликованными трудами будущей писательницы были научные статьи, содержащие отчет об экспериментальном исследовании моторного автоматизма [см.: Solomons, p. 492–512; Stein, p. 295–306]. Этот интерес к первичным изначальным рефлекторным механизмам работы человеческого сознания, к элементарным аспектам жизни, она из своих научных изысканий перенесла в область литературы. В этом смысле психологические исследования писательницы явились отправной точкой ее художественных поисков, задав им определенный антропологический вектор.

Стайн превращает автоматизм «простого» бытия в ключевое явление своей экспериментальной поэтики, наметившейся уже в ранней трилогии «Три жизни» («Three Lives», 1905) [см.: Stein, 2000]. Показателен в этом смысле авторский выбор героинь трилогии (служанка, негрityнка и бедная родственница), включающей центральную повесть «Меланкта» («Melanctha») и две обрамляющих ее повести — «Добрая Анна» («The Good Anna») и «Тихая Лена» («The Gentle Lena»). Начало «Доброй Анны» во многом настраивает читателя на то, что сейчас перед ним развернется реалистическое повествование о жизни «простой» женщины. Сам тип героя неизбежно отсылает к определенному типу художественного сознания, в рамках которого он актуализируется. Значимо, что, как неоднократно отмечала сама писательница, объектом ее творческих размышлений всегда становилось самое простое и обыденное в жизни человека. Кстати, научный интерес Г. Стайн в области психологии никогда не распро-

странялся на какие-то необычные феномены. Не случайно в вышеупомянутой статье по психологии она подчеркивает, что целью исследования было изучение явления обычного автоматизма у обычных индивидов.

Текст повестей разворачивается как напряженное взаимодействие, в рамках которого «простой» рассказ о незамысловатой жизни «простых» героинь и экспериментальный стиль противостоят друг другу, в результате чего происходит определенная дереализация героев. Основная черта новаторского языка Г. Стайн (его обескураживающая простота, кажущаяся семантическая «облегченность», возникающая за счет многократных повторов одних и тех же «обыденных» слов) отчетливо проявляется уже в этом раннем произведении. Стайновская трилогия строится именно за счет активного перенесения элементов первичных бытовых жанров в нарочито «сделанный» литературный текст. В повести «Три жизни» обнаруживается два несовпадающих аксиологических фокуса. Если первый из них связан с героиньным планом, то второй — с самим моментом экспериментального текстопорождения. Возникает эффект некой «разъятой» реальности, которая «поверяется» экспериментом. Сам образ трех женщин, встречающийся во многих мифологиях, нагружен множеством интертекстуальных смыслов. Очевидно, что три стайновских героини соприкасаются с мифологическими женскими триадами (с тремя харитами-грациями, тремя Мойрами, тремя «старшими» музами, тремя эриниями, тремя женами-мироносицами). Через свое триединство в рамках одного произведения героини косвенно представляются как авторские варианты, восходящие к некоему исходному инварианту. Таким образом, и на уровне героев Г. Стайн акцентирует идею повторяемости через использование известной модели женской триады. Кстати, в искусстве и литературе XX в. этот архетип оказался весьма востребованным (пьеса А. Чехова «Три сестры» (1900); цикл новелл Р. Музиля «Три женщины» («Drei Frauen», 1924); стихотворение С. Плат «Три женщины: монолог для трех голосов» («Three Women: A Monologue for Three Voices», 1968), пьеса Э. Олби «Три высокие женщины» («Three Tall Women», 1994); картины П. Пикассо «Три женщины у источника» («Trois femmes à la fontaine», 1921), «Trois femmes» (1908); фильм Э. Любича «Три женщины» («Three Women», 1924). Интересно, что в трилогии Г. Стайн поэтика, ориентированная на авторскую игру с «простым» словом, и подчеркнутая повседневность сюжетики, с одной стороны, пародийно снижают мифологическую «серьезность», но, с другой, через эти мифологические параллели сами же «возвышаются» и универсализируются.

Отправной точкой для создания писательницей своей собственной трилогии стал перевод «Простой души» («Un Cœur Simple», 1875) Г. Флобера, за который Г. Стайн принялась в качестве упражнения по французскому языку. Идея объединить в одно произведение три истории перекликается с флюберовским замыслом включить рассказы «Простая душа», «Легенда о св. Юлиане Странноприимце», «Иродиада» в сборник под общим названием «Три повести» («Trois contes», 1877) [см.: Flaubert]. Литературным прототипом «простых» стайновских героинь послужила флюберовская служанка Обэнов Фелиситэ. Очевидно, что именно практика перевода Г. Флобера во многом определила

основной вектор художественных поисков писательницы. Так, например, в рассказе «Добрая Анна», открывающем «Три жизни», обнаруживается очень много параллельных мест с флоберовской «Простой душой». Горемычная судьба служанки Фелиситэ, ее незамысловатая жизнь, прошедшая среди чужих людей, оказывается прототипической судьбе стайновской героини. В рассказе встречаются легко узнаваемые вариации флоберовских цитат. Обращает на себя внимание интертекстуальная переключка названий городков, где живут героини: *Bridgepoint* (англ. *bridge* — мост), *Pont-l'Éveque* (фр. *pont* — мост). Образ моста, связанный с семантикой перехода, промежуточного состояния, подчеркивает неустроенность героинь, их жизненную неукорененность. У них нет ни семьи, ни дома, связи с родственниками практически утрачены. Проявления их жизненного упорства и активности никогда не связаны с мыслями о себе. Так, и Анна, и Фелиситэ неистово торгуются на рынке, искренне радея о сбережениях своих хозяек. Они никогда не тратят свои деньги на себя, отдавая все другим. Свою нерастраченную любовь героини отдают домашним животным.

Как замечает М. М. Бахтин, у Г. Флобера, сына ветеринара, обращаясь к проблеме «простого сердца», есть правильное углубленное понимание «элементарного бытия» с его невинностью, простотой и святостью как иного пути мышления о мире, для которого «все близко и все родное» [Бахтин, с. 132]. Очевидно, что, как и Г. Флобер, Г. Стайн хорошо чувствует, что животные, дети, простые люди в их «святой» незамысловатости раскрывают возможность совершенно иной жизни. Не случайно именно перевод «Простого сердца» с его особым пониманием «первофеномена жизни» побудил Г. Стайн приняться за первое серьезное произведение — трилогию «Три жизни», в основе которой лежит попытка показать, как работает иной, архаичный, тип мышления, идущий «по совершенно иным и вовсе не параллельным с нашим путям» [Там же, с. 134].

Мотив особого отношения к животным как ключевой мотив «Доброй Анны» и «Простой души» в этом контексте заслуживает особого внимания. Кстати, этот мотив имеет биографическую составляющую не только в случае с Г. Флобером. Г. Стайн всегда держала собак, называя их одним и тем же именем — *Basket* («корзина»). В странном на первый взгляд однообразии нельзя не заметить стайновское отношение к зверю, как к неиндивидуализированному, невыделенному из мира существу. В самой собачьей кличке *Basket* угадывается французское *bête*, латинское *bestia* («зверь») и английское *ask* («спрашивать, просить»). Кличка стайновских собак актуализирует это элементарное существование зверя, просящего «ласки и милования». При сравнении образов животных в «Простом сердце» и «Доброй Анне» обнаруживается интересная инверсия образов. Если Фелиситэ обожает попугая, который в ее сознании ассоциируется с путешествующим по экзотическим странам племянником, то Анна, получившая попугая в подарок от маленькой Джейн, так и не смогла его полюбить. Особое место в сердце Анны занимают собаки, к которым она относится как к детям (не случайно одну из собак зовут *Baby*), в то время как Фелиситэ собаку дяди г-жи Обен считает «мерзким пуделем», который всегда пачкает лапами мебель. Очевидна неслучайность этих предпочтений.

Молчаливая Фелиситэ привязалась к говорящему попугаю. В этом «разговоре» с животным она обретает то, в чем ей было всю жизнь отказано. Вся накопившаяся боль утрат, нерастраченная любовь и нежность артикулируются в этом птичьем «диалоге», состоящем из автоматически повторяющихся фраз. Драматичность существования этой простой души дается через контраст между трогательностью переживаний и бедностью их словесного оформления. Основным образом флоберовского рассказа становится образ примитивной жизни, которая не может сама себя выразить в слове, у нее нет ни адресата, ни языка. В отличие от Фелиситэ, стайновская Анна очень говорлива. Причем очевидна ее настроенность на авторитарный монологизм, практиковать который ей намного легче с молчаливыми собаками, чем с говорящим попугаем. Именно в речевой зоне ее клишированного просторечия разворачивается текст рассказа. У Г. Флобера Фэлиситэ — словно деревянная: она все делает автоматически. Существенно, что Г. Стайн пытается создать текст, аутентичный этому ритму простого («автоматического») бытия. Хотя очевидно, что и в «Простой душе» подобные попытки предпринимаются Г. Флобером. Так, обращают на себя внимание перечисления длинных цепочек однородных членов, задающих монотонную тональность. Конечно же, о тотальной мимикрии текста Г. Флобера, его единственности наивному сознанию героини говорить нельзя.

Кроме «Простого сердца», Г. Стайн выделяет в качестве импульса ее художественных поисков сезанновский портрет жены художника («Гортензия Фуке в полосатой юбке», 1877—1878), на который, по ее собственному свидетельству, она постоянно смотрела в процессе работы над трилогией «Три жизни». Сложная «тяжелая» живописная фактура портретов Сезанна, стремившегося к выявлению в своих моделях каких-то простых архетипических черт, не порождает иллюзии совпадения модели и ее портретного изображения. Тяготение к схематизации, стремление уйти от изменчивого, индивидуального и вскрыть универсальное в человеческом лице типичны для сезанновской манеры портретирования. Сложное взаимоотношение тонов и плоскостей превращают человеческое лицо в самоценную живописную поверхность. Традиционно особое ощущение отстраненности художника от своей модели, возникающее при взгляде на портрет «Гортензии Фуке в полосатой юбке», объясняется натянутыми отношениями между художником и его женой. Гортензия была обычной женщиной, любимшей, по ироничному замечанию художника, только Швейцарию и лимонад [Rewald, p. 125]. Но все же в этой отстраненности не надо видеть биографической канвы. Это скорее результат особого видения, акцентирующего контраст между обычностью модели и необычностью ее живописного образа с его подчеркнутой «сделанностью». Как отмечает Т. Венедиктова, «предмет рассказа в этой новой перспективе перестает быть существен: чем он условнее, ограниченнее, “глупее”, тем незаинтересованнее и, стало быть, свободнее “моя” деятельность по созиданию личного смысла» [Венедиктова, с. 214].

Следует упомянуть, что художник редко изображал на своих женских портретах других женщин. В общей сложности он написал около сорока портретов Гортензии, причем она продолжала ему позировать и после того, как их брак фактически распался. Зачастую критики это пристрастие к одной модели

объясняют чрезмерными требованиями Сезанна к позирующим, которые в течение многих часов должны были сидеть абсолютно неподвижно. Но, очевидно, причины этой преданности лежат и в самой творческой установке художника на изображение каких-то неизменных структур, проступающих в человеческом лице вне всякой зависимости от возраста и обстановки. Одна и та же модель на протяжении многих лет позволяла художнику лучше решить эту задачу. Вероятно, Гортензия отлично отвечала требованию «незаинтересованного» и «ограниченного предмета», над которым производится живописный эксперимент. Для своих портретов Сезанн вообще обычно выбирал модели из простонародья — крестьян, прислугу. Последний портрет художник написал со своего садовника. Для Г. Стайн, как и для Сезанна, «простой» человек становится предметом активного творческого осмысления, принципиально отличного от реалистического видения. Незамысловатость подобного героя дает большие возможности для актуализации художественного приращения. Флобер и Сезанн определили вектор экспериментальных поисков писательницы, попытавшейся в «Трех жизнях» вскрыть универсальное в том, что «лишено всяких внутренних прав на вечность» [Бахтин, с. 134].

Если в «Трех жизнях» повторы не мешают читателю проследить редуцированную, но все же определенную сюжетную линию повествования, то в последовавшем за трилогией масштабном романе «Становление американцев» («The Making of Americans», 1908—1909) неистовое «кружение» текста не дает читателю ни малейшей возможности «распрямить» повествование и соотнести события в линейном порядке [см.: Stein, 1995]. Увеличивая «концентрацию» повторов и усложняя их комбинаторику, Г. Стайн продолжает развивать ключевую для ее творчества мысль о концептуальной роли привычки, в основе которой лежит автоматическое повторение событий и явлений в «ткани» бытия. Монотонности существования представителей среднего класса, являющегося главным коллективным «героем» «Становления американцев», соответствует стилистическая монотонность текста. Но бытовая лексика в сочетании с многочисленными повторами порождает парадоксально острый художественный эффект. В «Становлении американцев» Г. Стайн аккумулирует то общее в человеческом характере, что формируется и выражается в привычке, порождающей определенный типаж. Стайновские герои не становящиеся, а статичные и неизменные. В результате отказа от традиционного психологизма и упразднения индивидуальной составляющей героя, он перестает восприниматься как личность и превращается в некий «чистый» инвариант, архетип. Здесь нет ни малейшей иллюзии наличия художественного мира как живой реальности. Напротив, акцентируется нарочитая искусственность, сделанность повествования. Герои подчеркнута неограниченны рамками частной единичной жизни. Их бытие изображено в надличностном крупном масштабе. Это нарочитое неравенство «простого» героя самому себе, которое он обретает в рамках «сложного» авангардистского текста, неожиданно новое звучание его «обыденного» слова становится ключевым моментом поэтики автора.

- Бахтин М. М.* [О Флобере] // Бахтин М. М. Собр. соч. : в 7 т. Т. 5. М., 1996. С. 130–137.
- Венедиктова Т.* Секрет срединного мира: культурная функция реализма XIX в. // Зарубеж. лит. второго тысячелетия, 1000–2000. М., 2001. С. 186–220.
- Маринетти Ф. Т.* Первый манифест футуризма // Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской культуры XX века / сост., предисл., общ. ред. Л. Г. Андреева. М., 1986.
- Ортега-и-Гассет Х.* Дегуманизация искусства // Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С. 237–242.
- Flaubert G.* Un Cœur Simple // Trois Contes. P., 1936.
- Eliot T. S.* Tradition and the Individual Talent // A Modernist Reader: Modernism in England 1910–1930. L., 1986. P. 84–91.
- Reid B. L.* Art by Subtraction: a Dissenting Opinion of Gertrude Stein. —Norman, Okla, 1958.
- Rewald J.* Cezanne : a Biography. N. Y., 1986.
- Solomons L. M., Stein G.* Normal motor automatism // Psychological Rev., 1896, N. 3.
- Stein G.* Cultivated Motor Automatism: A Study of Character in Its Relation to Attention // Psychological Rev., 1898, N. 5.
- Stein G.* The Making of Americans. Illinois, 1995.
- Stein G.* Three Lives. Boston, 2000.
- Stein G.* What Are Master-Pieces and Why Are So Few of Them // Stein G. Look at Me Now and Here I am. Writings and Lectures, 1909–1945. Harmondsworth, 1971. P. 148–156.
- Yeats W. B.* A General Introduction for My Work // The Norton Anthology of Modern and Contemporary Poetry. Vol. 1. / ed. J. Ramazani. N. Y., 2003. P. 883–889.

Статья поступила в редакцию 18.10.2010 г.

ИСТОРИЯ

УДК 902(571.1) + 903.024 + 903.052 + 7.031.1

С. Ф. Кокшаров

СЮЖЕТНЫЙ РИСУНОК НА КЕРАМИКЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБИ

Исследуется сюжетный рисунок на керамике барсовского типа, найденной в урочище Барсова гора под г. Сургутом. В ходе анализа очерчены аналогии персонажам, запечатленным на древнем сосуде, намечены основные черты и тенденции в изображении человека в художественном творчестве таежного населения Западной Сибири в эпоху раннего металла — железного века.

Ключевые слова: антропоморфный образ; зооморфный образ; личина; уральские писаницы; металлопластика; керамика; стилизация.

В 1985 г. автор статьи обследовал археологические памятники, расположенные на правом коренном берегу протоки Утоплой, являющейся одним из рукавов р. Оби. Это место хорошо известно археологам под названием Барсовой горы. Оно расположено западнее поселка Белый Яр в Сургутском районе ХМАО-Югры Тюменской области. В настоящее время значительная часть возвышенности застроена домами, хозяйственными объектами и складами, при возведении которых были уничтожены сотни археологических объектов [см.: Чемякин, 2010, с. 342–343]. В восточной части горы, занятой трубной базой, расположен один из разрушающихся археологических памятников — поселение Барсова гора I/53 [см.: Кокшаров, 2004, с. 50].

Памятник удален от кромки берега примерно на 300–400 м. На сохранившейся части поселения видны остатки четырех наземных жилищ в виде приподнятых площадок округлой формы диаметром 5–10 м, окруженных ямами. Судя по перекрытию одного сооружения другим, а также облику подъемного материала, включающего керамику барсовского и кулайского типов, памятник относится к числу двуслойных.

Среди собранных находок особое внимание привлекает неполный развал сосуда со стилизованными антропо- и зооморфными изображениями (рис. 1). Судя по графической реконструкции, это слабопрофилированный горшок, диаметр по венчику которого достигал 42,7 см, а высота превышала 24 см. Толщина стенок составляла 6–7 мм. При лепке в формовочную массу добавлялся шамот. Несмотря на крупный размер примесей, внешние стенки хорошо заглажены и залощены. Характер добавок в глиняное тесто, обработка поверхностей сосуда и орнамент, выполненный фигурным штампом в виде волны, позволяют уверенно отнести горшок к посуде барсовского типа, которая была широко распространена в таежном Обь-Иртыше в постсейминский период бронзового века [см.: Глушков, Захожая, рис. 16, 1–2, 4; 20; 21, 1, 4; Кокшаров, 2006, с. 53–54, рис. 4, 34, 37, 39; Чемякин, 2008, с. 50, рис. 35–37].

Рисунки занимают небольшой фриз на плечике сосуда и включают два хорошо различимых образа — личину и зооморфное существо. Эта зона отделена от шейки двойным пояском ямок, расположенных в шахматном порядке, между которыми помещен налипной валик в виде волны. Шейка и тулово сосуда украшены отпечатками штампа в виде змейки; они собраны в пояса, образующие «елочку». На тулове монотонный декор разрежен зигзагами и поясками ямок. К сожалению, нижняя часть сосуда и дно не сохранились. Изображения, размещенные во фризе, характеризуются следующими признаками.

Личина выполнена в контурной манере отпечатками волнистого штампа. Нижняя часть образа передана двумя длинными оттисками инструмента, сходящимися под углом. Верхняя часть рисунка как бы скрывается под налипным валиком и ямками, она лишь намечена двумя короткими отрезками. Рот и глаза выполнены короткими вдавлениями того же фигурного штампа. Размер личины 4 × 3 мм. Исходя из лаконичности, запечатленный образ можно отнести к числу антропоморфных существ лишь с определенной долей вероятности.

С обеих сторон от личины помещены геометрические фигуры — зигзаги с раздвоенными концами. Они сохранились фрагментарно, и трудно сказать, являются ли они стилизованными изображениями каких-то существ. Сходные знаки — раздвоенные на концах зигзаги, расположенные, однако, в вертикальном положении, — окаймляют одно их орнитоморфных изображений на кулайской керамике [см.: Мец, с. 49, рис. 1].

Фигура зверя представляет собой контурное профильное изображение, выполненное тем же штампом, что и антропоморфный персонаж, но уступает последнему в размере (33 Ч 23 мм). Оно имеет короткое прямоугольное тело, завершающееся коротким хвостом, и массивную, слегка опущенную голову, обращенную в сторону личины. Пропорции тела и направленное вперед ухо (?) характерны чуждому для Сургутского Приобья животному — кабану. Если предположить, что мастер хотел передать на голове животного не ухо, а рога, то допустимо отнесение существа к числу копытных. В таком случае здесь представлено какое-то другое, стилизованное до неузнаваемости млекопитающее (может быть, олень или лось). Говоря о значительной стилизации образов, запечатленных на керамике древнего населения Западной Сибири, следует заметить,

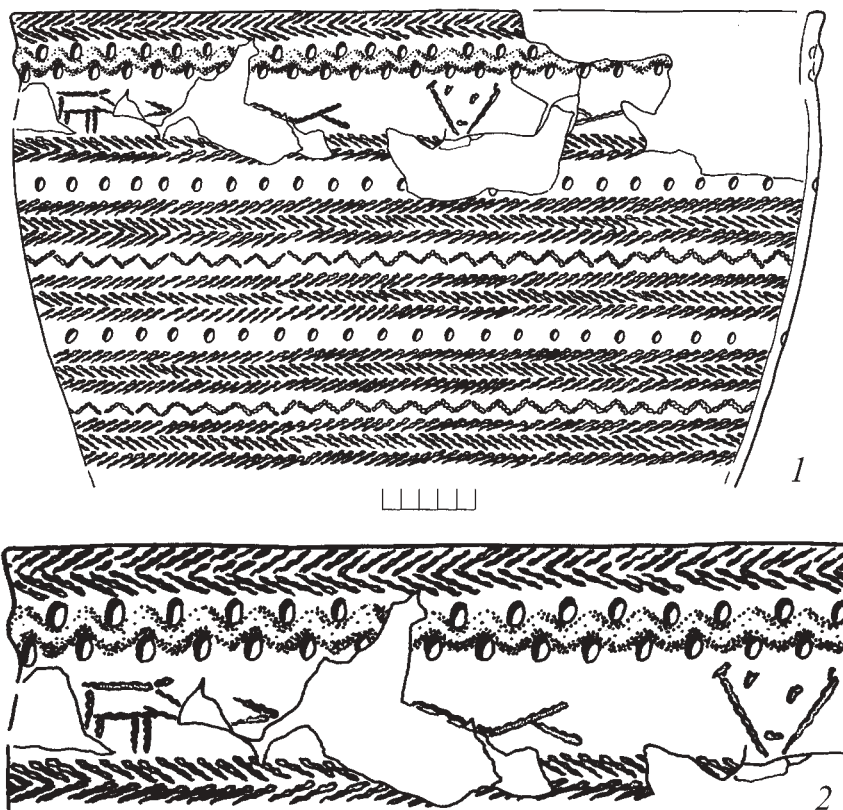


Рис. 1. Горшок с рисунками с поселения Барсова гора I/53 (1) и увеличенный фриз с изображениями (2)

что это достаточно характерная черта местного изобразительного творчества. Очень часто подобные рисунки обескураживают исследователей, затрудняющихся в их атрибуции. Достаточно вспомнить интерпретацию художественной графики на керамике бронзового века поселения Малгет, опубликованной Ю. Ф. Кирюшиным. Изображенные там животные отнесены специалистами к виду винторогой или саблерогой антилопы, обитающей в Передней Азии и Африке [см.: Кирюшин, Малолетко, с. 168, рис. 43]. В качестве другого примера можно привести изображения животных на энеолитическом горшке, найденном на поселении Амня IА. По мнению зоологов, они очень напоминают длинношерстных козлов [см.: Стефанов, Морозов, с. 83]. В полной мере сказанное относится и к значительной части образов, воспроизведенных на наскальных рисунках Урала, которые переданы с предельным схематизмом [см.: Чернецов, рис. 42–44; Широков, Чаиркин, рис. 3, 5–7; и др.].

Вполне возможно, что в состав композиции входил еще один персонаж. Он передан в виде налепного валика волнистой формы, размещенного в основании шейки сосуда. Характерная конфигурация тела выдает в нем пресмыкающееся,

а точнее, змею. Получается, что валик-змея (?) венчает фриз с антропозооморфным сюжетом. Не исключено, что доминирующая позиция этого персонажа в композиции может свидетельствовать о его большой значимости. Целые группы ползущих змей, выполненных в виде налипных глиняных лент, размещены на внешней стороне сосуда с позднеэнеолитического поселения Волвонча I [Кокшаров, 2010, с. 20, рис. 5, 1] и на керамике среднеазиатских памятников второй половины II тыс. до н. э. [см.: Сарианиди, с. 167–179]. В обоих случаях динамизм пресмыкающихся реализован их расположением на горшках: они устремлены вверх с явным намерением скрыться внутри емкостей.

Несмотря на неполную сохранность сосуда, есть все основания для рассмотрения обнаруженных изображений в рамках вполне законченного сюжетного рисунка, в котором обозначены по меньшей мере два персонажа. Для устранения сомнений относительно случайности помещения изображения личины и зооморфного существа на сосуде был проведен поиск параллелей публикуемым материалам.

Как ни странно, они отсутствуют среди коллекций эпохи раннего металла.

Антропоморфные образы на керамической посуде энеолита и досейминского периода бронзового века с поселений р. Конды и Среднего Урала представлены ростовыми фигурами, которые расположены анфас [см.: Кокшаров, 2010, рис. 1–2; 3, 5, 8–10; Викторова, рис. 22; Глушков, Соболевникова, рис. 10, 1]. Лишь в редких случаях у них проработаны детали лица. Фронтальные ростовые изображения преобладают на керамике самусьской культуры [см.: Глушков, 1987, рис. 1–3; Есин, рис. 36]. На последней известны и отдельные личины, но, исходя из подсчетов, в количественном отношении их значительно меньше [см.: Матющенко, с. 97; Глушков, 1983, рис. 2, 6]. Кстати сказать, аналогичная картина отмечена и на уральских писаницах, датирующихся, правда, широким временным диапазоном [см.: Широков, с. 68–69]. Если принять во внимание образы, запечатленные в металлопластике, то можно сказать, что традиция воспроизведения антропоморфных фигур сохраняется в сейминский (андроновский) период бронзового века. Яркое тому подтверждение — распространение персонажей, определяемых археологами как «человек в круге» и «фигурки без кольцевого обрамления» [см.: Кокшаров, Чемякин, с. 47; Стефанов, с. 114; рис. 1, 1–2; Погодин и др., рис. 1, 1–2; 2, 1; 4, 1–4].

Наиболее полные соответствия изображениям, встреченным на горшке с Барсовой горы, обнаружены на керамике кулайской культуры, которая датируется ранним железным веком. Именно здесь имеются целые серии антропоморфных изображений в виде личин (рис. 2, 1–6). На двух наиболее сохранившихся сосудах прослежены композиции, включающие изображения не только человеческих лиц, но также птиц и животных (см. рис. 2, 7, 10).

Речь идет о горшке с городища Кижирова, расположенного в 40 км от г. Томска [см.: Матющенко, Сыркина, с. 148, рис. 2, 1] и сосуде без точного указания места из фондов Томского областного краеведческого музея [см.: Мец, с. 44–45, рис. 2].

На кижировском горшке в основании шейки и верхней части плечика размещена композиция из чередующихся личин и профильных изображений птиц,



Рис. 2. Граффити на кулайской керамике (1, 4–6, 8 — см.: [Яковлев, Терехин];
2, 9–10 — см.: [Мец]; 3, 7 — см.: [Матюшенко, Сыркина])

обращенных головами влево (см. рис. 2, 7). Несхожесть данного рисунка с публикуемым материалом проявляется не только включением в первый орнитоморфов, но и в степени детализации личин. На кулайском сосуде они имеют длинные прямые носы, упирающиеся вверху в плоскую линию лба, и оттопыренные уши. Если глаза переданы круглыми вдавлениями, то рот обозначен короткой горизонтальной линией. Головы венчают пышные пятилучевые головные уборы, или «прически».

На сосуде железного века из фондов ТОКМ сюжетный рисунок также расположен в зоне под венчиком (см. в нашей статье рис. 2, 10). Размещенные во фризе личины чередуются с изображениями крупных копытных — лосей. Морды животных обращены вправо — так же, как и на горшке с Барсовой горы. По манере исполнения личины близки кижировским, но не тождественны им. Они переданы подтреугольным или усеченно-овальным контуром. Линия лба и нос сходятся под прямым углом в виде буквы Т. Глаза и рот обозначены короткими горизонтальными отрезками. В отличие от кижировских личин, у них не прорисованы уши, а головные уборы («прически») отличаются меньшей пышностью: они намечены двумя парными короткими линиями, восходящими над линией лба по краям.

Ф. И. Мец, написавший о кулайских сосудах с антропо- и зооморфными персонажами, не исключает культового назначения подобных изделий. Он допускает, что такая посуда могла предназначаться для совершения определенных ритуалов, связанных с бронзолитейным производством. Эти выводы подкрепляются также находками керамики, украшенной личинами, на Усть-Киндинском городище, расположенном в Кожевниковском районе Томской области [см.: Яковлев, Терехин, с. 67—73]. На взаимовстречаемость керамики с антропоморфными рисунками и остатков развитого бронзолитейного производства на поселениях самусьской археологической культуры указывает И. Г. Глушков [1983, с. 143]. К сожалению, разведочные материалы с Барсовой горы не позволяют ни подкрепить, ни опровергнуть высказанную гипотезу.

Наличие сюжетных рисунков на керамике бронзового и железного веков, включающих личины и изображения животных, позволяет говорить о преемственности в изобразительном творчестве населения таежного Приобья в конце II—I тыс. до н. э. Публикуемые материалы позволяют четче и более конкретно обозначить местные корни такого явления, как кулайский художественный стиль. С другой стороны, несмотря на единичность, новые находки с Барсовой горы заполняют лакуну между ярчайшими и оригинальными антропоморфными образами, известными на керамике эпохи раннего металла и железного века.

На глиняной посуде отмечается тенденция к переходу от воплощения ростовых фигур, выполненных анфас, к «сокращенному» их варианту — личинам, которые, как свидетельствуют материалы железного века, также воспроизводились с различной степенью детализации. По причине малочисленности имеющегося материала (прежде всего — керамики) было бы неверно говорить, что в изобразительном творчестве той поры начал главенствовать принцип «pars pro toto». В обоих случаях, работая в рамках оформившихся изобразительных

канонов, создатели рисунков научились передавать индивидуальные черты воспроизводимых персонажей, подчеркивая их множественность. Блестящим подтверждением тому являются поздние находки с территории Западной Сибири — бронзовая пластика и многочисленные гравировки эпохи железа и Средневековья. В это время предпочтения в выборе способа воплощения того или иного антропоморфного образа определялись самими мастерами.

Викторова В. Д. Культурные озерные памятники // Культурные памятники горно-лесного Урала. Екатеринбург, 2004.

Глушков И. Г. Бронзолитейный комплекс поселения Крахалевка I // Древние горняки и металлурги Сибири. Барнаул, 1983.

Глушков И. Г. Иконографические особенности некоторых самусьских изображений человека // Антропоморфные изображения. Первобытное искусство. Новосибирск, 1987.

Глушков И. Г., Захожая Т. М. Керамика эпохи поздней бронзы Нижнего Прииртышья. Сургут, 2000.

Глушков И. Г., Соболевникова Т. Н. Керамические комплексы низовий Конды эпохи ранней бронзы: анализ и интерпретация декоративных и технологических стандартов // Источники по археологии Западной Сибири. Сургут, 2005.

Есин Ю. Н. Древнее искусство Сибири: самусьская культура // Тр. Музея археологии и этнографии Сибири. Т. 2. Томск, 2009.

Кирюшин Ю. Ф., Малолетко А. М. Бронзовый век Васюганья. Томск, 1979.

Кокшаров С. Ф. Антропо- и зооморфные изображения бронзового века с Барсовой горы // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Вып. 2. Томск ; Ханты-Мансийск, 2004.

Кокшаров С. Ф. Об истоках антропоморфных образов на керамике самусьской культуры // Урал. ист. вестн. 2010. № 1 (26).

Кокшаров С. Ф. Опыт реконструкции некоторых мифологических представлений кондинского населения эпохи энеолита // Материалы по изобразительной деятельности древнего населения Урала : препринт. Свердловск, 1990.

Кокшаров С. Ф. Север Западной Сибири в эпоху раннего металла // Археологическое наследие Югры. Пленарный доклад II Северного археологического конгресса, 24–30 сентября 2006 г., г. Ханты-Мансийск. Екатеринбург ; Ханты-Мансийск, 2006.

Кокшаров С. Ф., Чемякин Ю. П. Памятник бронзового века в окрестностях д. Сайгатино // Древние погребения Обь-Иртышья. Омск, 1991.

Матющенко В. И. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век). Ч. 2 : Самусьская культура // Из истории Сибири. Вып. 10. Томск, 1973.

Матющенко В. И., Сыркина Л. М. О новых находках эпохи раннего железа в Томско-Чулымском Приобье // Первобытная археология Сибири. Л., 1975.

Мец Ф. И. Новые изображения на кулайской керамике и их отношение к культовому литью // Проблемы художественного литья Сибири и Урала эпохи железа : тез. докл. обл. науч.-прак. конф., Омский пединститут, 23–24 ноября 1990 г. Омск, 1990.

Погодин Л. И., Полеводов А. В., Труфанов А. Я. Бронзовая антропоморфная пластика могильника Боровлянка XVII // Барсова гора: древности таежного Приобья. Екатеринбург ; Сургут, 2008.

Сарианиди В. И. Культурный сосуд из Маргианы // Сов. археология. 1980. № 2.

Стефанов В. И. Забытая находка из Черноозерского могильника // Рос. археология. 2004. № 4.

Стефанов В. И., Морозов В. М. Энеолитический памятник в бассейне р. Казыма // Проблемы финно-угорской археологии Урала и Поволжья. Сыктывкар, 1992.

Чемякин Ю. П. Барсова Гора : очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. Сургут ; Омск, 2008.

Чемякин Ю. П. Барсова гора — прожекты и реалии // III Северный археологический конгресс : тез. докл., 8–13 ноября 2010 г. Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2010.

Чернецов В. Н. Наскальные изображения Урала // САИ. 1971. В4-12(2).

Широков В. Н. Древние образы священных скал // Культурные памятники горно-лесного Урала. Екатеринбург, 2004.

Широков В. Н., Чаиркин С. Е. Шайтанская писаница // Шайтанская и Северская писаницы на Среднем Урале : препринт. Свердловск, 1990.

Яковлев Я. А., Терехин С. А. Новые материалы по антропо- и зооморфной графике на раннежелезной керамике Томско-Нарымского Приобья // Проблемы этнической истории самодийских народов : сб. докл. науч. конф. Омск, 1993.

Статья поступила в редакцию 14.03.2011 г.

УДК 94(510) + 94(5-015)

Р. Т. Ганиев

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ В VI–VIII вв. ПО ОТНОШЕНИЮ К ВОСТОЧНЫМ ТЮРКАМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ*

Изучаются приемы и методы внешней политики китайских династий Чжоу, Суй и Тан по отношению к их главному северному соседу — Восточно-Тюркскому каганату — на протяжении почти двухсот лет. Рассматриваются практика брачных союзов между Китаем и тюрками в контексте внешнеполитических доктрин двух государств, политика «раскола» китайских правителей, преподношения и «подарки» с обеих сторон. Освещаются мероприятия Китая в отношении пленных тюрков и политика «сыновей-заложников».

Ключевые слова: внешняя политика Китая; Восточно-Тюркский каганат; китайские династии Чжоу, Суй, Тан.

В период середины VI — середины VIII в. основным северным соседом китайских династий были Тюркский (545–581), а затем Восточно-Тюркский (581–745) каганаты. Их территория занимала обширную область, которая в южном направлении доходила до Великой китайской стены. Формально она служила границей между двумя государствами, но отнюдь не была неприступной для восточных тюрков, которые постоянно совершали военные набеги и разоряли северные земли Китая. Решение этой проблемы являлось для китайских правителей основной внешнеполитической задачей на протяжении двух веков.

Основным письменным источником по истории восточных тюрков являются китайские хроники. В данной статье используется немецкий перевод китайских

* Работа выполнена по государственному контракту 16.120.11.96-МК в рамках гранта президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК-96.2011.6.

письменных источников известного сиолога Лю Мао-цзя, переведенный автором статьи на русский язык [см.: Liu Mau-Tsai]¹. Работа Лю Мао-цзя является самым полным собранием китайских письменных источников по истории восточных тюрков. Отсутствие перевода на русском языке затрудняет его использование отечественными тюркологами в полном объеме, что, в свою очередь, не позволяет представить целостную картину эволюции общества восточных тюрков во взаимодействии с Китаем на протяжении двух столетий.

Перевод китайских источников и изучение внешних сношений китайских династий Северная Чжоу, Суй и Тан с восточными тюрками показывают, что внешняя политика этих династий почти полностью была ориентирована на восточных тюрков. Позиция тюрков, которые преследовали свои экономические интересы больше, чем военно-политические, т. е. захват территории, не влияла на внутривосточную обстановку в Китае. Однако тюрки представляли собой угрозу существованию самой династии. Императорская армия не имела возможности подчинить тюрков, так как тюрки превосходили их в военном отношении, поэтому политика Китая была сосредоточена на том, чтобы отвлечь восточных тюрков от нападений на китайские области. Подобный метод умиротворения назывался «политикой доброты и слабости» (кит. «жэньжо») [392].

Император Тай-цзун династии Тан так охарактеризовал эту политику: «...Мы имеем две возможности: если мы их не уничтожим силой оружия, нам ничего не останется сделать кроме как предложить взять им в жены китайскую принцессу» [392].

Восточные тюрки, в свою очередь, имели собственную внешнеполитическую доктрину, которую мы находим в словах Тоньюкука, одного из высших сановников тюрков: «Количество Туцзюэ меньше, чем сотая доля империи Тан. Несмотря на это, мы можем им противостоять, так как мы не имеем постоянного местожительства; ищем воду и траву, ходим на охоту и упражняемся в военном искусстве; когда мы сильные, тогда мы идем вперед и захватываем все; когда мы слабые, то мы бежим и прячемся» [224].

Рассмотрим основные приемы международной дипломатии, которые пользовались наибольшей популярностью как среди китайцев, так и у восточных тюрков, которые часто копировали методы своих соседей.

Одним из действенных инструментов китайской внешней политики были брачные союзы. Свадьбы китайских принцесс с иноземцами уже во время императора Гао-цзу (206—195 до н. э.) династии Хань были одним из излюбленных дипломатических ходов. В свое время император Гао-цзу династии Хань отдал в жены Шаньюю Сюнну китайскую принцессу, чтобы Сюнну смягчились [392]. Однажды советник императора Лю Цзин сказал: «...это надежда на будущее, что когда-нибудь сын, который родится у принцессы, сядет на трон варваров и будет дружить с Китаем» [165]. Таким образом, они рассчитывали на продолжительную дружбу на северной границе. Но история показала, что

¹ Далее ссылки на работу Лю Мао-цзя даются с указанием только страниц. Перевод с немецкого автора статьи.

брачная политика, которую они использовали по отношению к тюркам, не всегда давала желаемый результат.

По сведениям китайских источников, первыми с предложением о свадьбе пришли на двор китайского императора восточные тюрки. Тумынь-каган в 551 г. просил Китай о свадьбе, и династия Западная Вэй дала ему в жены принцессу Чан-ло [7].

Чуть позже император Северной Чжоу и император Северной Ци соревновались за руку дочери Мухань-кагана. При этом они использовали все средства дипломатии, интриги и подкупы. Когда в конце концов победил император Гао-цзу (=У-ди) династии Северная Чжоу, в 567 г. он захотел вернуть обратно принцессу тюрков, т. е. императрицу Ашина [25].

О том, каким образом воспринимал Китай силу тюрков в то время, когда он был ослаблен, и как он должен с ними обходиться, свидетельствуют успокаивающие слова юной принцессы императору Гао-цзу династии Северная Чжоу, так как император не испытывал симпатии к своей жене, императрице Ашина, из-за ее внешности. «На границе неспокойно, и тюрки еще сильны, поэтому я прошу тебя, любимый дядя, подавить свою досаду и обходиться с почтением со своей женой. Народ Китая ждет! Если ты получишь поддержку тюрков, тогда повсюду прекратятся несчастья!» [393].

По предложению кагана Та-бо император Цзин-ди Северная Чжоу в 579 г. выдал за него принцессу Цянь-цзинь, но, несмотря на брачный договор, набеги на пограничные территории со стороны тюрков продолжались [14].

В период своего усиления в конце VI в. династия Суй поддерживала прокитайски настроенного тюркского кагана Жаньганя. Чтобы посеять раздор между тюрками, император Гао-цзу Суй обходился с Жаньганем (=Циминь-каган) особенно почтительно и дал ему в жены принцессу Ань-и в 597 г., а после ее смерти — принцессу И-чэн. Шиби-каган, согласно традиции, в 609 г. взял в жены эту же принцессу, т. е. свою мачеху, после смерти своего отца Циминь-кагана [57–59].

Позже, при династии Тан в начале VIII в., тюрки имели военное превосходство и были необычайно сильны и могущественны во время правления кагана Мо-чо. Когда императрица У под давлением Мо-чо-кагана дала ему принца из своего рода У, чтобы выдать замуж дочь Мо-чо за него, Мо-чо рассердился, так как жених не был настоящим принцем из императорского дома Ли династии Тан, и арестовал его. Несмотря на это и на постоянные набеги Мо-чо на пограничные территории, императрица уступила и предоставила ему на выбор двух настоящих принцев из дома Ли [216].

Наряду с важным военно-политическим подтекстом брачные союзы китайских принцев с правителями соседних народов считались и оказанием особых почестей для последних. Благодаря подобным бракам с представителями китайских династий кочевые народы получали дополнительный престиж в глазах соседних племен.

Когда династия Тан медлила с ответом на просьбу дать в жены Пи-цзя-кагану принцессу, он сказал китайскому послу: «Туфань (тибетцы) имеют предков от собак, но государство Тан заключило с ними брачный союз. Хи и Кидань служили нам как рабы, но они тоже имеют принцессу в качестве жены. Только

Тузцзюэ являются обделенными. Что вы скажете об этом?» Таким образом, каган тюрков чувствовал себя униженным в глазах других кочевых народов [227].

Династийные хроники пестрят также сообщениями о вручении тюркским каганам императорских подарков, но данный факт требует критического осмысления, так как зачастую только китайцы склонны называть эти подношения «подарками». Сведения китайских источников отражают официальную идеологию императорского Китая, которая противопоставляет Срединную империю остальным варварским народам. К «варварам» относились все соседние государства, даже если таковые представляли собой крупные и развитые политические объединения. Учитывая особенность китайских текстов, следует критически воспринимать информацию «из китайских уст» и не всегда считать дословный перевод китайского текста достоверным, так как он является эмоционально-лексическим текстом, главной задачей которого было выгодное изображение Срединной империи.

Известно, что на официальных мероприятиях император одаривал кагана. Был ли это посланник тюрков или китайский посланник у тюрков, почти всегда преподносились подарки кагану и всегда в большом количестве.

Каган Се-ли, «опираясь на оставленные богатства отцом и старшими братьями, на элитные отряды и многочисленных лошадей, становился надменным и возвысился над всеми варварами. Он не уважал Китай из-за отсутствия дружбы с ним, поэтому его слова в письмах к императору были дерзкими, и он установил чрезмерную задолженность. Так как император лишь недавно взошел на трон, он унизился и делал Се-ли неисчислимые подарки, но желания Се-ли были ненасытными и безграничными» [184].

Можно предположить, что императорские подарки в действительности были завуалированной данью. Примечательны подарки для выражения соболезнования в случае смерти кагана: император Суй подарил 5 тыс. рулонов шелка по поводу смерти Шаболюэ-кагана, а император Тан подарил 30 тыс. рулонов шелка после смерти Шиби-кагана [182]. Значительны были подарки и при восхождении на трон кагана: Суй подарил Чулоху по этому случаю музыкальный корпус и знамя, а Юньюйлой — 3 тыс. рулонов шелка [55].

Возможно, своими щедрыми подарками Китай намеревался приобрести дружбу с тюрками. Об этом же говорится и в биографии Ли Гуй: «...Император Гао-цзу приказал Ли Гую взять несколько десятков тысяч кусков полотна (бу) и шелка (бо) и доставить их к Туцзюэ и заключить с ними союз» [277].

Кроме подарков, которые посылались императором по особым случаям, было также и определенное количество подарков, которые посылались ежегодно; скорее всего, это было частью их обменной торговли. Китай дарил шелк, а тюрки дарили им своих лошадей.

Чжоу-шу сообщает: «Тогда наш императорский дом был с ними в тесном союзе (брачном) и дарил им ежегодно 100 000 мотков шелка (цзэн), шелкового крепа (сюй), парчи (цзинь) и цветного шелка (цай)» [13].

Тан-шу свидетельствует: «Он позволил Туцзюэ в западном Шоу-сян-чэн (городе для подчиненных) от Софан (армии) (с китайцами) заниматься торговлей. Он дарил им ежегодно 100 000 мотков шелка» [228].

Известны следующие основные виды товара, преподносимого в качестве «подарков»: шелк различных видов, полотно, вата, золото, нефрит, вазы, драгоценности, одежда, продукты питания, вино, постельные принадлежности, седла, кареты (повозки), флаги и музыкальные капеллы [396].

Для тюрков китайские подарки были необходимым заграничным товаром. В свою очередь, тюрки также платили дань, но в целом это был выгодный товарообмен.

В лучших традициях своей науки стратегии Китай проводил между соседними народами политику раскола. Насколько губительной для тюрков была китайская политика разъединения, нам сообщает надпись Кюль-тегина: «...Дав себя прельстить их сладкой речью и роскошными драгоценностями, ты, о тюркский народ, погиб в большом количестве» [цит. по: Малов, с. 33].

Китайцы с успехом проводили политику раскола. Известный знаток тюрков при дворе императора Пэй Цзюй считал: «Туцзюэ простодушны, и между ними можно сеять раздор» [87].

В биографии Чан-сунь Шэна под 581 г. сообщается: «Чан-сунь Шэну было известно, что Шэ-ту, Дяньцзюэ (Датю), Або, Ту-ли и др., которые были друг другу дядьями, племянниками и братьями, располагали большим количеством солдат, назывались каганами и господствовали на четырех сторонах света. Он знал, что они очень недоверчивые и жадные друг к другу, но на публике внешне держатся вместе, поэтому их силой очень трудно победить, а хитростью разъединить легко» [98].

Тюрки также прибегали к подобным методам по отношению к своим соседям. Табо-каган на протяжении нескольких лет успешно лавировал и сталкивал династии Северная Чжоу и Северная Ци и однажды сказал: «Зачем мне вообще заботиться о том, что мне чего-то не будет хватать, когда оба моих “сына” на юге (имеются в виду императоры династии Северная Чжоу и Северная Ци. — Р. Г.) остаются мне почтительными и послушными?» [13].

Отдельного внимания заслуживает политика Китая по отношению к пленным тюркам. Вопрос о расселении подчиненных тюрков для Китая со временем стал очень серьезной проблемой. Китай старался примирить беспокойных соседей с помощью благожелательной политики по их расселению. Для них создавались специальные префектуры на северной границе, но некоторых селили и во внутренних землях Китая, они становились солдатами, им предоставляли налоговые льготы.

Когда династия Суй сделала Жаньганя Циминь-каганом, она построила город Даличэн в Сочжоу в 599 г. в качестве его резиденции. Чтобы избежать давления со стороны Юн-юй-люй, они расселили его и его орду на юге Желтой реки в области между Сячжоу и Шэнчжоу. Биография Чан-сунь Шэна в Суй-шу сообщает об этом: «Орда Жаньганя умножалась благодаря покорениям. Хоть она и живет внутри Великой Китайской стены, но Юньюйлюй всегда нападает на них; она страдает от движения туда-сюда и не находит себе покоя. Поэтому я предлагаю их переселить в У-юань, где их защитой будет Желтая река. Между префектурами Сячжоу и Шэнчжоу, в области, что простирается на востоке и западе до Желтой реки и с юга до севера до реки на 400 ли, надо на юге

выкопать длинный канал, и орду Жаньганя внутри этой области (между Желтой рекой и каналом. — *Р. Г.*) разместить. Там они смогут пасти свои стада сколько душе угодно. Этим они обезопасят себя от набегов и обретут покой!» Император последовал его совету [106].

Также в 600 г. китайцы построили для Циминь-кагана два города — Цзинь-хэ и Динсян [111].

После капитуляции Сели-кагана (630) его подчиненные пришли, чтобы подчиниться династии Тан, поэтому проблема расселения встала очень остро, и этот вопрос решался на самом высоком уровне. При дворе состоялось совещание по проблемам дальнейшей судьбы пленных тюрков, а значит, и судьбы северного Китая, население которого находилось в прямой зависимости от будущих действий восточных тюрков.

Принимая во внимание диспут между сановниками, Вэнь Янь-бо и Вэй Чжэном, можно выделить основные их предложения:

1) рассредоточить тюрков в области между Желтой рекой и рекой Хуай по префектурам и округам и сделать крестьянами [149];

2) отправить их обратно на север излучины Желтой реки, чтобы избежать беды [149];

3) расселить их орды в речной излучине, т. е. во внутреннем изгибе Желтой реки в Суй-юань, и доверить им охрану границы [150].

Из трех предложений было выбрано последнее, так что для тюрков было создано так называемое Цзи-ми-чжоу между Ючжоу и Линчжоу [см.: Попова, 1999, с. 187].

Пленных тюрков китайцы селили на пограничной территории для того, чтобы создать буферное государство между еще не подчиненными тюрками и Китаем, но опасность была высока, так как они легко становились мятежными и убегали к свободным тюркам, о чем сообщается в источниках: «Был человек по имени Ашидэ Юаньчжэнь, которому было поручено в Шаньюй (Ду-ху-фу, генерал-губернаторство) следить за покоренными ордами. В свое время из-за проступка он был посажен в тюрьму Чанши (адъютантом) Шаньюй (Ду-ху-фу) Ван Бэнь-ли. Случилось, что Гудолу предпринял разбойничий набег, а Ашидэ Юаньчжэнь попросил (Ван Бэнь-ли), как и раньше, поставить его на дозор за ордами. Ван Бэнь-ли удовлетворил его просьбу. После этого он тотчас же перешел на сторону Гудолу. Гудолу очень обрадовался, что склонил его на свою сторону, и произвел его к Абодагань и наделил его исключительными полномочиями по всем военным делам и вопросам» [158].

В период правления династии Тан пленным тюркам было гарантировано льготное налогообложение. Согласно сообщению о налоговой системе Тан в Шихо-чжи, пленные всех областей расселялись в населенные пункты с полями и пашнями (куань-сян) и освобождались от налогов на 10 лет. Это распространялось на пленных, живущих во внутренних областях Китая, и соответственно на тюрков тоже [400].

Согласно закону от 624 г., «пленные варвары (фань и шу) должны платить ежегодный налог (шуй) с каждого взрослого, которому исполнился 21 год. С семьи первого разряда (шан-ху) налог составлял 10 монет наличными (вэнь),

с семьи второго разряда (цэ-ху) — 5 монет, с семьи третьего разряда (ся-ху) — 0. Но, если после пленения прошло уже два года, они должны заплатить за каждого взрослого с семьи 1-го разряда — 2 овцы, 2-го разряда — 1 овцу и с семьи 3-го разряда (общий налог с трех семей) — 1 овцу» [400]. Но точно неизвестно, касался ли этот закон всех пленных, живущих в префектуре Цзи-ми.

Следующим инструментом китайской дипломатии являлся прием «удерживания» китайскими властями тюркских посланников на императорском дворе. Еще со времен подчинения Хуханье, Шаньюя Сюнну (53 г. до н. э.), правители иноземных государств отправляли своих сыновей с продолжительными визитами на императорский двор. Восточные тюрки делали то же самое. Сыновья назывались Ши-цзэ («наносящие визит сыновья») или Чжи-цзэ («сыновья-заложники»). В первую очередь они должны были своим присутствием способствовать дружественным отношениям между Китаем и их народом. В то же время они были агентами для выяснения военных тайн и культурными посредниками. Китай чувствовал себя спокойно, когда в их руках были сыновья государей соседних народов. Они баловали их, чтобы привлечь на свою сторону и таким образом установить на границе мир и покой.

В биографии Се Дэн в Тан-шу мы находим: «...Во время годов Тянь-шоу (690–691) Се Дэн был назначен Цзо-бу-цюэ (левым служащим по дополнению упущений)... Тогда находилось много сыновей варваров со всех четырех сторон света в качестве заложников в столице: например, Лунь-цин-лин (Ту-фань), Ашидэ Юаньчжэнь (Туцзюэ) и Сунь Вань-юн (Кидань); во время своего пребывания они все изучали китайские законы и устройство, а когда они потом вернулись к себе, они подвергли опасности нашу пограничную область» [308–309].

В 621 г. в качестве ответной меры на удержание китайского посла Китай в качестве «сыновей-заложников» задержал у себя двух тегингов, о чем имеется запись в Цзю-тан-шу: «Перед этим герцог Хань-ян, Су Гуй, Тай-чан-цин (президент службы по государственному жертвоприношению), Чжэн Юань-шоу, Да-цзян-цзюнь (Великий генерал) Цзо-сяо-вэй (левой гвардии кавалерии), Чан-сунь Шуньдэ и другие были отправлены к Туцзюэ в качестве гонцов, но Се-ли их всех задержал. Мы (Тан) также постепенно задержали ряд их гонцов. Как только Се-ли был побежден Ли Да-эном, он испугался и освободил Чан-сунь Шуньдэ (и других) и послал их обратно. Сверх того он попросил о мире и дружбе; он подарил императору несколько десятков фунтов икры с пожеланием, чтобы дружба обоих государств была подобна этой икре. Император Гао-цзу был очень обрадован этим, он приказал освободить его гонцов Тэлэ (Тегин) Жэ-хань, Ашидэ и других, послать их обратно к варварам и подарить им золото и шелк» [135–136].

Таким образом, сведения из китайских письменных источников дают нам достаточно полное представление о внешних сношениях Китая с Восточно-Тюркским каганатом и свидетельствуют об интенсивном военно-политическом, культурном и социально-экономическом диалогах. Дипломатия, к которой прибегали обе стороны, была совокупностью различных приемов и методов, проанализировав которые, можно не только понять основные краткосрочные задачи внешних ведомств Китая и тюрков, но и установить тенденции в их внешнеполитических доктринах.

Оба государства имели установленные процедуры для приема иноземных послов, и, опираясь на сведения письменных источников, мы можем утверждать, что в установлении и развитии этих контактов между Китаем и тюрками были заинтересованы обе стороны, а в некоторых случаях инициаторами выступали восточные тюрки, особенно в вопросе установления первых контактов с Китаем.

Несмотря на то, что источники показывают нам использование одних и тех же методов и китайцами, и тюрками, можно выделить главную особенность, которая различает их подходы к решению внешнеполитических задач.

Китай, принимая во внимание военное превосходство тюрков, старался обойти прямые вооруженные столкновения и решить вопросы с помощью мирных целей и дипломатических приемов. Бюрократическая система Тан поражала своими размерами [см.: Рыбаков]. На умиротворение тюрков были брошены ресурсы, которые можно было бы сравнить с армией, сражения которой происходили на дипломатическом поле. Это вовсе не означало, что китайцы считали себя проигравшими. Мудрость китайской науки стратегии гласит: искусный полководец одерживает победу без боя, и только величайший воин не воюет [Китайская наука стратегии, с. 5].

Восточные тюрки, проводя самостоятельную политику и, конечно, используя китайский внешнеполитический опыт, умело использовали свое военное превосходство и мобильность военных соединений. В случае неудачи на дипломатическом поле они могли в любой момент задействовать свои войска для положительного разрешения того или иного вопроса. Лишь при династии Суй и в большей степени династии Тан, изучая военный опыт кочевников, на службе китайской армии появились регулярные конные подразделения, которые были созданы непосредственно под влиянием военных успехов восточных тюрков, но их реальные успехи мы наблюдаем гораздо позже — лишь в 30-е г. VII в. [см.: Попова, 2006, с. 210—214]. Кроме того, поставщиками «транспортных средств», т. е. лошадей, для Китая были те же самые тюрки, которые в зените своего могущества имели монополию в степи по торговым операциям с Китаем, поэтому, планируя военные походы, они прекрасно знали ситуацию в армии, а конкретно — о количестве всадников у китайцев.

Следует отметить, что первыми заключить брачный союз предложили еще в 551 г. тюрки, и это отнюдь не случайно: именно они были заинтересованы в обретении основного партнера в лице Китая для дальнейшего использования этой страны и ее населения в качестве производителя товаров и для транспортировки их на Запад по торговым путям. На начальном этапе применение военной силы не требовалось, так как обе стороны довольствовались тем, что есть. Со временем требования возросли, но тюрки проигрывали китайцам на дипломатическом уровне, и это вынуждало их прибегать к более действенным мерам, в том числе и к боевым действиям. Китайцы следующим образом оценивали дипломатические способности восточных тюрков: «Тузюэ простодушны, и между ними можно сеять раздор; к несчастью, среди них есть ху (варвары или согдийцы), которые коварные, злые и хитрые, которые их учат и управляют ими!» [87].

Таким образом, используя доступные ресурсы, каждая сторона преследовала свои цели. Однако стоит заметить, что Китай и Восточно-Тюркский каганат были не врагами, а соперниками. Об этом свидетельствует строительство дороги прямого сообщения между императором и каганом в начале VII в. (607–609 гг.), что является прямым доказательством мирных целей внешней политики обоих государств, несмотря на существующие разногласия между ними [109].

Китайская наука стратегии / сост. В. В. Малявин. М., 1999. (Сер. «Каноны»).

Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности : тексты и исследования. М. ; Л., 1951.

Попова И. Ф. Политическая практика и идеология раннетанского Китая. М., 1999.

Попова И. Ф. Конница в китайской армии начала Тан (VII в.) // Зап. Восточ. от-ния Рос. археол. о-ва (ЗВОРАО). Нов. сер. Т. 2 (17). СПб., 2006. С. 210–214.

Рыбаков В. М. Танская бюрократия. Ч. 1 : Генезис и структура. СПб., 2009.

Liu Mau-Tsai. Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (Tu-kue). 1. Buch : Texte; 2. Buch (Anmerkungen. Anhang. Index) // Göttinger Asiatische Forschungen. 1958. Bd. 10. (Göttinger Asiatische Forschungen ; Bd. 27).

Статья поступила в редакцию 22.11.2010 г.

УДК 378.4(4)-057.175 + 347.121

Ю. Е. Комлева

РОЛЬ ПОЗДНЕРИМСКИХ И ВИЗАНТИЙСКИХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ПРОФЕССОРОВ XV–XVIII ВВ.*

Рассматривается социальный статус университетских преподавателей в «доклассическую» эпоху истории европейского университета. Сложившиеся в императорском Риме и Византии представления о правах и привилегиях преподавателя и его месте в обществе оказало существенное влияние на формирование социально-правового статуса университетских профессоров в Европе в период позднего Средневековья и раннего Нового времени, накануне коренной перемены модели и самой идеи европейского университета.

Ключевые слова: история европейского университета; история социальных элит; раннее Новое время; университетская профессура; византийское право.

История развития европейского университета как социального института традиционно делится на две крупные фазы — т. н. доклассическую и классическую эпохи, которые, в свою очередь, подразделяются на несколько периодов.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., ГК 02.740.11.0578.

Переход от одной фазы к другой связывается со становлением на рубеже XVIII—XIX вв. в германских землях модели исследовательского Гумбольдтовского университета, распространением и утверждением этой модели в странах Европы и Америки. Современные университеты иногда относят к пост-классическому или неоклассическому типу, однако в любом случае их развитие является частью глобальной классической эпохи, когда университет понимается как место для развития наук и свободного научного поиска, осуществляемого независимо от социальных и политических интересов, ради знания как такового. Ввиду коренного изменения самой идеи университета в классическую эпоху характер университетской организации и управления, социальные функции, содержание учебного процесса, студенческо-преподавательский корпус радикальным образом отличаются от тех, которые были характерны для Античности, Средних веков и раннего Нового времени.

В классическую эпоху происходит переход и к новому типу университетского преподавателя, в результате которого университетские профессора образуют особую социальную категорию, которая начинает играть значительную роль в истории государства и оказывать существенное влияние на реформирование политических и социальных структур. Однако этот переход был подготовлен длительным периодом эволюции доклассического типа в Средние века и раннее Новое время, который, в свою очередь, испытал сильное влияние античных, в первую очередь позднеримских и византийских, традиций. В данной статье предпринята попытка охарактеризовать социальный статус университетских преподавателей в раннее Новое время, т. е. накануне коренной перемены модели и самой идеи европейского университета. Термин «профессор» (лат. *professor* — преподаватель) здесь использован как синоним университетского преподавателя вообще, вне зависимости от статуса и занимаемой должности.

К концу Средневековья характерные для более ранних периодов социальные категории молящихся, воюющих и работающих, на основе которых выделились три традиционных сословия западноевропейских обществ, усложняются и внутренне дифференцируются. Одной из новых ключевых групп становится «ученое сословие», которое, в отличие от разнообразных групп интеллектуалов, бросавших вызов традиционной культуре, было тесно связано с университетами и включало собственно университетских преподавателей. Профессора этого периода не только внесли свой вклад в дело накопления и развития знания, но также содействовали реформированию позднесредневековой политической структуры и организации европейского общества. Государство, учитывая социальную и политическую утилитарность ученого сословия, способствовало его возвышению среди традиционных элит.

Термин «ученое сословие» не является самоназванием, он был введен историками гораздо позднее [см., в частности: Busch, S. 13—15]. Объединение университетских преподавателей в отдельную социальную группу произошло лишь в XIX в. в связи с переходом к классическому представлению об университете. До этого момента говорить о профессорах как об особом социальном слое можно лишь условно, ввиду крайней внутренней статусной дифференциации,

высокой степени разнородности материального положения, и, что самое важное, в связи с отсутствием осознания своей принадлежности к некоему единству, понимания себя как отдельной группы.

Тем не менее в течение всего доклассического периода университетские преподаватели предпринимали активные попытки отождествить себя с какой-либо из устоявшихся социальных категорий, поскольку без этого было невозможно гарантировать стабильное существование и развитие в европейском обществе, обладавшем высокой степенью корпоративности. Неопределенное положение профессоров в социуме в указанный период в первую очередь было связано с их собственным происхождением из разных социальных слоев. Разумеется, были преподаватели знатного происхождения: например, в южнофранцузских университетах в 1681—1793 гг. 24 из 49 профессоров права были дворянами различных рангов [см.: *Geschichte der Universität*, 1996, S. 208]. Однако большинство университетских преподавателей происходило из т. н. среднего слоя — дети священников и пасторов, учителей грамматических школ, врачей, зажиточных крестьян. В Восточной Европе и России в частности многие профессора имели еще более низкое происхождение (из крестьян, сельских священников и солдат), поскольку наука и профессура не считались достойным для дворянства занятием.

Ввиду того, что к началу раннего Нового времени университетское сообщество еще не оформилось как сплоченная коллегиальная целостность, в попытках обрести устойчивое социальное положение университетские преподаватели стремились причислить себя к другим прочно устоявшимся в общественном восприятии социальным кругам — религиозным орденам, городской правящей верхушке или, чаще и охотнее всего, к светскому дворянству. Во многих университетах Германии, Франции, Италии и Нидерландов профессора считали себя дворянами, требовали обращения к себе «мессер» или «мессир» (итал. *messère*, фр. *messer* — господин), характерного для представителей рыцарского сословия и церковных иерархов, а также «благородный» и «сиятельный», употреблявшихся при обращении к светской аристократии. Многие профессора, невзирая на жалобы и возражения герольдов, в чьи обязанности входило составление гербов и генеалогий благородных семейств, присваивали себе дворянские гербы [см.: *Ibid.*, S. 210].

В ряде европейских государств дворянство даровалось университетским преподавателям после определенного срока преподавательской деятельности. Так, например, в Польше профессора Краковского университета получали дворянский титул после двадцати лет нахождения в этой должности. В России в XVIII в. докторам наук присваивался чин 8-го класса, что давало возможность получения потомственного дворянства. Таким образом, недворянам диплом доктора приносил потомственное дворянство.

В ряде стран Западной Европы доктора, т. е. преподаватели трех высших факультетов — теологии, права и медицины, пользовались налоговыми льготами и разделяли многие привилегии с дворянством. Например, в Миланском герцогстве они были освобождены от поземельного налога, а в Павии — от обязанности размещать у себя солдат на постой. В ситуации судебного

разбирательства их, как и дворян, нельзя было подвергать пыткам и вызывать в суд в качестве свидетелей; для проведения допроса судья сам являлся к месту их проживания. Так, в Вормсском судебнике 1499 г., положения которого во многом заимствованы из Нюрнбергского судебного кодекса 1479 г. и других, читаем: «...Есть также некоторые люди, которых требуется привлечь к следствию и получить их признание, однако принуждать их явиться в суд лично нельзя. Но судье или иному посланному им человеку надлежит проситься к ним в дом и там законным образом их допрашивать. А именно это: князья, графы, доктора, рыцари и их супруги и хозяйки. А равно епископы, монахини и больные люди...» [Reformation, Fo. viij]. Таким образом, в ряде имперских вольных городов доктора занимали очень почетное место среди светской знати, между графами и рыцарями.

Разделяемые докторами трех высших факультетов привилегии были действительно значимыми и вызывали неизменную зависть со стороны преподавателей низшего пропедевтического факультета искусств, получавших звание магистра. С начала XVIII в. магистры вели последовательную борьбу за присвоение им степени доктора философии, чтобы получить те же привилегии, что и профессора трех высших факультетов [см. об этом: Clark].

В раннее Новое время европейские юристы вели горячие дискуссии о том, давала ли степень доктора дворянство ее носителям и можно ли последних приравнивать к родовой знати [см. об этом: Visconti; Lange]. Свою принадлежность к дворянскому сословию университетские профессора стремились подчеркнуть и внешним видом, с помощью академического костюма и знаков отличия, поскольку разница в одеянии играла очень важную роль в сословном обществе «старого порядка». Докторскими знаками отличия (лат. *insignia doctoralia*) являлись книга, перстень, шапочка, мантия и цепь, которые вручались на церемонии присуждения докторской степени. При этом перстень и цепь как отличительные знаки дворянства и высшего духовенства символизировали принятие доктора в ряды духовной знати [см.: Voehn, S. 48].

Форма академического костюма устанавливалась университетским уставом. Например, согласно уставу Ингольштадтского университета в Баварии доктора трех высших факультетов должны были носить шапочки красного цвета как высшее духовенство, а магистры факультета искусств — коричневого цвета, чем приравнивались к низшему духовенству и каноникам [см.: Müller, S. 126]. Указ от 1661 г. даровал профессорам Ингольштадта, их женам и детям дворянское право носить цепи, перстни и другие ювелирные украшения. В этом же самом университете доктора права получали не только шапочку, перстень и книгу, но также и перевязь (лат. *cingulum*), символизировавшую рыцарское достоинство [см.: Ibid, S. 41].

Согласно имперским указам об одеянии, изданным в Священной Римской империи германской нации в конце XV—XVII в., все общество делилось на семь классов: 1-й — княжеские советники и крупная земельная аристократия; 2-й — получившие дворянский титул горожане, а также доктора права и медицины; 3-й — бургомистры, секретари, чиновники и получившие дворянский титул торговцы; 4-й — простые ремесленники и торговцы; с 5-го по 7-й —

низшие слои [см.: Endres, S. 105]. Из вышесказанного видно, что доктора занимали очень высокое положение в обществе, тем не менее все-таки не приравнивались к родовой знати, чего им так хотелось. В этих же указах об одеянии оговаривается право профессоров и членов их семей отличаться от других социальных групп одеждой и украшениями.

С конца XVII в. практически во всех европейских университетах профессорскую мантию, напоминавшую о связи с духовенством, сменило эlegantное светское одеяние. Профессора и члены их семей стремились подчеркнуть свое общественное положение, подражая аристократии в костюмах, украшениях и обустройстве быта, демонстративно неся при этом большие расходы. Так, когда в конце XVI в. вюртембергский герцог заказал для себя помпезный надгробный памятник, семейство одного профессора из Тюбингена заказало себе у того же скульптора столь же дорогостоящий памятник [см.: *Geschichte der Universität*, 1996, S. 208–209]. Во Франции в XVIII в. современники отмечали, что парижские профессора права «прилагают все усилия для того, чтобы обзавестись собственным экипажем и украсить своих жен такими нарядами, которые причитаются дамам из высшего общества» [см.: Lemasne-Desjobert, p. 21].

Стремление университетских преподавателей возвыситься до положения дворянства, добиться дворянских титулов и привилегий восходило к античным временам. Истоком этой тенденции служили римско-византийские традиции и право. Например, известный позднеантичный памятник права, т. н. Кодекс Феодосия, составленный в правление византийского императора Феодосия II Младшего (408–450), включает в себя имперские эдикты, касающиеся профессоров, грамматиков, докторов и студентов, из которых следует, что в разное время на территории обеих частей Римской империи им были дарованы разного рода привилегии. Такие же привилегии были закреплены за составлявшими элиту римского и византийского обществ высшими государственными функционерами и сановниками, к названиям должностей которых восходят титулы феодальной западноевропейской аристократии. В связи с этим представляется возможным провести определенную параллель между социальными осями «преподаватели — высшие чиновники» в поздней Римской империи и Византии и «профессора — дворяне» в Европе эпохи позднего Средневековья и раннего Нового времени.

Кодекс Феодосия стал результатом работы комиссии из двадцати двух ученых, учрежденной Феодосием II для «приведения в порядок законов» со времен Константина Великого (272–337) по 435 г., «распределив их в соответствии с содержанием по титулам» [*Theodosiani libri*, 1.1.6]. В Византии Кодекс был издан в 438 г., а годом позже был введен и в западной части Римской империи императором Валентинианом III (425–455). Ниже приведены извлечения из книги 13, титула 3 («О врачах и преподавателях»)¹, которые отражают

¹ В связи с отсутствием перевода этой книги Кодекса на русский язык, текст законов приводится в переводе автора; в порядке цитирования первая цифра обозначает номер книги, вторая — номер титула, последующие цифры — номера законов.

привилегированное положение преподавателей в позднеримском и византийском обществах.

13.3.1. Император Константин — Волусиану.

Врачи, грамматики и прочие преподаватели-ученые и все имущество, которым они владеют в своих городах, должны быть свободны от налогов и получать почести, сообразные их должностным обязанностям. Их запрещается вызывать в суд и заставлять терпеть какие-либо унижения, а если кто будет досаждать им, то должен будет заплатить сто тысяч монет в казну; штраф этот должны взыскать магистраты или квинквенналы, иначе сами будут ему подвергнуты.

13.3.1.1. Если раб причинит этим людям какое-то зло, то хозяин должен побить его розгами в присутствии потерпевшего; но если вред был причинен с согласия хозяина, то последний должен уплатить двадцать тысяч монет в казну, а раб будет удержан в качестве залога до тех пор, пока эта сумма не будет выплачена.

13.3.1.2. Положенные им (врачам, грамматикам и прочим преподавателям-ученым. — Ю. К.) плата и жалованье должны выплачиваться аккуратно.

13.3.1.3. И поскольку они, как и родители, государи и попечители, не могут быть принуждены к занятию своей тяжелейшей должности, то пусть приступают к этим почетным занятиям по желанию; нельзя принуждать не имеющих к этому склонности. Дано в августовские календы, в Сирмии, в консульство Криспа и Константина, цезарей (1 августа 321 г.).

13.3.3. Тот же император — народу.

Подтверждаются дарованные прежними священными императорами особые милости врачам и преподавателям-ученым в том, что они, их жены и дети освобождены от всех общественных обязанностей и всех общественных поборов; их нельзя привлекать к военной службе, использовать их дома для постоя и принуждать к каким-либо работам общественного характера; для того, чтобы они могли с большей готовностью обучать многих студентов наукам и свободным искусствам, о которых упоминалось. Дано в пятый день октябрьских календ, в Константинополе, в консульство Далмация и Зенофила (27 сентября 333 г.).

13.3.10. Императоры Валентин, Валенс и Грациан — Принципию, префекту города.

Пусть все люди знают, что врачам и учителям города Рима даруется иммунитет, так что даже жены их могут оставаться свободными от всех беспокойств; они будут освобождены от всех общественных сборов, их не будут принуждать к военной службе, солдаты не будут размещаться на постоя в их домах. Дано в третий день майских календ, в третье консульство Валентиниана и Валенса, августов (29 апреля 370 г.).

Таким образом, из приведенных законов видно, что в Римской империи позднего периода, а затем и в Византии преподаватели, для обозначения которых в источнике используются латинские слова *magistris*, *magistris studiorum*, *doctores*, *professores*, пользовались широкими привилегиями иммунитета, освобождения от личных и имущественных повинностей, воинской повинности, дополнительных общественных обязанностей, а также имели привилегированную подсудность. В этом отношении они занимали место, равное высшим сановникам и духовенству. Должность преподавателя, особенно в высших школах в Константинополе, считалась настолько престижной, что

вызывала зависть даже у высших чиновников. Так, Иоанн Торник, носивший высший придворный титул севастократора, который по некоторым оценкам обозначал ранг выше цезаря и рассматривался как второй император [см.: Анна Комнина, с. 122], в письме, отправленном в 1261 г. главе Константинопольской имперской школы Георгию Акрополиту, упрекал последнего: «Ты зря ешь хлеб императора, сидя в Константинополе, поскольку и я бы мог приехать и делать твою работу, то есть учить детей “Органону” и выполнять обязанности секретона²» [Georgii Akropolitae Opera, 67.5–67.9]. На что Георгий Акрополит, остроумно подчеркивая слабые успехи Торника в риторике и демонстрируя собственный блестящий стиль, отвечал, что готов отказаться от своей преподавательской деятельности и поменяться должностями с Торником, однако вряд ли это предложение понравится императору [см.: Ibid, 67.10–69.28]. В целом же, несмотря на ряд случаев соперничества и даже вражды между преподавателями и высшими чиновниками, их отношения были, как правило, мирными: они обменивались книгами и идеями, корректировали сочинения друг друга, формировали своеобразные интеллектуальные группы [см.: Constantinides, p. 51].

Помимо ряда значительных привилегий, предоставляемых преподавателям в позднеримском и византийском обществах, государство проводило также активную политику оказания им финансовой поддержки. Так, закон 13.3.11, включенный в Кодекс Феодосия, гласит:

(Императоры Валенс, Грациан и Валентиниан — Антонию, префекту галльских преторских когорт) Для процветания во всех твоих областях многочисленных и могущественных городов, и в особенности для прославления занимающихся обучением молодых людей лучших преподавателей, а именно риториков и грамматиков как аттической, так и римской науки, из которых ораторам следует выделить двадцать четыре анноны³ из казны, грамматикам же латинским или греческим на двенадцать аннон меньше числом, поскольку по обычаю в каждом из тех городов, которые называются митрополиями, проводится избрание благородных преподавателей, как мы полагаем, свободное, и каждый город должен обеспечить доход своим врачам и учителям по своему усмотрению. Так, в славном городе Треверорум⁴ полагают, что более достойно предоставить ритору тридцать аннон, двадцать — грамматике латинскому, а также греческому, и по возможности двенадцать — каждому достойному. Дано в десятые июньские календы, консульство Валентиниана и Валента августов (23 мая 376 г.).

Интересно, что в этом законе преподаватели именуются *nobiles professores*, т. е. «благородными, знатными».

Вероятно, к этой законодательно оформленной традиции выделять преподавателям часть натурального налога в позднем Риме и Византии восходят

² Секретон (греч. Σέκρητον) — отдел или управление; термин использовался для обозначения всего корпуса высших чиновников [см.: The Oxford Dictionary, vol. 3, p. 1866].

³ Аннона — налог, введенный императором Диоклетианом (284–305), регулярно взимаемый с населения отдельных областей (преимущественно в натуральной форме) для содержания города Рима, армии и чиновников.

⁴ Треверорум — современный г. Трир (Германия).

натуральные выплаты и предоставление особых (натуральных) привилегий профессорам во многих европейских университетах раннего Нового времени в дополнение к традиционному жалованью и студенческой оплате. Примером такого натурального вознаграждения служит получение профессорами дров и продуктов питания от фермеров — арендаторов университетских земель, а также профессорские лицензии на хранение и свободную продажу пива и вина. Так, гейдельбергский ученый Ян Грутер, получив в 1627 г. приглашение во Франекерский университет, потребовал предоставлять ему помимо жалованья каждый год телегу, груженную вином, а также дом с садом для проживания [см.: *Geschichte der Universität*, 1996, S. 198].

В шестой книге Кодекса Феодосия из закона 6.21. «О преподавателях, учивших в городе Константинополе и получивших по закону звание комита» следует, что самые выдающиеся преподаватели в Византии возводились за свои заслуги в упомянутый ранг, к названию которого восходят аналоги европейского титула «граф» в нескольких романских (фр. *comte*, исп. *conde*, итал. *conte*) и германских (англ. *count*) языках, например в книге 6.21.1:

Император Феодосий август и Валентиниан цезарь — Феофилу, префекту города. Мы рады возвести в звание комитов первого порядка греческих грамматиков Гелладия и Сириана, латинского грамматика Феофила, софистов Мартиния и Максима, и преподавателя права Леонтия, даровав им почетные грамоты, которые они уже получили от наших Величеств, так что теперь они будут в ранге почетных викариев. В связи с этим, если будет доложено, что еще какие-либо люди были определены для преподавания означенных наук, если они докажут, что живут жизнью, самой по себе похвальной и нравственной, если они продемонстрировали свое умение преподавать, свое ораторское искусство, свою проницательность в толковании, плавность речи в изложении и если их сочтет достойными августейшее собрание⁵ в том, как они выполняют свои преподавательские обязанности в упомянутой школе⁶, то и этим людям, демонстрировавшим непрестанную преданность и усердный труд в деле преподавания, на двадцатом году их службы также будет дарован тот же самый ранг, как и вышеназванным лицам. Дано в мартовские иды в Константинополе в год одиннадцатого консульства Феодосия августа и Валентиниана цезаря (15 марта 425 г.).

Таким образом, после двадцати лет успешной преподавательской деятельности преподаватели занимали столь же почетное положение, что и сановники, прежде исполнявшие функции викария. Звание викария означало представителя, заместителя или наместника императора и было очень высоким не только в Византии, но и позднее в Европе: например, в германской Священной Римской империи три викария управляли империей в те периоды, когда император находился за границей, был несовершеннолетним или еще не был избран [см.:

⁵ Вероятно, константинопольский сенат.

⁶ Испорченный текст; возможно, имеется в виду высшая имперская школа в Константинополе — т. н. Константинопольский университет, указ об основании которого Феодосием II датирован 27 марта 425 г., однако факт существования высшей школы задолго до этого указа признается многими исследователями [см., например: Fuchs; Speck].

Geschichte der Universität, 1996, S. 198]. Звание комита, которое также присваивалось «заслуженным» византийским преподавателям, первоначально использовалось для обозначения личного советника императора или варварского короля, а позднее даровалось как почетный титул разного рода чиновникам, занимавшим высокие государственные или придворные посты [см.: The Oxford Dictionary, vol. 1, p. 484–485].

В XV в. европейские юристы приравнивали звание викария к графскому или герцогскому достоинству [см.: Geschichte der Universität, 1996, S. 210], вслед за ними мыслители XVI–XVIII вв. развили теорию о происхождении европейского титула графа от римской должности комита, которую и сегодня поддерживают многие исследователи. Согласно концепции представителя течения романистов, известного историка Н. Д. Фюстель де Куланжа (1830–1899), в эпоху вторжения варваров в Римской империи проводилась административная реформа, заключавшаяся в назначении императором особых начальников для каждого городского округа — комитов; реформа, начатая империей, была окончена франкскими королями, и комиты (франц. *comtes*) распространились по всему государству; позднее к ним также стало иногда применяться и германское название «граф». С развитием феодализма и постепенным переходом верховных прав от государей к их вассалам институт графов утратил в государствах, образовавшихся из империи Карла Великого, характер должности, графы стали владельцами земель — феодалами, а звание графа превратилось в почетный титул, существующий почти во всех европейских государствах [см. об этом: Fustel de Coulanges].

Вероятно, притязания профессоров раннего Нового времени на дворянские титулы и привилегии основывались именно на таких логических построениях и восходили к правовым образцам оформленной римско-византийской традиции причисления наиболее достойных преподавателей, по крайней мере из столичных высших школ, к тогдашней правящей элите — высшему чиновничеству. Архиепископ Траутсон (1704–1757), на которого было возложено проведение университетской реформы в монархии Габсбургов, считал, что нельзя привлечь «честных людей без хорошего жалованья и почетного звания», в связи с чем венские профессора получали очень высокий титул надворного советника без каких-либо совещательных обязанностей [см. об этом: Hammerstein]. Требования профессоров использовать при обращении к ним слова «благородный» и «сиятельный» также восходят к традициям императорского Рима и Византии, где эти эпитеты являлись почетными званиями для высших сановников, таких как префект претория или квестор священного дворца, а также их жен.

Помимо законов, распространяющих на преподавателей те же привилегии и титулы, что и у высших чиновников и дворян, в Европе раннего Нового времени сохранилась традиция совмещения преподавательских и правительственных должностей, которая была общепринята в позднем Риме и Византии [см.: Speck, S. 53]. Большинство преподавателей богословского и юридического факультетов европейских университетов были задействованы в качестве экспертов в государственных и церковных ведомствах; в составе всевозможных

комиссий служили советниками и медицинскими консультантами князьям, епископам, ландграфам, муниципалитетам; выполняли обязанности дипломатов в вопросах сношения с иностранными державами [см.: *Geschichte der Universität*, 1996, S. 198]. Занятие одной из подобных должностей, с одной стороны, несомненно повышало авторитет конкретного профессора в обществе, однако, с другой стороны, приводило к тому, что университетские преподаватели не относились непосредственно к преподавательской деятельности как к полноценному профессиональному занятию.

В любом обществе социальный статус во многом определяется финансовым положением. Однако и по этому критерию университетских преподавателей невозможно определить как однородную группу ввиду очень разного, иногда прямо-таки полярного материального положения. Размер жалованья, выплачиваемого европейским профессорам в период позднего Средневековья и раннего Нового времени, зависел от целого ряда факторов — финансовой состоятельности университета, города или государства, значимости факультета или кафедры, занимаемой должности, возраста и опыта профессора, а также от числа студентов. В целом, во всей Европе в XVI—XVIII вв. университетские преподаватели жаловались на очень маленький размер жалованья и нерегулярность его выплаты. Так, один из профессоров Утрехтского университета писал, что выплачиваемое там жалованье не может обеспечить достойного образа жизни и не позволяет купить необходимые книги [см.: *Roelink*, p. 48]. Профессора Лувенского университета сетовали на то, что их жалованье не позволяет держать прислугу [см.: *Clayes-Vouuaert*, p. 82], профессора Востока страдали от нерегулярности выплат, а в Павии жалованье было и вовсе настолько скромное, что «большинство преподавателей не могли на него прожить» [см.: *Kagan*, p. 171].

С другой стороны, жалованье ординарных профессоров в крупных старых европейских университетах, таких как Парижский, Саламанкский или Оксфордский, владевших собственным имуществом и регулярными доходами, считалось довольно высоким. Также в немецких, шведских и голландских протестантских университетах, особенно на факультетах права, «оплата никак не могла быть... названа нищенской» [см.: *Geschichte der Universität*, 1996, S. 208]. Преподаватели испанских университетов в Саламанке, Алкале и Вальядолиде были очень богаты: в XVI в. они получали в среднем пятьсот дукатов, что равнялось пятикратному доходу мастера ремесленного цеха. На французских факультетах права и медицины в XVIII в. профессора получали в среднем 2—3 тысячи ливров, в Дижоне и Париже — даже 6—8 тысяч, тогда как прожиточный минимум составлял четыреста ливров на семью, а расходы профессоров редко превышали тысячу ливров. К тому же свои доходы от преподавательской деятельности они легко удваивали благодаря юридической и врачебной практике или выступая в качестве консультантов на консилиумах [см.: *Ibid.*, S. 200]. Многие шотландские профессора, преподававшие в университетах Глазго и Эдинбурга, были действительно состоятельными людьми: известный физик и химик Джозеф Блэк (1728—1799) оставил после своей смерти наследство в двадцать тысяч фунтов стерлингов; врач Уильям Каллен (1710—1790) купил поме-

стве в окрестностях Эдинбурга, чтобы устроить там летнюю резиденцию; доктор медицины Александр Монро II (1733—1817) приобрел одиннадцать гектаров земли вблизи того же города для садоводства и поместье в пятьдесят гектаров в Берквикшире [см.: Morrell, p. 42].

И тем не менее жалование основной части университетских преподавателей было далеко не высоким. Чтобы обеспечить себе достойное существование, они были вынуждены заниматься разными видами побочной деятельности, т. е. одновременно быть адвокатами, проповедниками, библиотекарями, частными учителями, руководителями колледжей или университетскими администраторами. С учетом их совокупного дохода от всех видов деятельности в налоговых регистрах многих государств в XVII—XVIII вв. профессора были отнесены к самому высокому налоговому классу. Так, в налоговом регистре нидерландского города Франекер от 1749 г. университетские преподаватели были причислены к категории населения, чье состояние превышало тысячу гульденов, и поэтому обязывались платить самую высокую налоговую ставку [см.: Geschichte der Universität, 1996, S. 200]. Та же самая ситуация характерна и для налоговых регистров Эдинбурга второй половины XVIII в., в которых учитывался совокупный доход профессоров от непосредственно преподавательской деятельности, частной практики и издания учебных материалов [см.: Morrell, p. 42]. Возможно, стремление университетских преподавателей причислить себя к дворянскому сословию отчасти объяснялось их желанием избавиться от столь сурового налогообложения.

Пожалуй, еще одна черта социального образа преподавателя доклассического университета восходит к временам позднего Рима и Византии, а именно требование высокого морального облика и достойного образа жизни смиренного и честного человека как непременных профессиональных качеств. При этом была введена законная процедура проверки подобной нравственности, осуществлявшаяся на высоком уровне. В том же Кодексе Феодосия в законах 13.3.5 и 13.3.6 записано:

13.3.5. Тот же август (император Юлиан). Магистры наук и доктора должны превосходить других прежде всего своим образом жизни, а затем красноречием. Но ввиду того, что я не могу сам лично присутствовать во всех муниципалитетах, я приказываю, чтобы если какой-либо человек хочет стать преподавателем, то не может приступить к этому поспешно и необдуманно, но должен быть одобрен постановлением городского сената и получить грамоту декурионов с согласием и одобрением лучших граждан. Ибо это постановление должно быть направлено Мне для рассмотрения, с тем, чтобы таковые учителя могли приступить к своим занятиям в городах, получив определенные высшие привилегии в результате Нашего решения. Дано в пятнадцатый день до июльских календ (17 июня). Получено в четвертый день до августовских календ в Сполето в год консульства Мамертиния и Невитта (29 июля 362 г.).

13.3.6. Императоры Валентиниан и Валенс августы — Мамертинию, префекту претория. Если кто-либо своим образом жизни (разрядка наша. — Ю. К.) и ораторским искусством будет пригоден для обучения молодых людей, то он должен либо основать новую школу, либо возобновить работу одной из тех, которые

были распущены. Дано в третий день до январских ид в год консульства священных Иовиана и Варрониана (11 января 364 г.).

В приведенных законах под «образом жизни» подразумевался нравственный облик будущего преподавателя, который оценивался в ходе сложной процедуры рассмотрения кандидата городскими сановниками и именитыми гражданами, а затем самим императором лично. Требование высокой нравственности преподавателей сохранило свою непреложность в период позднего Средневековья и раннего Нового времени. Будущий магистр или доктор должен был быть безупречным в своем образе жизни и поведении, что проверялось членами комиссии в ходе экзамена на получение ученой степени. Критерии требуемого морального облика были теми же, что в позднем Риме и Византии: всей своей жизнью преподаватель должен был служить примером христианских добродетелей, особенно таких, которые имели особое значение в его профессии: равнодушие к материальным выгодам, доброжелательность по отношению к коллегам и студентам, усердие в работе. Преподаватель должен был избегать пороков, угрожавшим ему в профессиональной деятельности, таких как корыстолюбие, нерадение, тщеславие. Его достойное поведение должно было делать честь науке, представителем которой он являлся [см.: *Geschichte der Universität*, 1993, S. 154].

Таким образом, представление о правах и привилегиях преподавателя и его месте в обществе, которое сложилось в императорском Риме и Византии, оказало существенное влияние на формирование социально-правового статуса университетских профессоров в Европе в период позднего Средневековья и раннего Нового времени. Претензии профессоров на дворянские титулы и почести, широкие привилегии, которыми они пользовались во многих европейских государствах, а также особенности требований к профессиональным качествам восходят к законодательно оформленным позднеимперским и византийским традициям.

Анна Комнина. Алексиада / вступ. ст., пер. и коммент. Я. Н. Любарского. М., 1965. Кн. 3, ч. 4.

Boehm L. Libertas scholastica und Negotium Scholare: Entstehung und Sozialprestige des Akademischen Standes im Mettelalter // *Universität und Gelehrtenstand, 1400–1800*. Limburg/Lahn, 1970. S.15–61.

Busch A. Die Geschichte des Privatdozenten. Stuttgart, 1959.

Clark W. Academic Charisma and the Origins of the Research University. Chicago, 2006.

Clayes-Bouuaert F. L'ancienne Université de Louvain: Etudes et Documents. Löwen, 1959.

Constantinides C. N. Teachers and Students of Rhetoric in the Late Byzantine Period // *Rhetoric in Byzantium. Papers from the Thirty-fifth Spring Symposium of Byzantine Studies (Exeter College, University of Oxford, March 2001)* / ed. by E. Jeffreys. Burlington, 2003. P. 39–53.

Endres R. Adel in der frühen Neuzeit. Oldenburg, 1993.

Fuchs F. Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter. Amsterdam, 1964.

Fustel de Coulanges N. D. Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. P. 1. Paris, 1875.

- Georgii Akropolitae Opera* / rec. A. Heisenberg ; Vol. 2 — reprint. with correct. by P. Wirth. Stuttgart, 1978.
- Geschichte der Universität in Europa*. Bd. 1. München, 1993.
- Geschichte der Universität in Europa*. Bd. 2. München, 1996.
- Hammerstein N.* Zur Geschichte der deutschen Universität im Zeitalter der Aufklärung // *Universität und Gelehrtenstand, 1400–1800*. Limburg/Lahn, 1970. S. 145–181.
- Kagan R. L.* Universities in Italy, 1500–1700 // *Populations étudiantes*. Vol. 1. Paris, 1986. P. 153–186.
- Lange H.* Vom Adel des Doctor // *Das Profil des Juristen in europäischer Tradition*. Ebelsbach, 1980. S. 279–294.
- Lemasne-Desjobert M.-A.* La Faculté de Droit de Paris aux XVII^e et XVIII^e siècles. Paris, 1966.
- Morrell J. B.* Medicine and Science in the Eighteenth Century // *Four Centuries: Edinburgh University Life, 1583–1983*. Edinburgh, 1983. P. 38–52.
- Möller R.A.* Universität und Adel: Eine soziostrukturelle Studie zur Geschichte der bayerischen Landesuniversität Ingolstadt, 1472–1648. Berlin, 1974.
- Reformation der Stadt Wormbs [Speyer]*, 1499.
- Roevelink J.* Gedichteerd verleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de universiteit Utrecht, 1735–1839. Amsterdam, 1986.
- Speck P.* Die Kaiserliche Universität von Konstantinopel. München, 1974.
- The Oxford Dictionary of Byzantium* / ed. A. P. Kazhdan. N. Y. ; Oxford, 1991. Vol. 1–3.
- Theodosiani libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes* / hrsg. Th. Mommsen, P. M. Meyer, P. Krueger. Berolini, 1962.
- Visconti A.* De nobilitate doctorum legentium in studiis generalibus // *Studi di Storia e Diritto in onori di Enrico Besta, per il XL anno del suo insegnamento III*. Mailand, 1939. S. 221–241.

Статья поступила в редакцию 18.11.2010 г.

УДК 355.121.5(470)

О. В. Скобелкин

ИНОСТРАННЫЕ АВТОРЫ О ЗАПАДНОЕВРОПЕЙЦАХ В РУССКОМ ВОЙСКЕ 2-й ПОЛОВИНЫ XVI в.

Анализируются сведения о западноевропейцах на русской военной службе во 2-й половине XVII в., содержащиеся в сочинениях Г. Штадена, Дж. Горсея и Дж. Флетчера.

К л ю ч е в ы е с л о в а: западноевропейцы в русском войске; военная служба; свидетельства.

С первых лет существования Российского государства московские власти стали использовать западноевропейских военных специалистов, и с каждым десятилетием эта практика приобретала все большие масштабы. К сожалению, отечественная источниковая база, содержащая информацию об иноземцах на русской военной службе в XVI в., чрезвычайно скудна в силу прежде всего

практически полного отсутствия материалов делопроизводства. Их отсутствие не могут компенсировать глухие и, как правило, крайне лапидарные упоминания о служилых немцах в летописях и разрядных книгах. В этой ситуации особую ценность приобретают свидетельства иностранцев, побывавших в России в указанный период и включивших в свои сочинения информацию об иноземной составляющей русского войска.

В апреле 1564 г. в Россию приехал вестфалец Генрих Штаден. Сначала он был толмачом в Посольском приказе, затем стал опричником, принимал участие в разгроме Новгорода, в боевых действиях против крымских татар и обороне южных рубежей России («на берегу») и, наконец, в 1576 г. покинул Россию [см.: Полосин, 1925, с. 44–47]. В своем сочинении Штаден касается нескольких сюжетов, связанных с иностранцами на русской военной службе.

Во-первых, он приводит данные об их национальной принадлежности: «Большая часть иноземцев на Москве теперь немцы, черкасские татары и литовцы» [Штаден, с. 84]. Исходя из этого замечания, можно предположить, что перечень национальностей служилых иноземцев в 60–70-х гг. XVI в. был существенно шире, просто все остальные отнесены автором к «меньшей части».

Во-вторых, Штаден первым из иностранных авторов описывает порядок того, что в XVII в. будет называться «выходом на государево имя», т. е. порядок приезда в Россию иноземца, желающего послужить в русском войске, и прием его русскими властями. Приведем соответствующую часть сочинения немца-опричника полностью.

Если кто-нибудь — безразлично кто, но только не еврей¹ — приходит на русскую границу, его тотчас же опрашивают — зачем он пришел. Скажет он, что хочет служить великому князю, его опять расспрашивают о различных обстоятельствах. Все сообщения и речи тайно записываются и запечатываются. А его самого немедленно отправляют на ямских с дворянином к Москве [куда доставляют его] в 6 или 7 дней. В Москве его снова тайно и подробно расспрашивают обо всех обстоятельствах, и если его показания согласуются с тем, что он говорил на границе, ему дают тем большую веру и жалуют его. Несмотря ни на лицо, ни на одежду, ни на знатность, но ко всем его речам относятся с большим вниманием. В тот самый день, когда он приходит на границу, ему выдаются еще деньги на корм до Москвы. В Москве также в день приезда выдают ему кормовую память, т. е. записку о кормовых деньгах [Штаден, с. 80–81].

В-третьих, автор записок указывает на два вида службы иноземцев, разделяя «конных немецких воинских людей» и «пеших» [Там же, с. 81]. Учитывая, что

¹ Антисемитизм русских властей при допуске иностранцев в Россию можно, наверное, объяснить личными пристрастиями Ивана Грозного, о которых упоминает Одерборн: «Грозный был веротершим. Только евреев он ненавидел: по его мнению, нельзя было верить людям, предавшим Христа» [Полосин, 1963, с. 213]. Правда, Д. Принц полагал антисемитизм присущим всем русским: «От иудеев и их религии они до того отвращаются, что совершенно никому из них не позволяют жить в своих владениях; поэтому если Московский князь возмет их в полон при завоевании города или какой либо крепости, то приказывает всех таковых топить в воде» [Даниил Принц из Бухова, с. 42]. Но и в этом сообщении можно видеть не столько настроения русского общества, сколько позицию властей вообще и Ивана Грозного в частности.

писавший о временах Василия III Герберштейн знал иноземцев только среди пушкарей и пехотинцев, можно предположить, что в коннице иностранные военные появляются в промежутке между двадцатыми и шестидесятыми годами XVI в.

В-четвертых, Штаден приводит новые, отличные от сведений Герберштейна и более подробные данные о размещении иноземцев в Москве. Он называет два места компактного расселения иностранцев: одно — это слобода «по другую сторону Яузы на Болванке» (ниже он называет эту слободу Болвановкой), где «живут все немецкие воинские люди, которыми великий князь пользуется против крымского царя». Другое место расположено к северу от центра столицы, и там живут «немецкие стрелки и русские стрельцы». Обе эти слободы расположены в четверти мили от «Москвы» [Штаден, с. 23, 30]².

Какая-то часть служилых иноземцев жила в собственных дворах. Описывая Москву вместе со слободами, Штаден замечает, что там «много... дворов иноземцев, которые все служат великому князю. Все эти дворы были свободны от государевой службы» [Там же, с. 64]. Последняя фраза не вполне понятна; видимо, здесь имеется в виду свобода от тягла.

До пожара 1571 г. иностранцам давались уже готовые дома с приусадебными участками (правда, остается неясным, откуда брался этот резерв дворов). После пожара власти стали выделять «на Болвановке за городом» дворовые места размером 40 x 40 саженей; «место это огораживается, и иноземец волен здесь строиться, как ему угодно». При этом можно было рассчитывать и на некоторую финансовую помощь для постройки дома со стороны властей. Однако, по данным Штадена, все это распространялось лишь на иностранцев конной службы, «а не пеших» [см. : Там же, с. 81].

Во дворах служилых иноземцев могли быть русские слуги. Об этом автор записок упоминает, говоря, что иноземцам запрещено «принуждать своих русских слуг и служанок есть мясо Великим постом, по средам и по пятницам» [Там же, с. 84].

В-пятых, в записках Штадена впервые подробно описываются сюжеты, связанные с выплатой жалованья служилым иноземцам.

Иностранцы, находившиеся на службе, получали кормовые деньги и мед. Основанием для получения того и другого служил специальный документ — *к о р м о в а я п а м я т ь*. Она была действительна в течение года, и с наступлением нового года (1 сентября) иноземец «должен был требовать себе новую» [Там же, 39, 63].

Обычно мед и деньги выдавались ежедневно «на Jamme³ или на дворе» («в Москве устроен особый двор») [Там же, с. 39, 81]. Однако, видимо, нередко

² К сожалению, И. И. Полосин, переведивший сочинение Штадена, не указал, какое слово в оригинале соответствует употребленному им прилагательному «немецкий». Однако, судя по контексту, речь идет не о выходах из германских земель, а об иностранцах-западноевропейцах вообще, т. е. *немецкий* употреблено в старинном русском значении, соответствующем современному *западноевропейский*.

³ Значение слова «Jamme» неясно. По мнению И. И. Полосина, это мог быть Сытенный или Кормовой двор, какое-то урочище в Москве [см.: Штаден, с. 163, примеч. 130].

иностранцы получали деньги и питье не постоянно, а сразу на какой-то срок (10, 20 или 30 дней).

Описывая порядок выдачи жалованья, Штаден рассказывает и о хитростях, к которым прибегали ответственные за выдачу русские приказные. Если кто-то из иностранцев получал деньги не ежедневно, а сразу за предшествующий срок, то с таких «постоянно удерживали 1/10 часть».

Плutowали и при выдаче меда. Мед варился плохой и хороший; причем варка плохого сберегала треть меда-сырца. Обычно сытники «отмеривали мед в погребе по своему желанию и потом уже выносили его наружу и наливали иноземцу в его бочку. Соглашался тот его принять — хорошо, а коли нет, то не получал ничего». Видимо, из погреба выносили, как правило, плохой мед. Но было средство получить и качественный продукт. «А если иноземец одаривал этих ребят, то сам мог идти в погреб и сам цедить мед [на пробу] изо всех бочек. Какой мед более других приходился ему по вкусу, того он и приказывал тогда нацедить и получал [конечно] свою полную меру» [Штаден, с. 40].

Рассказывает Штаден также о существовании другого вида жалованья — поместного. Основанием для получения поместья была память, которая направлялась (кем — неясно) в Поместный приказ и в которой говорилось о пожаловании царем того или иного иностранца тем или иным количеством земли. При этом Штаден называет варианты размеров пожалования: 100, 200, 300 и 400 четвертей.

Приискивать себе землю иноземец должен был сам, расспрашивая «там и здесь» и разыскивая бездетных вдов-помещиц. Вдове оставлялось небольшое прожиточное поместье, а из остальной земли «иноземцу отделялось по книгам по его указанию» [Там же, с. 81].

О других путях получения поместной земли Штаден не говорит, зато приводит весьма любопытные подробности процедуры наделения землей служилого иноземца: «Озимое он получает в земле, а для покупки семян на яровое ему даются деньги. Еще некая сумма денег жалуется ему на обзаведение. Вместе с тем [жалуется ему] платье, сукно и шелковая одежда, несколько золотых, кафтаны, подбитые беличьим мехом или соболями. А когда иноземец снимал жатву, с него вычитывали кормовые деньги» [Там же]. Это, пожалуй, единственное свидетельство о государственной помощи начинающим помещикам-иноземцам. Любопытно и то, что выплата кормовых денег прекращалась не с получением поместья, а с получением первого урожая в этом поместье. Что касается пожалования одежды, то здесь скорее всего следует видеть так называемое выходное жалованье, т. е. награду за приезд в Россию и поступление на службу, а не некую добавку к полученной поместной земле. Автор записок почему-то объединил эти два совершенно разные виды жалованья, хотя их могли разделять годы (от приезда в Россию до получения поместья).

Став помещиком, служилый иноземец становился и дворовладельцем. В этом качестве, по мнению Штадена, он находился в худшем положении, нежели русские помещики, потому что «сельские приказчики или фогты русских бояр считают всегда так, чтобы крестьяне иноземца несли всю тяжесть. Оттого

поместье иноземца пустело в день св. Юрия». До кризиса, поразившего Россию в 70—80-х гг. XVI в., если из поместья иноземца уходили крестьяне, он мог получить новое, и так «до трех раз». С наступлением кризиса ситуация резко изменилась: «Теперь же с великим трудом и то однажды иноземец может получить населенное крестьянами поместье. Причина: в большей своей части страна запустела» [Штаден, с. 84].

В-шестых, есть в сочинении Штадена и некоторые данные об участии служилых иноземцев в боевых действиях. Так, говоря о слободе «на Болванке», он говорит, что там живут «все немецкие воинские люди, которыми великий князь пользуется против крымского царя» [Там же, с. 23].

Сочинение Штадена — это, кажется, единственный источник, в котором говорится, что в состав опричного войска сразу же были включены и иностранцы: «великий князь Иван Васильевич всея Руси... <...> ...отобрал из своего народа, а также из иноземцев особый избранный отряд» [Там же, с. 43].

Упоминает автор записок и о вероисповедании служилых иноземцев. Среди них были люди «русской веры», т. е. перешедшие в православие. Такие переходы совершались добровольно: «иноземец — кем бы он ни был — волен в своей вере». Православные иноземцы, по выражению Штадена, «дружили с великим князем». Правда, он добавляет, что теперь они убиты. Произошло ли это на войне или же перешедшие в православие иноземцы стали жертвами опричнины, остается только гадать. Видимо об опричной политике Ивана Грозного идет речь, когда Штаден добавляет, что «крещеных великий князь использует против некрещеных; некрещеных же против крещеных землевладельцев и их людей» [Там же, с. 84].

Наконец, Штаден первым из иностранцев довольно подробно описывает отдельные моменты правового положения служилых иноземцев в России, и прежде всего те льготы, которые имели иностранные служилые люди в отличие от русского населения.

Иностранцы могли держать у себя на дворе кабак, в то время как русским было строго запрещено заниматься «кормчеством». Иноземцы и их слуги были освобождены от таможенных пошлин «по всей стране». Были серьезные привилегии и по судебным делам: специальные грамоты давали иноземцу право являться в суд по искам русских только дважды в году — на Рождество и на Петров день. При этом доставить его в суд мог только тот пристав, чье имя было написано в грамоте; со всеми другими приставами, если они являлись, владелец такой грамоты мог обойтись «по своему желанию», и жаловаться на это приставам было нельзя. Иноземцы же имели право «хоть каждый день жаловаться на русских». Впрочем, эти судебные льготы, распространялись далеко не на всех иностранцев: во-первых, так было «раньше», а во-вторых, льготные грамоты выдавались великим князем лишь «некоторым иноземцам», хотя и «нередко» [Там же, с. 82].

Привилегированным было положение иноземцев и в отношении применения смертной казни. «Чтобы дойти до смертной казни, иноземцу не так-то легко провиниться. Только когда уличат его, будто он хотел бежать за рубеж, — тогда — да поможет ему Бог!»

Судя по словам Штадена, во времена Грозного, в отличие от эпохи его отца, от которой писал Герберштейн, уйти со службы и покинуть Россию иноземцу было уже нелегко. «И редко бывает, чтобы иноземец дерзнул бежать из страны, ибо дорога в страну широка и просторна, а из страны — узкая-преузкая» [Штаден, с. 84].

Следующим после Штадена иноземцем, жившим в России и оставившим ее описание, был англичанин Джером Горсей. В Россию первый раз он приехал в 1573 г., а окончательно покинул ее в 1591 г., четырежды за этот срок выезжая в Англию и возвращаясь обратно. Одним из результатов пребывания Горсея в России стало появление трех его сочинений: «Торжественная и пышная коронация Федора Ивановича...», «Трактат о втором и третьем посольствах мистера Джерома Горсея» и, наконец, наиболее объемная и важная по своей информативности работа «Путешествия сэра Джерома Горсея» [см.: Севастьянова, с. 13, 15].

В отличие от Штадена, Горсей не упоминает немцев, зато в его описании появляются англичане, голландцы, ливонцы, французы, шведы и шотландцы. При этом все эти иноземцы задействованы в стотысячной конной армии, которая ежегодно в течение мая, июня и июля противостоит крымским татарам, и не используются на западном направлении против Польши и Швеции. Горсей оговаривает малочисленность служилых иноземцев в сравнении с русскими служилыми людьми: он называет их «немногими» в составе войска из ста тысяч подданных русского царя [Горсей, с. 69]. В этом известии обращает на себя внимание факт использования западноевропейцев на южном направлении — против Крыма; в XVII в. «тульская служба» станет традиционной для так называемых московских иноземцев.

Говорит Горсей и о путях, которыми выходцы из стран Западной Европы оказывались в составе русского войска. Первый — это переход на русскую службу военнопленных, захваченных в ходе боевых действий. Горсей рассказывает, что в ходе войны со Швецией русские захватили много пленных, среди которых, кроме шведов, «были лифляндцы, французы, шотландцы, голландцы и небольшое число англичан». Все они были наемниками в армии шведского короля. Большая часть пленных была размещена под Москвой («отдельно вне города»), другие — отосланы «в отдаленные места страны». Среди тех, кто оказался под Москвой, было «85 несчастных шотландских солдат, уцелевших от семисот человек, присланных из Стокгольма, а также трое англичан, которые были в самом жалком положении». По словам Горсея, он убедил Ивана Грозного («отважился устроить так, чтобы царю рассказали») принять на службу этих иноземцев, поскольку, в отличие от шведов, поляков и литовцев, они не были врагами царя.

Правда, из рассказа не совсем ясно, кто именно был принят на русскую службу. С одной стороны, этот фрагмент «Путешествий» посвящен главным образом тому, как Горсей благодетельствовал пленных шотландцев и англичан. Он якобы добился («используя мой кошелек») того, чтобы их поселили в Немецкой слободе; разъяснил властям, что шотландцы «представляли целую нацию странствующих искателей приключений, наемников на военную служ-

бу, готовых служить любому государю-христианину за содержание и жалование», и, в связи с этим, убедил принять их на службу («если его величеству будет угодно назначить им содержание, дать одежду и оружие, они могли бы доказать свою службу, показать свою доблесть в борьбе против его смертельного врага — крымских татар»).

В то же самое время, отмечая, что этот его совет был принят и вчерашние военнопленные были взяты на службу, Горсей говорит: «...вскоре лучшие воины из этих иностранцев были помилованы и отобраны, для каждой национальности был назначен свой начальник...» Из этого сообщения следует, что на службу приняты были не только шотландцы и англичане, но и военнопленные других национальностей. Тем более что ниже Горсей говорит о «двенадцати сотен этих солдат», которые успешно сражались с татарами [Горсей, с. 70], в то время как шотландцев и англичан среди пленных было всего восемьдесят восемь человек. Обращает на себя внимание также и тот факт, что иноземцы были организованы в какие-то отряды по национальному признаку, причем каждый их отрядов имел своего командира-земляка. Следует заметить, что эта традиция продолжится и позже.

В этом же рассказе Горсей помещает важную информацию о жалованье служивых иноземцев. После зачисления пленных иностранцев на службу «им дали деньги, одежду и назначили ежедневную порцию мяса и питья, дали лошадей, сено, овес» [Там же]. Это, по-видимому, самое первое известие о выплате своего рода премии за вступление на русскую службу (дальний аналог так называемого «выходного жалованья» или жалованья за «выезд», т. е. за добровольный приезд в Россию с целью поступления на службу, о чем сохранилось много сведений в документах XVII в.) и о назначении так называемого «поденного корма» для людей, а также «лошадиного корма». В следующем столетии этих людей называли бы кормовыми иноземцами.

Несколько необычной в этой ситуации выглядит выдача лошадей принятым на службу иноземцам; более логичной была бы их покупка самими служивыми людьми за счет полученных денег. Но, как бы то ни было, принятые на службу военнопленные стали не пехотинцами, а конными воинами. Горсей подчеркнул это еще раз, говоря о том, что крымские татары «были до смерти напуганы стреляющей конницей». Что касается вооружения этой конницы, то, «вооружили их мечами, ружьями и пистолями». При этом автор «Путешествий» уверяет читателя, что до появления на южных рубежах России иностранцев, крымские татары не сталкивались до того с ружьями и пистолями; поэтому они «были напуганы до смерти... и кричали: “Прочь от этих новых дьяволов, которые пришли со своими метающими “паффами”» [Там же, с. 70—71]. Это последнее известие выглядит неправдоподобным хотя бы уже потому, что, по данным самого Горсея, именно русские власти вооружили иноземцев ручным огнестрельным оружием; остается неясным, что мешало им использовать ружья и пистолы против татар до появления в войске иностранцев. Что касается составляющих набора вооружения этой «стреляющей конницы», то не исключено, что мы имеем дело с первым для России описанием рейтарских подразделений.

Позднее порядок содержания этой группы (скорее, какой-то ее части) служилых иноземцев изменился: «они получили пожалования и земли, на которых им разрешалось поселиться» [Горсей, с. 71]. Иными словами, поденный корм (и, возможно, денежное жалованье) был заменен поместным жалованьем (скорее всего, с процедурой верстания поместным и денежным окладом), и кормовые иноземцы превратились в иноземцев поместных.

Есть у Горсея и очень краткая информация о браках и семейном положении этих бывших военнопленных: они «женились на прекрасных ливонских женщинах, обзавелись семьями» [Там же, с. 71]. Это, кажется, самое первое по времени свидетельство о традиции служилых иноземцев жениться на живущих в России иноземках; а ливонские женщины в данном случае — это, без сомнения, члены семей ливонцев, насильно переселенных Иваном Грозным в Россию. Судя по всему, Горсей не знал случаев, когда иностранцы женились бы на русских женщинах.

Есть в «Путешествиях сэра Джерома Горсея» и данные о вероисповедании наемников короля Швеции, ставших наемниками русского царя. Автор уверяет читателя, что благодаря его связям при московском дворе он «добился разрешения для них построить церковь, много жертвовал на нее, доставил им хорошо обученного священника, который вел службу и собрание прихожан каждый воскресный день по их лютеранской вере» [Там же, с. 70]. Хотя эти сведения относятся к пленным, размещенным под Москвой, а далеко не все они поступили на русскую службу («лучшие воины») и, возможно, среди них были и католики, тем не менее указание на принадлежность к лютеранству относится и к какой-то части тех, кто вошел в состав русского войска.

В рассказе о поступлении пленных на русскую службу есть еще одна подробность. Говоря о назначении начальника «для каждой национальности», Горсей называет предводителя шотландцев — им стал Джими Лингет (Jeamy Lingett), «доблестный воин и благородный человек» [Там же].

Другая группа иностранцев попала на царскую службу также из шведской армии, но не в качестве военнопленных, а дезертировав и перейдя на сторону русских. Всю эту группу (по-видимому, небольшую) Горсей называет «несколько шведских солдат». Однако она насчитывала явно не менее десятка человек (среди них только шотландцев было семеро) и состояла, как минимум, из шведов и шотландцев [Там же, с. 107]; возможно в нее входили наемники и других национальностей. В этом рассказе об иноземцах, точно так же, как и в предыдущем, Горсей усиленно подчеркивает свое участие в судьбе шотландцев. В силу этого на страницы «Путешествий» попали некоторые любопытные подробности.

Во-первых, в этой группе, кроме шестерых шотландских солдат, оказался офицер-шотландец, «храбрый шотландский капитан» Габриэль Элфингстоун (Gabriell Elphingsten), который был своего рода командиром над своими земляками.

Во-вторых, известие Горсея несколько приоткрывает некоторые этапы жизни и службы этих шотландцев до появления их в России. Оказывается, до того, как попасть в шведскую армию, все они служили королю Дании. Об этом не-

двусмысленно свидетельствует рекомендательное письмо, принесенное Горсею шотландским капитаном. Письмо было написано неким полковником Стюартом (тоже шотландцем!), под началом которого Элфингстоун и шестеро солдат служили в датском войске.

В-третьих, примечательно упоминание самого рекомендательного письма: по-видимому, это самое первое по времени свидетельство существования такого рода документов у иностранцев, поступающих на русскую службу.

Горсей кратко описывает и дальнейшую судьбу шотландцев, и свое участие в ней: «Они умоляли меня устроить их на службу и помочь в нужде. Я дал им 300 талеров, купил платье, пистолы и мечи: когда они маршировали теперь, то смотреть на них было куда приятней, чем на шведов, которые пришли вместе с ними. Я добился, чтобы капитана Элфингстоуна поставили начальником над ними, им дали жалованье, лошадей, назначили для пропитания мясо и питье». Здесь мы встречаем уже знакомый принцип формирования подразделений из иноземцев по этническому признаку и назначения командирами таких подразделений людей той же национальности; почти тот же набор оружия (за исключением «ружей»); те же выдача лошадей и выплата «жалованья», под которым следует понимать денежное жалованье, и выдача поденного корма. Несколько странным выглядит лишь покупка для них самим Горсеем одежды и оружия. Однако это, скорее всего, не более чем фигура речи, означающая, что автор «Путешествий» ссудил шотландцев из собственного кошелька не только тремястами талеров, но и деньгами на экипировку. Об этом, на наш взгляд, свидетельствует помещенное в конце рассказа о шотландцах замечание Горсея: «они... не смогли ни вернуть мне долг, ни вознаградить меня...» [Горсей, с. 107].

Кроме двух шотландских капитанов, Горсей называет по имени еще одного иноземца — «знатного человека из Гельдерланда, герра Захариуса Глизенберга (Glisenberght)». Сведения о нем содержатся в рассказе Горсея об одном из его отъездов из России — поездке в Англию в качестве посла царя Федора Ивановича в 1587 г. К этому времени Глизенберг уже умер, но до смерти он был «главным начальником наемной конницы царя» [Там же, с. 110]. Умер он в России, и здесь же оставался его 10-летний сын, которого российские власти не хотели отпускать на родину отца. Судя по тому, что за мальчика ходатайствовали правительство и король Дании, сам Захариус Глизенберг был датчанином.

В конце 1588 г. во главе английского посольства в Россию прибыл Дж и л ь с Ф л е т ч е р. В Московии пробыл он недолго (уехал не ранее середины лета следующего (1589) года [см.: Рогожин, с. 6]), но результатом его пребывания стало одно из наиболее серьезных и глубоких описаний России XVI в. Хотя, разумеется, о служилых иноземцах он располагает гораздо меньшими сведениями, чем, например, Штаден, что вполне понятно, учитывая сроки их пребывания в России, а также пути знакомства со страной наемника-немца и дипломата-англичанина.

Флетчер первым из иностранцев отмечает существование специального органа, «имеющего в своем заведовании земли, определенные на содержание

иноземных наемных солдат» [Флетчер, 2002, с. 66]. Сам он это учреждение называет «Prechase Shisiuoy Nemshoy», что К. М. Оболенский в свое время перевел как Приказ иноземный [Флетчер, 1906, с. 7]. То, что речь идет именно о приказе, сомнений не вызывает: во-первых, он упоминается наряду с другими приказами в рассказе о месте приказной системы в финансовом устройстве России; во-вторых, *prechase* явно искаженное русское слово «приказ». Однако, по мнению издателей текста Флетчера 1966 г., словосочетание, использованное английским дипломатом, является не вполне удачной попыткой передать русское звучание названия ведомства на английском, поэтому в указанном издании использован другой вариант — *Prikaz Shishevoi Nemskii* [см.: Fletcher, p. 57, 162, 174].

Что же касается использования переводчиком названия *Иноземный*, то здесь скорее всего мы имеем дело с переносом реалий XVII в. в предшествующее столетие, поскольку по русским документам первой название приказа в форме «иноземского» впервые появляется только в 1624 г. [см.: Лаптева, с. 112].

В процитированном отрывке содержится указание и на источник содержания иностранных наемников в русском войске. В одной из глав своего сочинения Флетчер рассказывает о финансовой системе в России, и в частности о том, что целый ряд приказов имеет подведомственные территории, с которых получает часть государственных взиманий, расходуя ее на тех служилых людей, которые находятся в его подчинении. Одним из таких приказов и был приказ, ведавший служилыми иноземцами. Следовательно, земли, которые, по словам Флетчера, находятся в его «заведовании», идут не в поместную раздачу, а поставляют деньги и, может быть, продукты, идущие на денежное жалование, а возможно, и корм (включая и «питье») иностранцам.

Здесь же Флетчер приводит перечень национальностей служилых иноземцев: поляки, шведы, голландцы, шотландцы «и прочие». В другой главе своего сочинения, посвященной русскому войску, Флетчер расширяет и несколько уточняет этот список: из западноевропейцев он называет еще и датчан, называет греков и турок; кроме того, поясняет, что под поляками он имеет в виду «черкес, подвластных полякам» [Флетчер, 2002, с. 87].

Приводит Флетчер данные и о численности иностранцев. «Наемных солдат из иностранцев (коих называют немцами) у них в настоящее время 4300 человек»: поляков — около 4 тыс. человек, из которых 3,5 тыс. размещены в крепостях; голландцев и шотландцев — около 150; греков, турок, датчан и шведов, составляющих один отряд, — около 100. Приводя эти сведения, автор мимоходом упоминает и об особенностях использования служилых иноземцев в русском войске: всех вышеперечисленных «употребляют только на границе, смежной с татарами, и против сибиряков», на западных же границах, в войне с поляками и шведами используют татар [Там же]⁴.

⁴ Флетчер не вполне понял, кого в России называли «немцами». Это название распространялось только на западноевропейцев, за исключением итальянцев. Ни поляков, ни греков, ни турок, ни тем более черкасов (украинцы, украинские казаки, которых Флетчер называет черкесами) немцами не называли.

Последний сюжет Флетчера об иноземцах в России посвящен крещению в православие. Отметив, что русские «стараются... всеми силами обращать в свою церковь как неверных, так и христиан других вероисповеданий, подвергая их вторичному крещению по русскому обычаю», он, единственный из иностранных авторов, приводит описание подготовки иностранца к обряду, т. е. пребывание его «под началом»: «Принимающие... русское крещение отправляются сперва в какой-либо монастырь, для того чтобы ознакомиться здесь с учением и обрядами церкви. При этом соблюдаются следующие обыкновения. Прежде всего на иноверца надевают новое чистое платье русского покроя и возлагают ему на голову венец или (летом) гирлянду из цветов; потом помазуют голову его елеем, в руки дают восковую свечу и читают над ним молитвы по четыре раза в день в продолжение целой недели. Во все это время он должен воздерживаться от мясной и молочной пищи. По прошествии семи дней он обмывается в бане, а в восьмой день приводится в церковь, где монахи наставляют его, как должно оказывать почтение образам, поклоняться перед ними, ударять головой в землю, креститься и другим подобным обрядам, составляющим самую значительную часть русской религии» [Флетчер, 2002, с. 136].

Горсей Дж. Записки о России. М., 1990.

Даниил Принц из Бухова. Начало и возвышение Московии. М., 1877.

Лаптева Т. А. Документы Иноземного приказа как источник по истории России XVII века // Архив русской истории. Вып. 5. М., 1994.

Полосин И. И. Западная Европа и Московия в XVI в. // Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. Записки немца опричника. М., 1925.

Полосин И. И. Немецкий пастор Одерборн и его памфлет об Иване Грозном (1585) // Полосин И. И. Социально-экономическая история России XVI – начала XVII в. М., 1963.

Рогожин Н. М. Иностранные дипломаты о России XVI–XVII веков // Проезжая по Московии : (Россия XVI–XVII веков глазами дипломатов). М., 1991.

Севастьянова А. А. [Предисловие] Джером Горсей и его сочинения о России // Горсей Дж. Записки о России, XVI – начало XVII в. М., 1990.

Флетчер Дж. О государстве Русском. СПб., 1906.

Флетчер Дж. О государстве Русском. М., 2002.

Штаден Г. Записки немца-опричника. М., 2002.

Fletcher G. Of the Rus Commonwealth. Ithaca ; N.Y., 1966.

Статья поступила в редакцию 28.01.2011 г.

УДК 821.133.1-3 + 355.483(44)

А. А. Постникова

РУССКАЯ КАМПАНИЯ 1812 г.: ПО СЛЕДАМ СТЕНДАЛЯ

Автор освещает участие Стендаля в русской кампании 1812 г. и затрагивает проблему воздействия событий войны на мировосприятие будущего писателя. Статья основана на анализе личной переписки Стендаля, его художественных произведений и воспоминаний участников похода. Большая часть анализируемых материалов на французском языке.

Ключевые слова: Стендаль; русская кампания 1812 г.; мировосприятие писателя; личная переписка; воспоминания.

Стендаль признан мастером психологического романа. Вся его жизнь и творчество были наполнены наблюдением за «движением человеческого сердца» [Стендаль, 1958, с. 107]. Осознавая, что наступит время, когда им начнут интересоваться, он оставил запись в своем дневнике, предрекая любопытных: «Если вы сдержанны, не читайте. Если вы не сдержанный, но честный человек, прочтите, но не повторяйте того, что вы узнаете» [Stendhal, 1937, p. 117]. Видимо, нам придется пренебречь словами писателя.

Оставаясь загадкой, Стендаль свою жизнь описал в художественных произведениях. Вполне искренне в трудах он заявлял о тех событиях, которые изменили его жизнь и взгляд на свое призвание. Тем самым, прислушавшись к голосу Стендаля, мы узнали, что именно 1812 г. стал переломным в его биографии: «Я, к сожалению, далеко не тот человек, каким был в 1811 г. Вернувшись из Москвы, я не нашел в себе больше тех страстей, которые нарушали однообразие моей жизни» [Стендаль, 2001, с. 131].

Эти слова наводят нас на мысль, что русская кампания отчасти повлияла на формирование известного всему миру писателя Стендаля. К сожалению, исследователи его творчества и жизни поверхностно обратились к участию Стендаля в войне 1812 г. или вообще не упомянули о нем. В свою очередь, дни в России долго тревожили память писателя и оставили свой след почти во всех его произведениях.

Это был человек, далекий от принятия активного участия в военных действиях. П. Мериме точно сформулировал отношение Стендаля к войне: «Храбрец от природы, он наблюдал войну с любопытством, но совершенно хладнокровно. Не будучи совсем нечувствительным к великим и героическим сценам, которые ему приходилось видеть, он все же в особенности любил наблюдать смешные и нелепые стороны войны» [Мериме, с. 87].

Стендаль, увлеченный музыкой и театром, последовал за великой армией Наполеона в Россию. Что же ожидал он получить от этой поездки? На тот момент Россию Стендаль представлял дикой, пустынной, как и большинство европейцев начала XIX в.: «В этих окрестностях в течение 50 лье могут отсутствовать признаки жизни (это доходит до абсурда)» [Stendhal, 1933–1934, p. 55]. Очевидно, что Стендаль не надеялся испытать в России творческое вдохнове-

ние, как в Италии. В одном из писем своему другу он признался, что в этой авантюре ему хотелось бы получить титул барона. Так, 23 июля в качестве интенданта Бейль отправился в Россию. Он присоединился к армии 14 августа. Но не успел еще Стендаль ощутить войну, а она уже его разочаровала, навевая скуку. «Я несчастлив, что попал сюда. Как меняется человек! Иной раз я готов расплакаться. В этом океане варварства моя душа не находит отклика не в чем!» — написал он из Смоленска другу Ф. Фору [Stendhal, 1933—1934, p. 55].

Разочарование заставило Стендаля оценить наиболее яркие моменты своего прошлого: «С тех пор, как я узнал Милан и Италию, все, что я вижу, отталкивает меня своею грубостью» [Ibid.]. Война не оправдала романтических чувств и амбиций Бейля. Судя по письмам и последующим произведениям, сражения не затрагивали писателя. Он не нашел в них ожидаемого героизма, скорее он подходил к их описанию с иронией. Даже Бородинское сражение не оставило в памяти Бейля каких-то ярких впечатлений.

В «Записках эготиста» он вспомнил лишь один момент, не несущий какого-то глубоко смысла: «В вечер после Бородинской битвы, заметив в нескольких шагах от себя останки 2 или 3 гвардейских генералов, я не мог удержаться, чтобы не заметить: “Несколькими нагледцами стало меньше!” — замечание, чуть не погубившее меня и показавшееся бесчеловечным» [Стендаль, 1959б, с. 3].

Заметим, что это описание сражения Стендаль дал много лет спустя. Думали ли на тот момент он именно так? В его переписке за 1812 г. нам не встретилось упоминаний о Бородинском сражении. Возможно, Стендаль не был очевидцем этого события. Следует заметить, что в своих письмах в начале войны писатель выступает в качестве наблюдателя, и достаточно сложно выявить те события, в которых он принял непосредственное участие.

Вовлечься в борьбу за жизнь на войне Стендалю пришлось в Москве. С первого же дня (14 сентября) пребывания в городе он все события фиксировал в дневнике. Как мы узнали из его записей, полк, в котором находился А. Бейль, расположился в Апраксинском дворце, во дворе которого писатель мог видеть пожар Китай-города. В первый же день, преодолевая зубную боль, Бейль принял участие в тушении пожаров. Огонь распространился до Апраксинского дворца, поэтому Стендаль со своими товарищами отправился на поиски более безопасного места для бивака.

Переезд из Апраксинского дома во дворец Ростопчина с обширной библиотекой позволил Бейлю на мгновение опять закрыться в своем мире книг: «Мы остановились в этом доме, где, по-видимому, жил богатый человек, любящий искусство. Там были прекрасные книги. Например, Бюффон, Вольтер» [Stendhal, 1937, p. 110]. Судя по словам писателя, в Москве он увлекался не только литературой, но и находил время принять участие в грабежах: «Я устал; приходилось идти пешком, так как моя коляска была загружена добром, награбленным моими слугами» [Ibid., p. 114].

Обозревая горящую Москву, Стендаль исполнился ненавистью к организаторам пожара: «Мы видели огромные горящие пирамиды из мебели. Это дело совершил коварный Ростопчин» [Ibid., p. 115]. Можно сказать, что эти первые

два дня заставили Стендаля почувствовать опасность и ответственность за товарищей. Прежнее ироничное описание войны исчезло.

Опасность заставила Стендаля задуматься о смерти и сохранить память о своем пребывании в Москве. Возможно именно поэтому, он решил свой дневник когда-нибудь отправить Фору: «Сохрани эту болтовню. Необходимо, чтобы я извлек пользу из этих страданий» [Stendhal, 1937, p. 115].

После 15 сентября на две недели Стендаль замолк. Даже до безумия равнодушного к войне писателя постигло разочарование, и только 30 сентября на бумагу вырвалась нота отчаяния: «В течение 6 дней книги мне причиняют только отчаяние. Неприятности не прибавляют сил. Я надеюсь, что моя работоспособность вернется» [Ibid., p. 117]. Он постарался сдержать это отчаяние в письмах из Москвы. В них мы не увидим ни жалоб, ни страха, а лишь безмятежные наблюдения писателя.

2 октября Стендаль нашел возможность написать письмо другу. В нем перед нами предстает А. Бейль — писатель-одиночка, равнодушный ко всем происходящим вокруг него событиям. Накал опасности, связанный с пожарами, угас, и Стендаль в письме к другу пожелал не возвращаться к этим событиям. Может быть, он посчитал это уже лишним, бессмысленным.

По всей видимости, в этом письме Бейль заполнил пробел дневника. Так, из него мы узнали, что Стендаль дни с 16 сентября — 2 октября провел в одиночестве, насладившись написанием пьесы «Летелье»: «Я заболел, и мне дали 8 дней одиночества. В этих обстоятельствах я должен возобновить написание «Летелье». Это у меня вызывает сладкие воспоминания» [Stendhal, 1933—1934, p. 67].

Возможно, главный герой его произведения напомнил ему тщеславного юношу, который отправился в «дикую» Россию за баронским титулом, и жестоко разочаровался. Через несколько лет в предисловии к этой пьесе Стендаль вспомнил о своем пребывании в Москве: «Я возобновил тогда Летелье для того, чтобы занять эти пустые дни» [Stendhal, 1931, p. 14]. Конечно, спустя несколько лет, взглянув на московские дни с высоты писателя, он посчитал это бесполезным пребыванием.

Вопреки всей сложившейся в Москве ситуации Стендаль подбадривал себя мыслями об искусстве: «Кажется, мне придется провести здесь зиму; надеюсь, что у нас будут концерты» [Stendhal, 1933—1934, p. 69].

Конечно, в очередной раз писатель не избежал возможности охарактеризовать свое окружение: «Я тебе пишу в маленьком дворце, где два молодых дурака, прибывшие из Парижа, рассказывают о том, чем бы они хотели заняться в Москве» [Ibid., p. 70].

По всей видимости, только в дневнике писатель позволил себе высказать труднейшие проблемы, не побоялся признать усталость. В письме к Фору он избежал высказываний о себе, лишь судорожно и увлеченно говорил об искусстве, о своей будущей пьесе. Не удивительно, ведь Стендаль был чрезвычайно скрытным человеком, в жизни которого самым ценным были творческие идеи, даже автобиография была замаскирована им в качестве художественного произведения.

Возникает даже сомнение в степени искренности Бейля со своим другом Фором, так как в «Анри Брюларе» Стендаль откровенно признался: «Феликсу Фору, давнему моему другу по Греноблю, были совершенно чужды мои безумные рассказы о любви и искусствах. Это отсутствие безумия у него всегда притупляло нашу дружбу, которая, по сути, была лишь попутчеством в жизни» [Стендаль, 1959а, с. 103].

Стендаль не проявлял искренность в общении с людьми, в чем он признался в письме к сестре из Москвы [Stendhal, 1933–1934, р. 97]. Таким образом, полностью мы можем доверять только мыслям писателя, изложенным им в дневнике.

После того, как Стендаль поделился своими философскими размышлениями с Фором, 4 октября без каких-либо комментариев он отправил ему дневник за 1812 г. На этом он прекратил с ним переписку в Москве. Таким образом, его другу оставалось думать, что Бейль проведет зиму в Москве за написанием «Летелье». 15 октября Стендалю уже было известно, что вскоре армия оставит город, но своим близким он об этом не сообщил.

16 октября писатель оправил письмо графине Дарю, где в шуточной форме описал свои приключения в Москве. Он довольно легкомысленно дал понять графине цель своего путешествия: «Я поехал в Россию в поисках развлечений, я их не нашел и все время думаю о Франции» [Lettres interceptées..., р. 161]. Стендаль в этом письме постарался передать не только состояние скуки, разочарования, но и одиночества. Графине писатель сказал только об одном человеке, с которым он ведет разговор. Очевидно, это главный распорядитель императорской квартиры М. Жуанвиль, с которым Стендаль находился с самого начала кампании. С ним Бейль познакомился еще в Италии в 1800 г., с тех пор он его называл просто Луи.

Если письмо к Фору насыщено глубокими философскими размышлениями, то обращение Стендаля к Дарю отличается легкомысленностью и пафасностью. Возможно, причиной этого было отношение писателя к графине, о которой в «Анри Брюларе» он сказал: «Вообще же я никогда не встречал существа, которое было бы до такой степени лишено небесного огня» [Стендаль, 1959а, с. 246]. Итак, обладая артистическим талантом, Стендаль играл даже в письмах, защищая свой внутренний мир от лишних посягательств. С первого взгляда видно, что при написании дневника Стендаль соотносил себя с общей армейской массой, в письмах же — противопоставлял.

В Москве на Стендаля обрушились проблемы обеспечения армии продовольствием. В письме интенданту г. Ковно Ш. Л. де Ну Стендаль скромно указал, что долго сопротивлялся этому назначению и достаточно остроумно раскритиковал свою кандидатуру: «Я облечен чем-то вроде власти над интендантами Смоленска, Могилева и Витебска. Не знаю, что из этого выйдет. По-моему, это неправильная мера» [Lettres interceptées..., р. 126]. Несмотря на сомнения, из писем видно, что он ответственно подошел к выполнению своих обязанностей. Превозмогая ужасную зубную боль, Бейль принялся за работу. Через письма он наладил связь с интендантами Смоленска, Могилева и Витебска, тем самым смог отойти от своих принципов изоляционизма ради выполнения долга.

Бейль для выполнения должностных обязанностей покинул город 16 октября. Через несколько лет, вспоминая в «Жизни Наполеона» пребывание великой армии в Москве, он сказал: «Из тщеславия Наполеон решил взять Москву. Этот неосторожный шаг не имел бы вредных последствий, если бы император оставался в Кремле не более трех недель» [Стендаль, 1955, с. 148].

Стендаль умолчал о направлении движения великой армии после Москвы, только из Смоленска в письме М. Дарю он обмолвился: «Я не могу контролировать генеральную квартиру во время этого движения на Петербург» [Stendhal, 1933–1934, р. 110]. Тем самым Стендаль был уверен, что Наполеон пойдет на Петербург. Как и все солдаты, писатель разочаровался в этом в Смоленске.

Нам приходится только догадываться, какие лишения и трудности пришлось испытать Стендалю по дороге от Москвы до Смоленска, о них он умолчал. Единственно, что нам стало известно из его последующих писем: он этот путь проделал в конвое с больными и ранеными. Возле Смоленска Стендаль подвергся нападению казаков. Пожалуй, именно в этой схватке писателем был утерян дневник за 1806–1807 гг. и пьеса «Летелье».

Стендаль прибыл в Смоленск 7 ноября и в этот же день отправил Фору письмо, в котором успокоил друга, что никакие невзгоды не убили в нем романтика: «Благодаря отсутствию моих коллег ничто не нейтрализовало романтическую сторону моей души, без которой я противен себе» [Lettres interceptées..., р. 201]. Писатель попытался проанализировать причины, которые привели армию к краху: «Все наши идеи были разбиты о физические лишения» [Ibid.]. Далее он охарактеризовал состояние армии: «Люди падают больные. Им хочется верить, что они еще могут действовать, но на самом деле это уже не так» [Ibid., р. 202].

Пройдет время, и чувство сострадания к своим боевым товарищам покинет Стендаля. Осмыслив в дальнейшем поведение солдат, он в очередной раз убедится в тщеславности французов. В большинстве последующих произведений Стендаль будет осуждать эту черту характера своих соотечественников. В труде «Жизнь Россини» он назовет тщеславие основной причиной поражения французов в России. Как мы помним, эта черта была характерна и для самого А. Бейля. Возможно, именно война 1812 г. заставила Стендаля подавить в себе это свойство.

После всех пройденных препятствий и лишений Бейль не расстался с надеждой получить титул барона, о чем он написал отцу из Смоленска: «Завтра я, вероятно, заеду в Оршу по дороге в Минск. Я измучен и умираю от усталости, но здоров. В дороге я болел. Словом, если его величество сделает меня бароном, я не напрасно получу этот титул. Гаэтан, тоже усталый, здоров. Тысячу приветов всей семье» [Ibid., р. 201]. Из этого письма мы узнаем, что Бейль во время отступления из России был вместе с младшим помощником военного комиссара, своим кузеном Г. Ганьеном. Более в своих письмах он не будет упоминать о своем долге интенданта и о титуле барона.

После письма отцу Стендаль на десять дней прервал переписку. 20 ноября он решил в очередной раз осмыслить все происшедшее с ним в письме к сестре. Только в общении с ней он мог позволить себе искренность.

В его записной книжке за 1805 г. в отношении сестры отмечена следующая запись: «Думаю, что не слишком много на свете братьев вроде меня, которые имеют счастье пользоваться взаимной дружбой девушки, обладающей блестящими способностями и чудеснейшей душой» [Стендаль, 2001, с. 101].

Письмо к Полине представлено в виде осмысления Стендалем произошедшего с ним за последнее время. В этих воспоминаниях центральное место занимает Москва. Он поделился с сестрой своими впечатлениями от города: «...этот прекраснейший город, один из прекраснейших храмов наслаждения, превратился в черные развалины» [Stendhal, 1933–1934, p. 113].

Описав пожар, внешний вид города, Бейль не коснулся отступления, пребывания армии в Смоленске. Возможно, описывая более памятные впечатления, он тем самым хотел уйти от реальности, в которой находился в тот момент. попрощался Стендаль с Полиной обнадеживающей фразой: «Я думаю, сударыня, что счастливый Белиль с вами» [Ibid.].

Необычайная твердость, сопротивление усталости было характерно для Стендаля в период отступления. Он сохранил эти качества и во время переправы через Березину, которая сломала даже самых стойких.

По рассказу, переданному П. Мериме, «Г. Бергонье, аудитор Государственного совета, говорил... что он обязан жизнью Бейлю, который уговорил его перейти через Березину вечером накануне дня отступления. Бергонье хвалил хладнокровие и здравый смысл Бейля, не покидавшие его даже и тогда, когда самые храбрые теряли голову» [Мериме, с. 22]. Согласно истории, рассказанной П. Мериме, Дарю, который отличался особым хладнокровием, воскликнул: «Бейль, вы — человек крепкого сердца».

После переправы через Березину ужасы русской кампании не оставили Бейля. Вернувшись в Париж, он делится впечатлениями в дневнике: «Меня до сих пор не покидает чувство холода. Приятно, что пребывание в Москве и Смоленске породило в моей голове кое-какие идеи» [Stendhal, 1937, p. 118]. Видимо, первые воспоминания Стендаля о России были достаточно судорожными и отрывочными.

Со временем эти впечатления обретут более последовательный и осмысленный вид. В этом плане интересен отзыв Стендаля на книгу Ф. П. Сегюра о походе в Россию. Писатель акцентировал внимание на том, как французы поджигали целые дома, чтоб согреться, как в безумии они бросались в костер, а их товарищи ели потом обуглившиеся тела. Главным виновником несчастий Франции в 1812 г. он выставил Наполеона: «Суровый 1812 г. разоблачил Наполеона как военного и показал его легкомысленность. Голова императора закружилась от гордости» [Berthier, p. 129].

Более того, война 1812 г. стала для Стендаля не просто событием в истории Франции, а переломным моментом в его жизни. Она заставила писателя оценить значение искусства и литературы в его судьбе. Так, ради творчества он преодолел свое честолюбие и забыл о военной карьере. Еще в 1805 г. он записал мысль, ставшую пророческой: «Когда мое глупое тщеславие окончательно покинет меня и я смогу быть откровенным, это только возвысит меня в общем мнении» [Стендаль, 2001, с. 102]. В итоге после русской кампании он полностью

углубился в творчество и возвысился над страстями, присущими людям посредственным.

Во многом война 1812 г. стала для него и литературным опытом. На это он обратил внимание еще в Смоленске в письме к Фору: «Одно это путешествие вознаграждает меня за то, что я увидел и почувствовал такие вещи, какие литератор, ведущий сидячий образ жизни, не угадает и за тысячу лет» [Stendhal, 1933–1934, p. 98].

Русская кампания обнажила для Стендаля наихудшие стороны войны, что нашло отражение в его творчестве. Стендаль был признан психологом войны лишь благодаря одному эпизоду — описанию сражения под Ватерлоо в «Пармской обители». Герой его романа Фабрицио, окрыленный почтением к Наполеону, преодолевая все невзгоды, мчится защищать императора на поле Ватерлоо. Но его романтической душе суждено было встретить разочарование, что произошло и со Стендалем в 1812 г.: «Значит, война вовсе не тот благородный и единодушный порыв сердец, влюбленных в славу, как он это воображал, начитавшись воззваний Наполеона!» [Стендаль, 1981, с. 58]. Описание сражения лишено героического пафоса, характерного для романтизма XIX в. Мысль писателя склоняется к тому, что война — это не проявление героизма, подвига, а «зрелище трупов и раненных». Убийство человека приравнивается к обычной охоте, за которой не стоит никакой твердой идеи.

Таким образом, участие в войне 1812 г., будучи случайным эпизодом в жизни Бейля, привело его к переосмыслению своей жизни и творчества. Благодаря полученному военному опыту Стендаль открыл миру войну как писатель-психолог и как историк. Достаточно ясно определив свое отношение к событиям русской кампании, он попытался скрыть свое участие в ней, оставшись всего лишь наблюдателем, вечной загадкой под именем «Стендаль».

Мериме П. Разоблаченный Стендаль. Пг., 1924.

Стендаль. Анри Брюлар // Собр. соч. : в 15 т. Т. 13. М., 1959а.

Стендаль. Вальтер Скотт и «Принцесса Клевская» // Собр. соч. : в 15 т. Т. 9. Л., 1958.

Стендаль. Жизнь Наполеона // Собр. соч. : в 12 т. Т. 11. М., 1955.

Стендаль. Записная книжка. М., 2001.

Стендаль. Записки эгоиста // Собр. соч. : в 15 т. Т. 13. М., 1959б.

Стендаль. Пармская обитель. М., 1981.

Berthier P. Stendhal journaliste anglais. P., 2001.

Lettres interceptées par les Russes Durant la campagne de 1812 / publ. par S. E. M. Goriainow. P., 1913.

Stendhal. Correspondance (1812–1816). Vol. 4. P., 1933–1934.

Stendhal. Journal (1811–1823). Vol. 5. P., 1937.

Stendhal. Theatre. P., 1931.

Статья поступила в редакцию 22.02.2011 г.

УДК 94(4 + 7) + 94(4)“1945/...” + 94(470)“1941/1945” +
+ 327.51 + 94(100)“1939/45”

П. А. Тупикин

ОТНОШЕНИЯ МОСКВЫ И ВАШИНГТОНА НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ (ЯНВАРЬ – МАЙ 1945)

Рассматривается динамика отношений Белого дома и Кремля на завершающем этапе Второй мировой войны в 1945 г., роль американской военно-политической элиты в реализации стратегического курса Франклина Рузвельта на развитие отношений с СССР.

К л ю ч е в ы е с л о в а: Вторая мировая война; военно-политическая элита; большая тройка; политико-стратегический курс; концепция «семейного круга».

Решающим фактором победы антифашистской коалиции во Второй мировой войне стала «большая тройка» — военно-политический союз СССР, США и Великобритании. На заключительном этапе войны, как и раньше, главным ее театром оставалась Восточная Европа. Политико-стратегические успехи Кремля осенью 1944 г. во многом были определены контрастом между победоносным продвижением Красной армии в Юго-Восточной Европе и неудачами союзников, особенно в Западной Европе. В середине декабря 1944 г. вермахт совершил довольно опасный прорыв в Арденнах, что привело к значительному беспокойству американской военной элиты. Рузвельт 23 декабря даже просил Сталина принять офицера штаба Эйзенхауэра для консультаций по взаимодействию западного и восточного фронтов. 12 января 1945 г. началось наступление Красной армии, которое оказало значительную помощь американцам в преодолении последствий неудачи в Арденнах.

Военно-политический курс Рузвельта разрабатывался в рамках обширной и довольно дифференцированной элиты. В нее входили ближнее окружение президента (рузвельтианское крыло), руководство различных государственных ведомств, ведущие деятели демократической партии, лидеры военно-экономических структур. К ней относились и высшие круги республиканской партии, представители которой занимали немалые управленческие посты, а порой выполняли важные поручения президента [см.: Советско-американские отношения, с. 142–144].

Комплекс отношений Москвы и Вашингтона на заключительном этапе войны на востоке Европы имел исключительно важное значение не только для полного разгрома коалиции Германии, но и в плане будущего мироустройства на континенте. Отсюда необходимость исследования взглядов, позиций различных групп военно-политической элиты США в вопросах ситуации в Восточной Европе в рассматриваемый период. К тому же эта проблема не получила должного внимания в отечественной и зарубежной литературе.

Новый 1945-й год был ознаменован для союзников надеждами на дальнейшее сотрудничество. В начале 1945 г. развитие получил проект А. Гарримана

о послевоенном кредите для СССР. Постепенно советские предложения превратились в шестимиллиардный запрос, далеко выходящий за рамки военных нужд. Руководство Госдепартамента, соглашаясь с важностью удовлетворения советских требований, решило приберечь этот инструмент на будущее, рассматривая его как рычаг в урегулировании многих политических и экономических проблем, которые могут возникнуть в будущем [см.: Советско-американские отношения, с. 603].

В целом, зимой 1945 г. единства в американской военно-политической элите по вопросу сотрудничества с Москвой не существовало. Во-первых, сохранялось изоляционистское крыло, наиболее сплоченной данная группа была представлена в конгрессе США (Г. Фиш, С. Дей и др.). Кроме того, появлялось все больше сторонников более жесткого курса в отношении СССР или изменения в целом политико-стратегической концепции Вашингтона и переориентации Белого дома в направлении тихоокеанской стратегии (командующий ВМС США Э. Кинг, генералы Д. Вейнрайт, У. Томас, Ч. Нимиц). Однако Рузвельт и его сторонники в Белом доме продолжали сохранять веру в перспективность концепции «семейного круга», возможность тесного послевоенного сотрудничества с Кремлем [Hull, p. 1438–1441].

Ялтинскому саммиту (кодовое название «Аргонавт», 4–11 февраля 1945 г.) предшествовала встреча Рузвельта и Черчилля на Мальте, носившая ограниченный характер. Британский лидер вновь предложил обсудить весь круг вопросов, предлагавшихся для саммита, чтобы скоординировать позиции союзников, но президент согласился лишь на обсуждение военных проблем. Необходимо заметить, что поведение главы Белого дома в Ялте также довольно сильно напоминало Тегеран. Он снова пытался произвести впечатление на вождя нападения на англичан, решив продемонстрировать, что англосаксы «не сбиваются в шайку» против советского союзника. Одним из наиболее значительных на саммите в Ялте стал германский вопрос, обсуждавшийся в трех аспектах: безоговорочная капитуляция, разделение страны и репарации в пользу союзников [см.: Крымская конференция, с. 52–65]. По каждой из этих проблем происходила немалая дискуссия, где требования Сталина сталкивались с умеренными взглядами западных партнеров. В более миролюбивом тоне решался вопрос о создании Организации Объединенных Наций, особенно о способе голосования постоянных членов Совета Безопасности. Белый дом при решении этого вопроса предложил следующее: постоянные члены воздерживаются от участия в голосовании по вопросам процедуры, если они являются участниками конфликта, и голосуют при решении вопроса по существу. Сталин принял в конечном итоге американскую формулу, настаивая на том, чтобы в состав учредителей ООН были включены минимум две союзные республики (а не все 16, как он этого требовал вплоть до последних заседаний в Ялте) [см.: Там же, с. 283].

Одним из самых сложных на саммите оказался вопрос о Польше. После долгих и упорных дискуссий, в которых западные лидеры пытались отстоять компромиссный проект создания нового правительства Польши на основе паритета лондонцев и люблинцев, именно Рузвельт помог Сталину добиться успеха. Была принята формула реорганизации Люблинского комитета «на базе

более широкого демократизма». Партнеры вождя, вероятно, понимали ее сомнительность в трактовке Кремля, но их соблазнило его обещание, весьма похожее на ироническую шутку, провести свободные выборы в Польше даже через месяц, «если не случится какой-либо катастрофы и если немцы снова не побьют союзников» [см.: Stettinius, p. 113—115; Чевтаев, с. 250].

Итоги конференции в Ялте стали знаком нового крупного шага Рузвельта и его крыла в военно-политической элите навстречу Сталину в уверенности, что это единственный разумный вариант создания прочной структуры послевоенного миропорядка. В своем послании конгрессу 1 марта 1945 г., не раскрывая во многом секретных деталей крымских соглашений, он заявил: либо мы берем «свою долю ответственности за всемирное острудничество, либо мы возложим на себя вину за новый мировой конфликт» [The Department of State Bulletin, p. 325—326].

После Ялты отношения Москвы и Вашингтона развивались не столь позитивно, как ожидалось. Немаловажным моментом стала линия Кремля на свертывание культурных и информационных обменов с Западом, получивших было развитие в начале 1944 г. Затруднились контакты с советскими партнерами, которые вдруг стали отбывать в командировки, застопорилось распространение западных информационных материалов. Серьезные трудности возникли даже на самом активном направлении — в кинообмене. Советская сторона неожиданно резко сократила заказы на американские и английские фильмы, отказавшись от ранее согласованных планов создания специального кинотеатра для их просмотра и проведения кинофестиваля английских фильмов [см.: Печатнов, 2006, с. 172].

Однако самым серьезным испытанием весной 1945 г. для «большой тройки», особенно для Вашингтона и Кремля, стал бернский инцидент — история вокруг переговоров разведки США с нацистскими представителями по поводу капитуляции немцев в Северной Италии. Эти контакты были санкционированы самим Рузвельтом, который проявил в данном случае отнюдь не свойственное ему равнодушие к советским опасениям. Для Сталина такой шаг был совершенно неприемлемым. Когда же президент отклонил требование Москвы участвовать в переговорах о капитуляции на данном театре войны, вождь прибегнул к своему главному аргументу: он уличил союзников в «предательстве», заявив, что «за спиной СССР, несущего основную тяжесть войны, ведутся переговоры». Рузвельт в ответ на это 25 марта 1945 г. заявил, что такой шаг не нарушает принципа безоговорочной капитуляции и не содержит в себе никаких политических моментов. Сталин в ответ обвинил партнеров в том, что они обещали облегчить немцам условия перемирия в ответ на пропуск союзных войск [см.: Переписка..., с. 204]. 23 марта Кремль известил Белый дом, что Молотов не примет участия в конференции, посвященной организации ООН. Его отсутствие там объяснялось «крайне важными делами, требующими его присутствия в Москве», однако взаимосвязь этого шага с бернским инцидентом очевидна. Президент не ответил на грубые выпады Сталина, пытаясь убедить его в том, что причины конфликта Кремля и Запада кроются в недооценке советским руководством коварства врага, который этой «операцией» стремился «посеять подозрения и недоверие между союзниками» [Там же, с. 206].

Несмотря на то, что бернский инцидент был улажен, разногласия среди союзников оставались. По большому счету, данные события можно считать мощным психологическим ударом для главы Белого дома, ускорившим, вероятно, его кончину. На протяжении войны он, выстраивая отношения с Кремлем, основывался на концепции «семейного круга», где он мог рассчитывать на понимание и сотрудничество со стороны советского союзника. Однако сейчас глава Белого дома натолкнулся на подозрительность и непонимание со стороны Кремля, стремление навязать удобный для себя порядок вещей. Он говорил своему помощнику Ч. Боулсу: «Сталин будет не в своем уме, если откажется от сотрудничества... Но мы должны быть готовы и к такому его выбору» [Meacham, p. 338].

В Белом доме даже среди рузвельтианского крыла элиты начинается переосмотр позиции в сторону проведения более жесткого курса в отношении СССР. В УСС по личному заказу генерала С. Эмбика, одного из главных армейских планировщиков, председателя Объединенного комитета стратегического планирования, был составлен документ, получивший по имени создателей неофициальное название меморандума Лэнгира — Робинсона. Документ представлял собой материал, где давался анализ сложившейся геополитической ситуации, предлагал новые ориентиры для всей глобальной стратегии США. По большому счету, меморандум можно было назвать предтечей стратегии «сдерживания» СССР как главной потенциальной угрозы интересам США в послевоенном мире. Однако, по мнению комитета начальников штабов и Рузвельта, поддержание единства союзников остается «кардинальной и важнейшей задачей наших военных и политических отношений с Россией», поэтому данный документ был, несмотря на наличие сторонников в военно-политической элите, оставлен без внимания [FRUS, p. 818—820; Печатнов, 1997, с. 108]. Видимо, президент до последнего момента, несмотря на возникшие сомнения, оставался верен своей концепции сотрудничества с Кремлем. Однако благожелательная тональность последних посланий президента от 5—11 апреля 1945 г. не смогла снять психологический стресс, переживаемый президентом, который, вероятно, и стал толчком к его внезапной кончине. Вместе с тем даже в послании Черчиллю, отправленном за день до смерти, он выражал уверенность в долговременности союза с СССР, которому не может помешать сложившаяся геостратегическая ситуация [см.: Messer, p. 72].

Смерть Ф. Рузвельта поразила весь мир. Даже такой недюжинный актер, как Сталин, по всей видимости, был все же действительно потрясен кончиной Рузвельта. В Вашингтоне после смерти президента начала ощущаться смена политических ветров. Э. Стеттиниус, госсекретарь Соединенных Штатов, подготовил новому президенту доклад с оценкой ситуации в отношениях Вашингтона и Москвы. В нем отмечалось, что после Ялты СССР занял грубую, бескомпромиссную позицию по ключевым вопросам, согласованным на Крымской конференции. Более жесткую линию заняли в окружении Трумэна Дж. Бирнс, Ч. Болен, Г. Стимсон и другие представители политической и военной элиты. Совершенно однозначной была их позиция по польскому вопросу: «Москва совершила полную военную оккупацию суверенного государства». Были

пересмотрены и признаны разумными рекомендации, данные Дж Кеннаном [см.: Truman, p. 15–18].

17–23 апреля военное руководство согласилось с рекомендациями Д. Дина о выходе из совместных проектов и резервировании за собой права на ответные меры в случае дальнейшей обструкции Москвы. А. Гарриман, прибыв в Вашингтон, стал продвигать идею об ограничении советского влияния в Европе. Присутствие там Кремля он сравнил с новым «нашествием варвара». Эту идею он 23 апреля 1945 г. попытался донести до ключевых советников нового президента в Белом доме [Данн, с. 374].

Тем не менее новой «большой тройке» удалось в целом достичь взаимопонимания в вопросе завершения разгрома врага. 23 апреля Сталин принял предложение Г. Трумэна поручить Д. Эйзенхауэру объявить трем правительствам о дне встречи армии трех союзных держав. Но реальный ход событий оказался намного сложнее, и такой встречи не получилось.

В то же время западные лидеры и Сталин отвергли попытки верхушки агонизирующего Третьего рейха в конце апреля — начале мая 1945 г. вбить клин в «большую тройку». Сталин согласился с принятием безоговорочной капитуляции правительства К. Денница 7 мая в штабе союзного командования в Реймсе и объявлением 8-го мая Днем победы. Однако он очень быстро понял, что это принижает роль Восточного фронта. Поэтому в ночь на 9 мая 1945 г. в пригороде Берлина Карлхорсте была проведена церемония подписания безоговорочной капитуляции от имени верховного командования вермахта. Сталин, таким образом, продемонстрировал, кто является главным победителем в войне [см.: Бивор, с. 522–524; Фейс, с. 550–551].

На протяжении мая 1945 г. в Белом доме продолжал набирать силу твердый курс в отношении Москвы. 11 мая подписанную Трумэном директиву о принципиальном решении прекратить поставки по ленд-лизу в страны Европы после капитуляции Германии немедленно применили к СССР. Правда, чиновники быстро одумались, и уже 12 мая поставки возобновились, но Москва получила ясный сигнал, что деполитизированный при Рузвельте ленд-лиз стал важным политическим орудием [см.: Печатнов, 2006, с. 325–328].

Другим шагом Белого дома стала попытка Трумэна перейти к «сбалансированному курсу» и провести новый саммит «большой тройки» и предварительную встречу советского и американского лидеров. 26 мая Г. Гопкинс отправился в очередной (и последний) раз в Москву, чтобы обсудить с вождем возможность предстоящей встречи. В ходе бесед с эмиссаром президента, самым верным сторонником курса Рузвельта, были обсуждены вопросы политической стратегии СССР в Восточной Европе, перспективы ООН. Данный визит имел в целом весьма позитивный результат, однако Гопкинс дал понять Москве, что политика односторонних уступок Москве, столь популярная при Рузвельте, прекратилась [см.: Harriman, Abel, p. 466–467].

Представители «ялтинской школы» стремились в сложившейся ситуации возродить курс Рузвельта, повлиять на политическую стратегию нового президента. В конце мая 1945 г. на свет появляется документ Оскара Кокса, активного участника двухсторонних переговоров по экономическому и торговому

сотрудничеству, правой руки Г. Гопкинса, ставшего на короткое время специальным помощником Трумэна по юридическим аспектам советско-американских отношений. Убежденный рузвельтианец, Кокс в условиях ревизии политико-стратегического курса Вашингтона отстаивал идею тесного сотрудничества с Кремлем после войны. Документ, распространенный в Госдепартаменте, представлял собой целостную программу действий по укреплению советско-американского сотрудничества на базе учета законных интересов Москвы в сфере безопасности, экономического содействия. Однако в обстановке «смены ветров» в Вашингтоне меморандум отходящего от дел рузвельтианца вряд ли мог оказать серьезное воздействие на Трумэна и окружавшую его новую политическую элиту [см.: Печатнов, 1997, с. 111].

Завершая анализ поведения военно-политической элиты США по данному предмету исследования, необходимо сделать следующие выводы. При всем разнообразии взглядов и позиций различных ее групп реальная политика Белого дома в вопросе отношений США и СССР твердо определялась Ф. Рузвельтом вплоть до его внезапной смерти. Благодаря этому в целом удалось успешно реализовать единый политико-стратегический курс «большой тройки», особенно в Восточной Европе, и провести безоговорочную капитуляцию Третьего рейха.

В то же время многие представители военной и политической элиты США считали необходимым в рассматриваемый период ужесточение внешнеполитического курса Белого дома в отношении Кремля, не без основания полагая, что по мере продвижения Красной армии в Европу Сталин будет становиться все требовательнее. Время от времени разрабатывались проекты воздействия на Москву (экономическое воздействие, влияние через создающуюся ООН, предупреждение о применении силы), которые не находили поддержки Рузвельта. К концу войны даже в среде рузвельтианского крыла не осталось былого единства: многие его представители не только избавились от иллюзий о «демократизации и либерализации» СССР после войны, но выступали за новый курс в отношении Кремля, видя в нем будущего противника.

С приходом к власти Г. Трумэна настроения в элите начали меняться в сторону ужесточения отношений с Москвой: дипломатия убеждения сменяется дипломатией силы, хотя Вашингтон еще пытается договориться с Кремлем по ключевым вопросам. Значительная часть окружения нового президента поддержала подобный курс, с пониманием отнеслись к нему и военные планировщики, опасавшиеся чрезмерного усиления СССР.

И все-таки Белый дом веной — летом 1945 г. не перешел рубикон в характере отношений с Кремлем в вопросах окончания войны на востоке Европы, оставаясь на почве Ялтинских соглашений. Союзниками был достигнут разумный компромисс в вопросах вывода американских войск из советской зоны оккупации Германии, доступа сил США и Британии в Берлин, Вену и Австрию. Разрешение этих противоречий стало решающей предпосылкой успешного проведения Потсдамской конференции и окончания Второй мировой войны.

Бивор Э. Падение Берлина. 1945. М., 2004.

Дани Д. Между Рузвельтом и Сталиным: американские послы в СССР. М., 2004.

Крымская конференция трех союзных держав — СССР, США, Великобритании (4–11 февраля 1945 г) : сб. документов. М., 1979 .

Переписка председателя Совета министров СССР с премьер-министрами Великобритании и президентами США. Т. 2. М., 1957.

Печатнов В. О. Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х г. М., 2006.

Печатнов В. О. США : скрытые дебаты по «русскому вопросу» весной 1945 г. // Новая и новейшая история. 1997. № 1. С. 107–121.

Советско-американские отношения : документы и материалы, 1939–1945 / под. ред. Г. Н. Севостьянова. М., 2004.

Фейс Г. Черчилль, Рузвельт, Сталин. Война, которую они вели, и мир, которого они добились. М., 2003.

Фоглесонг Д. С. Американские надежды на преобразование России во время Второй мировой войны // Новая и новейшая история. 2003. № 1. С. 80–105.

Чевтаев А. Г. Сталин, Рузвельт, Черчилль. Создание, борьба и победа антифашистской коалиции (1940–1945). Екатеринбург, 2009.

The Ambassador in the Soviet Union (Harriman) to the Secretary of State. 1945. Apr. 4 // Foreign Relations of the United States, 1945. Vol. 5. Washington, 1968. P. 817–820.

Harriman A., Abel E. Special Envoy to Churchill and Stalin, 1941–1946. N. Y., 1976.

Hull C. The Memoirs of Cordell Hull. Vol. 2. N. Y., 1949.

Meacham J. Franklin and Winston. An Intimate Portrait of an Epic Friendship. N. Y., 2004.

Messer R. The End of Alliance. James Byrnes, Roosevelt, Truman and Origin of Cold War. Chapel Hill, 1982.

Stettinius E. Roosevelt and the Russians : the Yalta Conference. N. Y., 1949.

The Department of State Bulletin. 1945. March 4

Truman H. The Memoirs. Vol. 1. N. Y., 1956.

Статья поступила в редакцию 14.02.2011 г.

УДК 94(100)“1914/19” + 341.34 + 94(470.54)

Н. В. Суржикова

ВОЕННОПЛЕННЫЕ В БОГОСЛОВСКОМ ГОРНОМ ОКРУГЕ: СТАТИСТИКА И ЭКОНОМИКА*

Рассматривается такое многоаспектное явление, как пребывание военнопленных Первой мировой войны на предприятиях Богословского горного округа. Основное внимание уделяется статистике и экономике плена. Анализируется опыт приема, размещения, обеспечения и трудового использования вражеских военнослужащих, институты и практики плена, которые во многом зависели от местных условий, конфигурируясь под их воздействием самым причудливым образом.

Ключевые слова: военнопленные; Первая мировая война; Богословский горный округ; статистика; экономика.

Освоенная советскими историками лишь с одной стороны тема военнопленных I Мировой войны в России¹ получила новое звучание относительно недавно и не может похвастаться богатой историографической традицией. Вместе с тем вектор ее актуального развития вполне различим. Наперекор авторитетному мнению Р. Нахтигала, убежденного в том, что локально-исторические исследования темы являются малопродуктивными [см.: Nachtigal], интегрирующим фактором для современных изысканий по истории российского плена начала XX в. является «провинциализация» научного поиска, обнаруживающаяся в очевидном доминировании среди работ отечественных авторов регионально ориентированных исследований. При этом все они однотипны и предлагают ставший традиционным набор фактов, кочующих из одного издания в другое, что, казалось бы, доказывает однородность темы плена, ее безальтернативность. Но является ли эта тема столь однозначной? Ответ на этот вопрос, как мне кажется, требует прежде всего смены масштабов научного поиска, и в частности обращения к микроисследованиям темы. Едва ли кто-то будет спорить с тем, что именно они со своим последовательным, можно сказать — радикальным, эмпиризмом иммунизируют представления о прошлом от поверхностных генерализаций. Действительно, изучение отдельных контекстов плена с последующей корреляцией масштабов (скажем, локального с другим локальным, локального с региональным или локального с общенациональным) позволяет увидеть не только его общие, эмблематичные характеристики, но и то, что является по отношению к ним фоном, периферией. В свою очередь, побочное и предельно частное, оставшиеся на этой самой периферии, при их обстоятельном обследовании демонстрируют свойство самым неожиданным образом влиять на казавшиеся универсальными институты и практики плена.

Тот факт, что условия труда и быта вражеских военнослужащих определялись не столько диктуемой сверху логикой их унификации, сколько местными

* Публикуется при поддержке гранта РГНФ, проект № 11-11-66-007а/У.

¹ Речь идет о чрезвычайно популярных в СССР исследованиях так называемого интернационального движения.

особенностями, признавался даже «архитекторами» этих структур. «Опыт применения труда военнопленных на различных работах выяснил крайнее разнообразие постановки этого дела в различных местностях Империи» — гласил циркуляр Министерства торговли и промышленности от 27 июня 1916 г. [ГАСО, ф. 24, оп. 20, д. 2825, л. 19–20]. Время показало, что ни этот документ, ни его многочисленные аналоги, нацеленные на наведение в деле администрирования труда пленных и их жизнеобеспечения хотя бы относительного порядка, ситуации не изменили. «Учрежденные общие правила содержания военнопленных на работах, кои своевременно преподаны были на места для руководства ими, на самом деле исполняются работодателями чрезвычайно разнообразно», — не без некоторого уныния констатировал 17 октября 1917 г. начальник штаба Казанского военного округа [Там же, л. 124].

То, что пространство российского плена конфигурировалось самым причудливым образом прежде всего в зависимости от рисунка социально-экономических отношений на местах, экспонируют документы, связанные с историей Богословского горного округа. Они, в частности, показывают, как с течением времени в округе сформировалось особое отношение к пленным, а потому явления типические могли здесь мирно уживаться с явлениями, из ряда вон выходящими или по крайней мере единичными для российского плена вообще. В немалой степени этому способствовало то, что Богословский горный округ сам по себе был предприятием исключительным. Его владения объединяли Богословскую железную дорогу, несколько лесничеств, рудников и заводов, причем не только на Урале, но и на Алтае, образовывавших крупнейший в стране металлургический комплекс. Неудивительно, что после известных событий Октября 1917 г. Богословский горный округ (БГО) был национализирован одним из первых [см.: Буранов, с. 258].

Статистика плена

В деле «приспособления» к своим нуждам вражеских военнопленных Богословский горный округ, занимавший по всем показателям первое место среди уральских горнозаводских предприятий, также оказался пионером. Интерес к ним администрация предприятия проявила уже осенью 1914 г., рассчитывая в ближайшей перспективе «пригласить» на работы округа 2 620 военнопленных. Правда, ни в конце 1914 г., ни в начале 1915 г. такого числа пленных округ не получил. Они прибыли сюда, как и на прочие заводы Урала, лишь весной 1915 г. По косвенным данным, к лету 1915 г. в округе трудилось около тысячи вражеских военнослужащих. Именно тогда, с оттоком заметной части рабочих на сельскохозяйственные работы, проблема нехватки трудовых ресурсов стала для округа действительно острой, грозя обернуться 25-процентным сокращением объемов производства. В поисках выхода из этой ситуации ставка была сделана на труд пленных, численность которых всего за месяц увеличилась более чем вдвое, а к середине августа 1915 г. достигла 3,2 тыс. чел., или почти 20 % общего количества рабочих предприятия. К тому времени округ окончательно перешел к работе на оборону, получив 23,5 % общеуральских военных

заказов, что сделалось главным козырем предприятия в борьбе за обладание дефицитной рабочей силой [см.: ГАСО, ф. 24, оп. 19, д. 1605, л. 157; ф. 50, оп. 2, д. 2892, л. 271; ГАПК, ф. 65, оп. 3, д. 592, л. 7, 16; и др.].

Предусмотрительно обозначив свои претензии еще на 4 495 человек, администрация БГО к середине октября 1915 г. располагала уже 6 927 военнопленными, которые составляли теперь более 38 % всех работников. Совсем скоро выяснилось, что и это не было пределом. 21 октября 1915 г. управляющий БГО С. С. Постников сообщал окружному инженеру Североверхотурского округа: «По своему географическому положению округ является одним из самых северных и не имеет местного населения... Ввиду общей недостаточности рабочих в настоящее время недостающих пришлось заменить пленными, которых работает в округе до 9000 человек» [ГАСО, ф. 50, оп. 2, д. 2892, л. 495; ф. 123, оп. 1, д. 1, л. 30—30 об., 367—367 об.; ГАПК, ф. 65, оп. 5, д. 140а, л. 413.].

В следующем (1916) году руководство БГО надеялось получить в свое распоряжение еще как минимум 5 тыс. пленных. По сводке, предоставленной в ответ на запрос Уральского областного военно-промышленного комитета, уже к 1 февраля 1916 г. в округе работало 10 985 пленных. В течение месяца администрация предприятия дважды потребовала от отделов и больниц округа «сохранить на работах по возможности все наличное число военнопленных» [ГАСО, ф. 24, оп. 20, д. 3174, л. 17 об.; ф. 45, оп. 1, д. 222, л. 10]. Надо сказать, что сохраняли его всеми правдами и неправдами, в том числе и посредством нарушения закона. С выходом в начале 1916 г. «категорического распоряжения» пермского губернатора о снятии с заводских работ всех военнопленных германцев, которые считались неблагонадежными и потенциально опасными, администрация БГО не только не приняла соответствующих мер, но еще и отписала в Пермь следующее: «Причиной такого риска является необходимость выполнить заказы на оборону, в исполнении которых пленные принимают участие в 35 % общего числа рабочих, привлеченных к этому делу». Без внимания в округе оставили и принятое летом 1916 г. решение специального совещания о допуске немцев в горячие цеха только при условии их назначения в дневные смены и при усиленной охране, отделившись заявлением о том, что охрана пленных слишком дорога, а ночные смены неизбежны [Там же, ф. 181, оп. 1, д. 1, л. 80; ф. 183, оп. 1, д. 71, л. 176, 331—333]. В результате в течение года округу удалось не только сберечь, но и существенно приумножить ряды «своих» военнопленных. По сведениям на 1 октября 1916 г. среди 34 404 рабочих БГО бывших вражеских военнослужащих насчитывалось 15 610 чел., или 45,3 % общего числа занятых в округе. К концу 1916 г. 16,8 тыс. пленных иностранцев и 4 тыс. китайцев и корейцев относились к местным рабочим округа как 2 : 1, поставив таким образом своего рода рекорд [см.: Там же, ф. 123, оп. 1, д. 3, л. 446; Ведомость о количестве рабочих, с. 18—24].

В январе — феврале 1917 г. в округ прибыло еще 1 785 военнопленных, но такая динамика окружное начальство категорически не устраивала [см.: Там же, ф. 45, оп. 1, д. 1044, л. 68—69 об.; д. 1100, л. 29—31; 34—41]. «В настоящее время число русских рабочих на рубке дров сократилось на 9/10, между тем потребность в древесном топливе, вследствие усиленных заказов на металл

для нужд обороны, все возрастает», — констатировала администрация округа в начале 1917 г., требуя присылки еще 4 тыс. пленных для заготовки дров, необходимых местным заводам в 1918—1919 гг. [ГАСО, ф. 111, оп. 1, д. 20, л. 31, 32, 77]. Вместо четырех тысяч 23 мая 1917 г. округ получил одну тысячу пленных, которые к тому времени превратились в труднодоступный дефицит, «добывавшийся» не иначе как с боем [Там же, д. 44, л. 4—4 об.]. В захватившей промышленников и аграриев «битве за пленных» управление БГО было готово отстаивать каждого. Когда в начале февраля 1917 г. пермский губернатор распорядился передать на сельскохозяйственные работы всех военнопленных, находившихся в услужении у частных лиц в качестве кучеров, дворников, шоферов, приказчиков и пр., в Надеждинске на это отреагировали весьма своеобразно, предложив «...служащим, к которым откомандированы пленные для исполнения обязанностей кучеров, дворников и т. д., наблюдать за тем, чтобы пленные бесцельно не отлучались из дому, по населенным местам не гуляли и не нарушали общего порядка» [Там же, ф. 45, оп. 1, д. 323, л. 77; Отобрание пленных, с. 3]. При этом как весной, так и осенью 1917 г. на мольбы местного земства «поделиться» пленными окружное начальство ответило вежливым отказом, уступив всего 279 человек, не пригодных к работам округа по состоянию здоровья. В то же время всевозможные препятствия умышленно чинились пленным славянам, пожелавшим вступить в национальные части, что вызвало праведный гнев со стороны военных властей [см.: Там же, ф. 24, оп. 20, д. 2825, л. 67—68, 71—71 об.; ф. 45, оп. 1, д. 1102, л. 91; ф. 435, оп. 1, д. 2065, л. 27, 72].

Несмотря на все усилия, к осени 1917 г. численность занятых на работах округа пленных несколько сократилась. На 9 сентября 1917 г. в лесничествах БГО их трудилось 5 856 чел., на заводах (Надеждинском, Сосьвинском, Богословском и Химическом) — 5 450, на рудниках (Васильевском, Флоровском, Воронцовском, Самском, Покровском и Ауэрбаховском), в каменоломне и «разведочном цехе» — 2 812, в Богословской и Алтайских каменноугольных копях — 791, в экспедиции, магазине, конторе и больнице — 480. Всего — 15 389 человек. Однако сокращение статистики занятых в различных «отделах» БГО пленных необратимым не стало: 4 и 21 октября в округ прибыло 486 военнопленных из Екатеринбурга, 12 октября — 559 из Пензы, 19-го — 49 из Челябинска, 24-го — 15 из Казани; итого — 1 109 человек, восполнивших понесенные ранее «потери» [см.: Там же, ф. 45, оп. 1, д. 1103, л. 13—13 об.; ф. 50, оп. 2, д. 3184, л. 322—324].

К концу 1917 г. для большинства предприятий края иностранные рабочие превратились в обузу, поскольку их было попросту нечем кормить. Богословский горный округ не стал исключением, что, однако, не привело к снятию военнопленных с работ. Советская администрация придерживалась того же курса, оставив без внимания тот факт, что к апрелю 1918 г. пребывавшие в округе пленные ели собак и, хронически голодая, жестоко страдали от различных заболеваний. Более 3 тыс. человек болели цингой, что привлекло к себе внимание областного отдела военнопленных [см.: К положению военнопленных, с. 3]. В мае 1918 г. в округ приехала комиссия шведского Красного Креста, чтобы в течение трех дней снять всех вражеских военнослужащих с работ бывшего

Богословского горнозаводского общества. Такого поворота событий здесь совсем не ждали. Отстаивая свое право на пленных, председатели делового совета предприятия Злоказов и центросовета Заславский взывали к управлению национальными заводами Урала: «Эта мера введет дезорганизацию производства, возможна остановка цехов, прекращение сплава. Шлите срочные указания. Первый поезд [с] военнопленными уходит двадцать пятого [июня]» [ГАСО, ф. 24, оп. 26, д. 43, л. 170].

Услышан был этот крик отчаяния или нет, но утопическому плану эвакуации пленных в трехдневный срок сбыться не было суждено. Та же судьба постигла и впопыхах разработанный деловым советом и комиссаром по делам военнопленных Уральской области С. Симашко двухнедельный график, о чем свидетельствуют материалы дальнейшей деятельности предприятия. Известно, в частности, что в канун занятия богословского Урала «белыми» (в середине июля 1918 г.) 464 военнопленных продолжали трудиться на рудниках округа, в угольных копиях и каменоломне [см.: Там же, л. 171, 184, 205]. Их отправка на родину, по подсчетам конторы рудников и разведок, означала бы почти двукратное сокращение производства: «Богословская каменоломня: теперешняя добыча и отправка известнякового камня равняется 4–5 тыс. пуд., с отъездом военнопленных добыча должна быть остановлена, и можно только поддерживать отpravку в количестве 2–3 тыс. пуд. за счет имеющихся запасов в течение месяца. Ауэрбаховский рудник: при недостатке рабочих, имея в распоряжении военнопленных, добывается ежедневно от 15 до 20 тыс. пуд. руды и отправляется от 20 до 25 тыс. пуд. за счет прежних запасов, с эвакуацией военнопленных будет добываться максимум 7 тыс. пуд. и отправляться максимум 15 тыс. пуд. Покровский рудник: отправляет руды ежедневно от 5 до 20 тыс. пуд., а с отъездом военнопленных будет отправляться от 5 до 15 тыс. пуд.» [Там же, оп. 23, д. 43, л. 184].

Вопрос о репатриации пленных встал снова после завершения на Северном Урале Гражданской войны, о чем свидетельствует телефонада коллегии по управлению БГО № 222 от 16 августа 1919 г. К тому времени еще остававшиеся на территории округа пленные так или иначе устроили свою жизнь, причем некоторые весьма неплохо. Венгр Федор Гинтерляйтер, к примеру, фармацевт по образованию, управлял аптекой Сосьвинского завода и возвращаться в родное отечество не спешил [см.: Там же, ф. 511-р, оп. 1, д. 200, л. 193; д. 202, л. 5–6]. Сколько пленных отказалось от репатриации, губернские власти решили выяснить в середине 1922 г., обратившись в Верхотурский уездный отдел управления с письмом следующего содержания: «По имеющимся сведениям в пределах Надеждинских заводов работают лица иностранной национальности, каковые на учете в Губотуправе не состоят и иностранных видов на жительство не получали. Находя необходимым вышеуказанное, Губотуправ предлагает в срочном порядке выяснить, состоят ли на работах в вышеуказанных заводах лица иностранного происхождения, и установить, имеют ли таковые национальные документы» [Там же, ф. 511-р, оп. 1, д. 358, л. 526].

Как соотносились между собой статистика уехавших и статистика оставшихся военнопленных, угадать не трудно. Несмотря на отсутствие строгих цифр,

можно уверенно утверждать, что подавляющая часть пленнх «империалистической войны» предпочла уехать домой, покинув чужбину без особого сожаления. Оставили ли они в истории края сколько-нибудь заметный след? Позволю себе предположить, что не оставить его они просто не могли. Исходя из общей статистики уральского плена, можно констатировать, что Богословский горный округ поглотил почти четверть всех военнопленных, присланных на Урал². Концентрация такого значительного числа вражеских военнослужащих неминуемо превратила их в чувствительный раздражитель, опасный для уже сложившихся в локальном сообществе систем взаимодействий и противодействий, контактов и контрактов, которые теперь подверглись существенным перестройкам и коррекциям.

Экономика плена: администрирование и потребление

В конце 1914 г. никто, конечно, не предполагал, что формирование в структурах окружного хозяйства сектора принудительного труда потребует привлечения столь значительных административных, материальных и человеческих ресурсов. Выяснилось, что даже нехитрая процедура «испрошения» пленнх, далеко не всегда приводившая к искомому результату, отнимала немало времени, сил и средств. Приемка и доставка пленнх в округ также оказались занятиями хлопотными и затратными. Прибывавших на ст. Надеждинский Завод необходимо было предварительно осмотреть и «рассортировать» по отделам округа, что легло дополнительным грузом на плечи агента главного лесничества И. В. Графова. Затем пленнх нужно было где-то разместить. Строить для них новые бараки было некогда, да к тому же неоправданно дорого. Администрация округа закономерно выбрала путь наименьшего сопротивления, расквартировав вражеских военнослужащих по пустовавшим за мобилизацией местных рабочих казармам или по домам, снятым у местных домовладельцев: А. Шипицыной, Л. Коробейниковой, М. Баженова, А. Постовалова, И. Казанцева, А. Самоуковой, Г. и М. Пажевых... [см.: ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 228, л. 23; д. 1095, л. 122, 126–130].

Когда численность пленнх в округе превысила тысячу человек, назрела необходимость их особого учета, который и был введен 3 июня 1915 г. [Там же, л. 57]. Практически одновременно были отпечатаны специальные карточки для регистрации пленнх и их грядущих перемещений в пределах округа³, а также бланки для еженедельного учета больных и умерших. Кроме того, требовалось упорядочить еще и возвращение пленнх верхотурскому уездному воинскому начальнику, что и было сделано: больные и отработавшие в месяц менее 18 смен передавались округом военным властям через полицию Надеждинского завода один раз в неделю сначала исключительно по пятницам, затем — по четвергам.

² По имеющимся данным своего максимума численность пленнх на Урале достигла в первой половине 1917 г., преодолев планку в 70 тыс. человек [см.: Систематический свод, с. 120].

³ В общероссийских масштабах карточная система регистрации пленнх была введена только в августе 1917 г. [ГАПК, ф. 146, оп. 1, д. 94, л. 689].

Руководство этим предприятием было возложено на заведующего дворово-ремонтным цехом Надеждинского завода И. Е. Боброва [см.: ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 228, л. 17, 20, 21; д. 221, л. 16; д. 222, л. 9].

Однако все эти заботы были «цветочками» в сравнении с тем, что ожидало руководство округа по прибытии пленных иностранцев к местам работ. Очень скоро выяснилось, что для организации труда и быта пленных вражеских солдат изданных центральными и региональными властями распоряжений явно недостаточно. С целью повышения управляемости все возрастающей армии подневольных работников администрации округа пришлось разработать целый пакет документов, которые не только конкретизировали уже принятые регламенты, но и учитывали местную специфику. Так, к изданному 21 февраля 1915 г. обязательному постановлению пермского губернатора «О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия для жителей Пермской губернии» и введенным в действие по всей империи 17 марта 1915 г. «Правилам об отпуске военнопленных для работ в частных промышленных предприятиях» в округе присовокупили свои установления, которые, в частности, предусматривали следующее: «1. Отлучаться в свободное от работ время пленные могут только с ведома и разрешения их начальства отдела округа. 2. Посещения спектаклей, кинематографов, всякого рода увеселительных мест, ресторанов, гостиниц и частных квартир русских подданных не разрешается. 3. Выход из квартир в Надеждинском заводе, Турьинских рудниках и Богословске разрешается только в сопровождении сторожей и группами» [Там же, д. 228, л. 29]⁴. Вслед за этим циркуляром, подписанным управляющим округа С. С. Постниковым 2 июня 1915 г., последовали многие другие. Их приумножение не являлось процессом сугубо механическим, а прежде всего отражало усложнение рисунка плена как такового и вызванных им реакций. Вместе с тем стремительное «обюрокращивание» плена, превращение его в сферу кипучего «бумагооборота» обнажало еще и недостаточную эффективность принимаемых управленческих решений и тех механизмов, которые создавались для их реализации, вынуждая окружную администрацию снова и снова обращаться к проблеме военнопленных. Справляться с ними удавалось далеко не всегда, о чем свидетельствует, например, следующий документ: «Во избежание наблюдающихся за последнее время случаев массового передвижения иностранных рабочих и пленных из одного завода, отдела или цеха в другой без всяких провожатых и каких-либо документов, обращается внимание г. г. заведующих отделами, что всякий переход иностранных рабочих и пленных из одного завода, отдела или цеха в другой может быть только с разрешения управляющего округом и каждый раз с проводниками» [Там же, д. 1101, л. 6].

Пресечение нелегальных «миграций» пленных, а также их надежная охрана стали для округа неожиданно сложными задачами. Количество проводников,

⁴ Свои ориентированные на местные условия правила содержания пленных были выработаны и другими предприятиями края. См., например, Инструкцию об использовании военнопленных на предприятиях Камско-Воткинского горного округа от 31 июля 1915 г. [ГАСО, ф. 24, оп. 20, д. 3174, л. 90–91].

сторожей, десятников и прочих работников, специально нанятых для обслуживания пленных, день ото дня росло. Как результат к 1918 г. только на одном Надеждинском заводе к охране пленных было привлечено порядка 100 чел., месячный оклад жалованья каждого из которых составлял 45 рублей (30 из них было отнесено на счет военнопленных, 15 — на счет округа) [см.: ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 272, л. 6 об.; д. 1095, л. 51; ф. 638, оп. 1, д. 3, л. 1]. Однако громоздкий аппарат, созданный для «окараулирования» и конвоирования вражеских военнослужащих, не гарантировал действия тех режимных ограничений, которые были «предложены» военнопленным. Более того, он требовал к себе постоянного внимания окружного начальства, периодически притязая на более комфортное жилье, улучшение питания или повышение заработной платы. Дифференцированный подход к разрешению этих вопросов, выразившийся в их перекладывании на плечи лесничеств, рудников и заводов⁵, своих плодов не приносил. Раненые и бежавшие из плена нижние чины русской армии, — а именно их рекомендовалось использовать в качестве стражи для пленных иностранцев [см. об этом: Там же, д. 221, л. 19; ф. 24, оп. 20, д. 2825, л. 125 об.], — стремились домой, к своим семьям, а не в разбросанные по лесам и горам Северного Урала казармы. А потому округ, не имевший никакой власти над отпущенными военным ведомством солдатами (скажем, Степаном Старковым и Иваном Томиловым, отказавшимися охранять пленных и самовольно оставившими Самский рудник 24 августа 1917 г.), как правило, был вынужден довольствоваться местными «кадрами», «не соответствующими своему назначению и непригодными для надзора, а тем более для воздействия на пленных при каких-либо недоразумениях» [Там же, д. 293, л. 21; д. 272, л. 5 об.].

Неприятным открытием для округа стало еще и то, что пленные присылались в его распоряжение «весьма болезненными». К примеру, из отправленных из Ташкента 4 тыс. чел. 400 чел. по болезни просто не доехало, в то время как несколько тысяч пленных прибыли в округ из Перемышля с зачатками цинги и уже развившейся болезнью. По состоянию на 1 мая 1915 г. цингию в округе болело 297 вражеских военнослужащих, или каждый третий, что заставило администрацию спешно организовать медицинскую службу для пленных. Для этого были затребованы 2 австрийских врача и 5 фельдшеров, в помощь которым впоследствии прибыло еще столько же. До конца года, несмотря на привлечение земских медиков — фельдшера И. Ф. Куркиной и сестер милосердия К. И. Литвиновой и О. А. Введенской, справиться с «громдным числом больных» так и не удалось [см. об этом: Там же, д. 1041, л. 1–2 об.; ГАПК, ф. 214, оп. 1, д. 16, л. 62; Движение эпидемического персонала, с. 448–449].

Дело было не только и не столько в том, что военные власти со временем отказались принимать больных пленных, сданных ранее на работы, возложив тем самым практически все тяготы их медицинского обслуживания

⁵ См. Инструкцию сторожам при военнопленных, находящимся на работах горного дела БГО, от августа 1917 г. [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 293, л. 8–9].

на предприятия⁶. Суть проблемы крылась, скорее, в формальном отношении администрации округа к оздоровлению иностранных рабочих, которое всегда оставалось вопросом прежде всего финансовым. Так, 18 ноября 1915 г. заведующий лесными работами округа поставил на вид материальному главному лесничества следующее: «Лично мною Вам было преуказано, что из вышедших из больницы военнопленных содержаться за счет лесничества [могут] лишь имеющие медицинскую записку о необходимости для них отдыха для восстановления сил и не более указанного в записке числа дней, а остальные должны быть использованы на той или другой работе. Ежедневной стоимостью содержания одного военнопленного Вами было признано вполне достаточным 40 коп. ...В представленном же Вами счете от 17 ноября помещены такие военнопленные, в записках которых нет указания о необходимости отдыха и, следовательно, не имеющие права на содержание за счет лесничества, некоторые же имели это право на меньшее число дней, чем значится в Вашем счете, причем стоимость содержания вместо 40 коп. Вами поставлена в счете 50 коп. Такой счет не может быть оплачен, поэтому предлагаю Вам прислать мне новый счет, составленный исходя из 40 коп. ежедневного содержания, поместив в нем только имеющих право на содержание за счет лесничества военнопленных и приложив к счету их медицинские записки» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 228, л. 4—4 об.].

Дискуссия продолжилась на совещании, состоявшемся 8 марта 1916 г. в главном лесничестве округа. Собравшиеся, признав, что высокой заболеваемости пленных способствует не только их длительная транспортировка на Северный Урал, но и неблагоприятные условия труда, вынуждены были констатировать факт явной недостаточности наличных медицинских сил, а вместе с ним и необходимости дополнительных вложений в устройство медицинской службы, требующихся для оборудования казарм военнопленных котлами для кипячения воды, подготовки специальных барачков для цинготных больных, оборудования в районах куренных работ «вполне благоустроенных» бань взамен зырянских черных бань, привлечения фельдшеров в неблагополучные Петропавловское, Филькинское, Марсятское и Турьинское лесничества, «так как в противном случае на пересылку пленных в госпитали Богословска и Надеждинска теряется много времени и это стоит значительных денег. В Богословском лесничестве, куда поступают по выходе из Богословской больницы все военнопленные других лесничеств, также необходимо усилить медицинский персонал одним фельдшером для южной и юго-западной части дачи, откуда летняя доставка заболевших пленных в завод будет очень затруднительна... Для отпуска потребного на это кредита предложено представить в ближайшем времени соответствующие сметы» [Там же, д. 272, л. 7 об.—8]. Какие суммы фигурировали в соответствующих документах, сказать затруднительно, что, однако, не мешает выразить уверенность в накладности медицинского обслуживания пленных иностранцев. При этом очевидно, что в условиях, когда «упорная борьба

⁶ Военные власти принимали от работодателей только хронически и психически больных военнопленных [см. подробнее: ГАПК, ф. 146, оп. 1, д. 94, л. 173, 231; ГАСО, ф. 123, оп. 1, д. 75, л. 3; ф. 55, оп. 1, д. 982, л. 69].

с болезнями» шла параллельно с борьбой за минимизацию расходов, первая могла быть лишь относительно успешной.

В поисках виновных в высокой заболеваемости пленных губернская администрация инициировала специальную проверку, попутно выразив свое неудовольствие излишней свободой пленных и неоправданно высокими затратами округа на их пропитание. Особенно дорогим показалось довольствие пленных, отправленных на рубку дров, предполагавшее ежедневный отпуск каждому рубщику 1,5 фунта (600 г) белого и столько же черного хлеба стоимостью 18 коп., 0,5 фунта (200 г) мяса (10 коп.), а также чая (1 коп.), сахара (2 коп.), масла (3 коп.), разных круп (4 коп.) и приварки (перца, лука, капусты и пр., 2 коп.), всего на сумму 40 коп. [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 272, л. 6]. В сравнении с 14 копейками, положенными солдатам русской армии, это было действительно многовато. Однако при этом явно не учитывались ни декларативность действовавших норм [см. об этом: Там же, л. 10], ни инфляция и порожденные ею дороговизна и дефицит продуктов, ни тот факт, что плата за пропитание относилась округом на счет пленных как составная часть расходов по содержанию. Жалованье кашеварам (18 рублей в месяц готовившим на артель свыше 30 чел. и 15 рублей в месяц — на артель менее 30 чел.) также выплачивалось не из окружной казны, а складывалось посредством вычета из ежедневного заработка каждого пленного двух копеек. Тем не менее было бы большим заблуждением полагать, что организация довольствия пленных обходилась обществу «дешево и сердито». Справиться с заготовкой «съестных припасов» на такую орарву округу так и не удалось. Не преуспела его материальная служба и в их своевременной доставке, в результате чего «в некоторых пунктах наблюдались весьма острые недостатки в продуктах первой необходимости, а в особенно удаленных пунктах дело доходило почти до голодов» [Там же]. Промучившись около года, администрация БГО в конце концов отдала закуп продуктов, а вместе с ним и приготовление пищи в руки самих пленным. Кроме того, к середине 1916 г. в целом ряде отделов БГО пришлось организовать и содержать собственные хлебопекарни, поскольку местная «стряпня» не отличалась должным качеством. В августе 1916 г. рыночная конъюнктура снова заставила окружное руководство проявить расточительность: пленным иностранцам было разрешено приобретать продукты по льготным, убыточным для округа ценам наравне с русскими рабочими. Через год «из-за создавшихся тяжелых условий получения продуктов» проблема пропитания превратилась едва ли не в главную и в дальнейшем лишь усугублялась. И если раньше округ не был готов к ее оперативному решению, то теперь для этого просто не было никаких возможностей [см.: Там же, ф. 24, оп. 20, д. 2825, л. 71—71 об.; ф. 45, оп. 1, д. 1041, л. 1 об.].

Округ оказался совершенно не готов и к проблеме обмундирования пленных. Вроде бы, как и в вопросе с продовольствием, оно не предполагало никаких затрат: на работы пленные должны были сдаваться военным ведомством полностью обмундированными, в то время как дальнейшее обновление гардероба вражеских военнослужащих предписывалось производить за счет их заработка. Но не тут-то было. Уже первые партии пленных прибыли в округ «в неисправной ветхой одежде. Многие были без белья, в рваной обуви» [Там же, ф. 45, оп. 1,

д. 1041, л. 1–2]. Для починки амуниции пришлось заводить специальные мастерские, ежемесячно взимая с пленных за производство этих работ по 40 копеек [см.: Там же, д. 272, л. 6]. Однако ремонт белья, одежды и обуви оказался затеей малопродуктивной, вполне оправдывая известную русскую поговорку про леченую кобылу. В поисках пригодного для носки «платья» агенты округа сбились с ног. При этом все то, что им удавалось «раздобыть», не отличалось надлежащим качеством. «Особенно плохи были пимы, которые во многих случаях выдавались пленным в период зимы в количестве двух, трех и даже четырех пар. Много одежды было получено малых размеров, но по необходимости пленные должны были получать это и погашать их стоимость из своего скудного заработка», — констатировали лесничие БГО в марте 1916 г. [ГАСО, ф. 435, оп. 1, д. 2065, л. 112 об.].

Мириться с таким положением вещей администрация общества не хотела, периодически призывая военные власти к заведенному ими же порядку. К примеру, осенью 1916 г. руководство округа обратилось в штаб Иркутского военного округа с такой вполне законной просьбой: «Настоящим управление округом имеет честь уведомить, что прибывшие в августе с[его] г[ода] на работы в БГО в[оенно]п[ленные] в числе 4440 человек по назначению Штаба Иркутского в[оенного] о[круга] не были снабжены следующими предметами:

Партии из	Шинелями	Сапогами	Переменной белья	Партии из	Шинелями	Сапогами	Переменной белья
Шуи	40	43	89	Ковеля	1		1
Сретенска ⁷	1	356	164	Киева			1
Нижнего Новгорода	5	14	23	Кашина	6	7	8
Починки	15	60	56	Трой-Козовки	1	2	4
Канска	14	22	16	Паской	1		1
Красноярска	113	99	57	Березовки		8	5
Лукоянова	53	20	87	Иваново-Вознесенска	3	10	22
Бишанска		1	1	Ачинска		1	
Тамбова		1	2	Риги			4
Даурия		2	5	Ташкента		1	1
Сопоков-Вольни		1	1	Верхне-Удинска	1	46	35
Москвы	34	46	46	Каинска	87	16	
Шатина			1	Всего	375	756	631
Вологодска			1				

Ввиду изложенного управление округом имеет честь просить штаб округа сделать распоряжение о присылке недостающих поименованных предметов для снабжения военнопленных» [Там же, ф. 45, оп. 1, д. 1041, л. 9–9 об.].

⁷ Здесь и далее название населенных пунктов, как и вся таблица, приводятся точно по документу.

Вероятнее всего, вежливое обращение администрации БГО встретило вежливый же отказ, не исключено, что молчаливый. А пленные между тем продолжали прибывать в округ полураздетыми и полуразутыми. 27 января 1917 г. до Надеждинского завода добралось 68 военнопленных из Солигалича, «и при них шуб восемь, пиджаков шестнадцать, шинелей сорок три, мундиров шестьдесят семь, шаровар шестьдесят восемь, фуражек шестьдесят восемь, сапогов или ботинок сорок девять, пимов две пары, рубах шестьдесят восемь, кальсон шестьдесят восемь, полупальто два, лаптей семнадцать, портянок четыре пары. У всех не имеется сменного белья. Из обуви, а также как из верхнего, так и нижнего платья и белья многое в плохом и изношенном виде» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1100, л. 32–33]. Некоторые вообще были босыми и, как результат, обмороженными.

То, что прибывших в округ пленных, как правило, приходилось одевать с головы до ног, имело свои печальные последствия. Пленные иностранцы превращались в безнадежных должников округа, не успев приступить к какой бы то ни было работе. К середине 1916 г. в среднем на каждого из них приходилось более 30 рублей долга, в то время как по округу сумма их совокупного обременения достигла полумиллиона рублей [см.: Там же, д. 1041, л. 1–2]. При том те несчастные, которые по тем или иным причинам, и прежде всего по состоянию здоровья, не могли выходить на работу каждый день, имели в своем пассиве более 100 рублей. Так, военнопленный Антон Янек к концу 1916 г. задолжал округу 106,59 рубля, Иван Турда — 113,63 рубля, Франц Дуж — 126,71 рубля, Иозеф Пуц — 134,84 рубля, Франц Петер — 144,15 рубля, а Томаш Иван и вовсе 159,28 рубля [Там же, д. 1006, л. 129 об., 131 об., 139 об., 148 об., 151 об.].

Такая ситуация не устраивала ни военнопленных, ни окружное начальство, которое изменить ситуацию в лучшую сторону так и не смогло. Во избежание скапливания за пленными непосильных долгов управляющий округом еще в июне 1916 г. подписал циркуляр, гласивший: «Военнопленные должны быть снабжены на зиму за их счет теплым платьем. Предполагается заготовить на каждого стеганые пиджаки, такие же брюки, теплые шапки, пимы и погашать их стоимость равномерными удержаниями со времени выдачи по 1/5 заработка в месяц. Пленные, желающие получить полушубки, должны о том заявить теперь же, и получают их только те, кто на них запишутся и изъявят согласие производить за них удержание начиная с конца августа по 3 р[убля] 50 к[опеек] до полной оплаты» [Там же, д. 222, л. 13]. Но реальность, выражавшаяся в выдаче пленным только непригодного для армии, т. е. некачественного и быстро выходящего из строя, обмундирования, поставила жирный крест на расчетливых планах окружной администрации. Ее новое распоряжение, в соответствии с которым в погашение долга из заработка пленных вычиталась «1/3 избытка сверх 60 копеек», исправить положение не помогло, почему округ продолжал одевать и обувать большую часть своих иностранных работников «в кредит» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1041, л. 1 об.]⁸.

⁸ Помимо БГО, «кредит» военнопленным открыли такие предприятия, как общество Верхотурских горных заводов, Нижнетагильский и Лушевский округа, Кыштымские горные заводы и мн. др. [см.: ГАСО, ф. 47, оп. 1, д. 1192; ф. 72, оп. 2, д. 813; ф. 643, оп. 4, д. 343; и др.].

При этом в округе считали, что задолженность пленных есть не что иное, как прямое следствие взимания с пленных солидных отчислений в так называемый особый фонд [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 245, л. 219]. Действительно, осуществлявшиеся вплоть до мая 1916 г. переводы в доход казны сначала трети, а затем четверти заработка военнопленных заметно ограничивали свободу округа в производимых с ними расчетах. Однако долгожданная отмена непопулярного среди предпринимателей решения правительства внесла в окружную бухгалтерию отнюдь не такие серьезные коррективы, как ожидалось (табл. 1–3). Число должников и средняя задолженность пленных перед предприятиями округа начали сокращаться, но назвать темпы их сокращения стремительными означало бы погрешить против правды: в течение года первый показатель снизился только на 23,6 %, а второй — всего на 8,8 %.

Очевидно, что вмешательство правительства в «товарно-денежные отношения» между пленными иностранцами и предприятиями не являлось главным препятствием в реализации их более оптимистичного сценария. Сокращаясь весной — летом и подрастая осенью — зимой, задолженность пленных перед округом стала явлением стационарным, характеризуя изъяны системы администрирования и обеспечения отвоёванных военнопленных противника в целом, а не ее отдельных звеньев. Очевидно, что изначально затратоемкая организация труда и быта пленных иностранцев, практически полностью отданная властями на откуп частным предприятиям, ожидаемо превратилась в сферу не поддающихся проверке математических операций. Долги пленных, в структуре которых, кроме платы за постой, охрану, содержание и обеспечение, как это ни парадоксально, фигурировали также плата за перемещения внутри округа, стоимость «потребных рабочих инструментов» и пр., обнаруживали со всей откровенностью тот факт, что тратиться на иностранных работников общество попросту не хотело. Выходило, что, вынужденно принимая на свой счет большинство издержек по содержанию и обеспечению, военнопленные были должны округу за возможность своего же трудоустройства. Стоит ли удивляться, что самоотверженно трудиться они не желали?

Производство и трудовые отношения

Для руководства Богословского горного округа антирекорды производительности труда военнопленных стали неприятным сюрпризом, который не заставил себя ждать. Уже 4 июля 1915 г. заведующий доменным цехом Надеждинского завода сообщил директору завода барону Е. А. Таубе: «При сдельных работах военнопленные зарабатывают значительно меньше русских. Так, при выгрузке руды из вагонов военнопленный разгружает в два-три раза меньше русского, причем в столько же раз уменьшается его заработок по сравнению с заработком русского»; «При поденных работах военнопленные работают гораздо медленнее русских, что вызывается отчасти отсутствием того старания, которое замечается у русских. Приходится ставить лишних, вместо 12 русских на откатке чугуна, например, приходилось 14–16 австрийцев» [Там же, д. 245, л. 219–219 об.].

Таблица 1

Число должников и средняя задолженность пленных перед отделами округа по состоянию на 1 января 1916 и 1917 гг.*

Отдел округа**	Всего пленных/в том числе должников, чел.		Процент должников, %		Максимальный долг, р.		Долг в среднем на одного пленного, р.		Динамика средней задолженности, ± р.
	на 01.01.1916	на 01.01.1917	на 01.01.1916	на 01.01.1917	на 01.01.1916	на 01.01.1917	на 01.01.1916	на 01.01.1917	
Богословская каменноугольная копь	369/352	643/317	95,4	49,3	60,59	102,55	22,71	13,28	-9,43
Богословский медеплавильный завод	112/112	155/94	100	60,6	144,28	143,01	79,91	23,35	-56,56
Богословская каменоломня	30/28	90/84	93,3	93,3	65,95	119,65	26,37	32,76	+6,4
Васильевский медный рудник	86/80	158/121	93,0	76,5	110,39	189,92	48,83	37,0	-11,83
Никитинский медный рудник	49/49	77/72	100	93,5	91,83	160,13	50,14	81,5	+31,3
Самский железный рудник	185/166	508/452	89,7	88,9	68,84	185,25	23,3	54,37	+31,07
Химический завод	16/15	35/15	93,7	42,9	33,50	87,65	15,6	15,42	-0,18
Центральный магазин БГО	22/22	117/84	100	71,7	81,22	122,28	41,43	23,4	-18,01
<i>Итого</i>	<i>869/824</i>	<i>1783/1239</i>	<i>95,6</i>	<i>72,0</i>			<i>38,53</i>	<i>35,13</i>	<i>-3,4</i>

* Источник: [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 997, л. 22 об. — 32, 101 об. — 121, 209 об. — 213, 214 об. — 230, 313 об. — 329, 444 об. — 498, 719—724, 731—795, 799—854, 935—939, 960 об. — 966; ф. 45, оп. 1, д. 1098, л. 44—144, 147—158, 164 об. — 167, 207—223, 240—253, 258 об. — 269, 271—279, 280—336, 350—369, 400 об. — 410].

** По другим отделам округа сопоставимые данные отсутствуют.

Окружная администрация, сомневавшаяся в продуктивности труда пленных по причине отсутствия у них необходимых знаний и навыков, была обескуражена тем, что корень проблемы оказался совсем в другом: на работу вражеские военнослужащие смотрели как на тяжелую повинность и использовали любую возможность от нее уклониться. Так, австрийцы Карл Рениш и Карл Шемиц 30 ноября 1915 г. наотрез отказались выходить на работу, ссылаясь на то, что продукция Надеждинского завода шла на удовлетворение нужд армии, в то время как статья VI Гаагской конвенции о военнопленных 1907 г. запрещала использовать их на любых производствах, связанных с военными действиями. 10-дневный арест «отказников» должного эффекта не возымел. 9 декабря пленные были возвращены на работы, но уже на следующий день категорически заявили, «что ни на какую работу они не пойдут и что вообще работать они не хотят и не будут» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 245, л. 172].

Управление округа ломало голову в раздумьях над тем, как же заставить военнопленных изменить свое отношение к труду. Для борьбы с «саботажниками» в конце мая 1915 г. на предприятиях общества были введены штрафные санкции. За первый пропущенный день провинившийся наказывался 50 коп. штрафа, удерживаемого из его заработка, за второй — 75 коп., за третий — 1 рублем. «Прогульщик», не вышедший на работу четыре дня подряд или более шести дней в месяц в разное время, возвращался в распоряжение местных военных властей [Там же, д. 228, л. 17]. Однако вскоре военное ведомство принимать «уклонистов» отказалось, резонно считая, что их праздное пребывание в лагерях только способствует росту статистики «отказников». Тогда вместо «кнута», точнее, наряду с «кнутом» окружная администрация пустила в ход «пряник».

В начале июля 1915 г. управляющий БГО С. С. Постников подписал циркуляр, суливший пленным следующие блага: «Управление предлагает объявить военнопленным, что тем из них, которые проявят себя исправными, производительными рабочими, Общество гарантирует получение удерживаемой одной трети [зарплата] лично ими при отъезде по окончании войны на родину, а потому эта треть будет считаться по их личному счету. Кроме того, разрешается покупка таким пленным через администрацию отделов предметов первой необходимости при недостатке на то остальных двух третей [зарплата], также и за счет первой трети» [Там же, л. 33].

Указанной льготы лишались совершившие какие-либо проступки или проявившие «леность» пленные, которые в целях «перевоспитания» подлежали отправке на лесные работы в район рек Тоты и Каквы. Условия содержания здесь были суровыми, а питание скудным. Оно осуществлялось по нормам, установленным военным ведомством (2 фунта хлеба, 24 золотника крупы, 1 фунта мяса и т. д. в день), но полагалось лишь тем, кто это пропитание заработал. Проблема, однако, состояла в том, что число тех, кого следовало бы сослать на Тоту и Какву, превосходило все мыслимые и немыслимые пределы. Выход был найден незамедлительно: во всех отделах округа «нерадивым» пленным стали выдавать уменьшенный паек, причем мера эта рассматривалась как целесообразная «только при усиленном надзоре и полной изоляции плохо ра-

ботающих от исправных» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 272, л. 6]. Если в течение недели производительность труда пленного не увеличивалась, его переводили на хлеб и воду. Очевидно, что здравого смысла в этом решении было немного, поскольку ждать от полуголодных людей трудовых подвигов просто наивно. Администрация же БГО, свято верившая в возможность повышения результативности труда пленными, продолжала проявлять изобретательность.

Весной 1916 г. главное лесничество округа признало необходимым прикрепить к каждому 100 военнопленным особого пилонера с окладом 30 рублей в месяц. Осенью 1916 г., помимо пилонеров, в лесничествах «завели» еще и специальных «указателей по рубке», избравшихся из опытных и надежных зырян: «... Для Надеждинского лесничества — 4-х человек, Морозковского — 2-х, Филькинского — 1-го, Марсятского — 2-х, Турьинского — 2-х, Петропавловского — 2-х, Богословского — 2-х, всего — 15 человек ... Считая, что при добром желании и энергии возможно рубку дров пленными упорядочить в 1,5 месяца, эти “указатели по рубке” назначаются с запасом на два месяца... Теперь лесничества могут упорядочить работу пленными, и Главное лесничество имеет право ожидать в ближайшее время повышения нормы рубки и уменьшения долгов за пленными» [Там же, д. 234, л. 8–9].

«Леность» и «нерадивость» пленных, чей труд согласно введенным в действие 17 марта 1917 г. Правилам об отпуске военнопленных для работ в частных промышленных предприятиях надлежало оплачивать на тех же условиях, что и труд местных рабочих (ст. 9), ожидаемо вызвали неудовольствие последних. 18 июня 1915 г. уже упомянутый заведующий доменным цехом Надеждинского завода сообщил директору завода барону Е. А. Таубе: «За последнее время среди рассчитывающихся рабочих очень большой процент составляют старые, опытные рабочие, которые свой уход из доменного цеха мотивируют... совместной работой с военнопленными. До вчерашнего дня этих жалоб не поступало; вчера же впервые начали заявлять свое нежелание работать на одинаковых с пленными условиях, так как пленные работают во много раз медленнее, и поэтому нашим рабочим приходится заменять их своим трудом» [Там же, д. 245, л. 207]. В конечном итоге от оплаты труда вражеских военнослужащих по «нормальной табели» отказались практически все предприятия округа, ввиду того, что такой порядок был бы несправедлив по отношению к «своим» рабочим, поскольку они, в отличие от пленных, тратят свой заработок не только на себя, но и содержат свои семьи [Там же, д. 1041, л. 1]. Это было одновременно и верно, и неверно, поскольку местные рабочие, действительно тратившие свой заработок на себя и свои семьи, распоряжались им по собственному усмотрению, тогда как пленные такой привилегии были лишены и едва ли понимали хоть что-то в бухгалтерии, связанной с оплатой их скромного труда и затратами на их не менее скромное содержание (см. табл. 2).

Негласный отказ от официально провозглашенных принципов оплаты произведенных пленными работ стал одним из главных факторов, сводивших на нет все попытки окружной администрации повысить производительность подневольного труда. Но занижение тарифных ставок имело своим закономерным последствием не только «нищенский оклад заработка» пленных. Кроме того,

Таблица 2

Содержание и заработок военнопленных на предприятиях Богословского горного округа за декабрь 1915 г.*

Отдел округа	Число пленных, чел.	Общая сумма выработки, р.	Общие затраты на содержание и обеспечение пленных, р.	В т. ч. выдано припасов и разного удержания, р.	В т. ч. выдано пленным на руки, р.	Долг пленных на 1 декабря 1915 г., р.	Долг пленных на 1 января 1916 г., р.
Богословская каменоломня	30	2328,17	2981,79	2260,99	720,8	580,52	791,14
Самский железный рудник	185	2804,62	3829,04	3138,64	690,40	3469,2	4311,53
Экспедиция БГО	65	1685,75	2577,65	2343,65	234,0	1412,65	2304,55
Богословский медеплавильный завод	112	1959,47	3178,7	2759,06	419,64	7735,84	8949,94
Покровский железный рудник	159	2599,99	3244,68	3179,68	65,0	1923,77	2581,80
Ауэрбаховский железный рудник	522	7222,94	8474,32	7558,3	916,02	7475,88	8185,53
Никитинский медный рудник	49	968,81	1004,28	933,78	70,50	2421,72	2457,19
Богословский медный рудник	79	1858,62	1588,96	1328,66	260,30	1531,25	1334,38
Флоровский медный рудник	55	1121,13	1263,89	1138,59	125,30	2365,23	2509,99
Васильевский медный рудник	86	1549,09	2128,85	1949,90	178,95	3716,73	4199,78
Воронцовский железный рудник	453	3966,23	5579,46	5262,56	316,90	9242,53	8088,16
Богословская каменноугольная копь	369	8790,16	8471,08	7295,28	1175,80	8652,03	8382,0
Центральный магазин БГО	22	496,87	830,33	738,93	91,40	578,10	911,56
Химический завод	16	455,51	483,93	432,73	51,20	217,84	249,70
<i>Итого</i>	<i>2202</i>	<i>37807,36</i>	<i>45636,96</i>	<i>40320,75</i>	<i>5316,21</i>	<i>51323,29</i>	<i>55257,25</i>

* *Источник:* [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 997, л. 22 об. — 32, 101 об. — 121, 209 об. — 213, 214 об. — 230, 313 об. — 329, 444 об. — 498, 719—724, 731—795, 799—854, 935—939, 960 об. — 966].

Таблица 3

Содержание и заработок военнопленных на предприятиях Богословского горного округа за декабрь 1916 г.*

Отдел округа	Число пленных, чел.	Общий заработок, р.	Общие затраты на содержание и обеспечение пленных, р.	В т. ч. выдано припасов и разного удержания, р.	В т. ч. выдано пленным на руки, р.	Долг пленных на 1 декабря 1916 г., р.	Долг пленных на 1 января 1917 г., р.
Богословская каменноугольная копь	643	19255,07	19073,32	10688,32	8385	8408,03	8539,33
Масловская выемка	109	1507,46	1896,09	1884,09	12,0	1245,98	1686,74
Разведочный цех	19	450,84	473,71	371,71	102,0	97,16	93,68
Богословский медеплавильный завод	155	4919,71	4103,49	2694,2	1409,29	4270,29	3618,50
Васильевский медный рудник	158	3848,16	3890,55	2736,5	1154,05	5822,64	5843,61
Богословская каменоломня	90	2023,11	2832,37	2703,37	129,0	2830,23	2949,13
Никитинский медный рудник	77	1562,22	1577,53	1389,18	188,35	6275,51	6273,20
Самский железный рудник	508	8263,6	10976,3	9233,3	1743,0	24734,37	27621,19
Центральный магазин БГО	117	3178,0	3221,28	2329,68	891,6	2884,41	2739,02
Химический завод	35	3178,98	3453,21	1812,28	1640,93	492,74	540,05
<i>Итого</i>	<i>1911</i>	<i>48187,15</i>	<i>51497,85</i>	<i>35842,63</i>	<i>15655,22</i>	<i>57061,36</i>	<i>59904,45</i>

* *Источник:* [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1098, л. 44–144, 147–158, 164 об. – 167, 207–223, 240–253, 258 об. – 269, 271–279, 280–336, 350–369, 400 об. – 410].

баланс между суммой выработки, с одной стороны, и суммой, потраченной на содержание, обеспечение и поощрение вражеских военнопленных, с другой, был преимущественно отрицательным, что лишало пленников всякой надежды на избавление от долговой кабалы. Редкие же исключения из этого правила его скорее подтверждали, нежели опровергали (см. табл. 2 и 3). Выходило, что пленные, призванные обеспечить слаженное функционирование окружного хозяйства, приносили ему одни убытки. Однако так ли это было на самом деле? Точнее, до какой степени это было верно?

Характеризуя труд военнопленных как «в массе очень непродуктивный и обходящийся заводам много дороже труда прочих рабочих», управление Богословского горного округа, безусловно, не лукавило [ГАСО, ф. 111, оп. 1, д. 20, л. 31 об.]. Однако азарт, с которым окружное начальство «сражалось» за сохранение уже полученных и приобретение новых партий пленников иностранцев косвенно указывает на то, что посредством урезания их заработка и завышения производимых с них вычетов руководство округа все-таки исхитрилось заработать на вражеских военнопленных не только моральные проценты. И вся та бухгалтерия, которая воспроизводилась из одной ведомости в другую, если и отражала объективную реальность, то только в том смысле, что показывала нехитрый механизм, позволивший извлечь выгоду из бесперспективного в своей основе трудоустройства пленников иностранцев⁹.

Вместе с тем «лагеризация» окружного производства так и не дала ожидаемого экономического эффекта — сохранения стабильной динамики выпуска продукции. По данным Центрального военно-промышленного комитета, за 9 месяцев 1916 г. в Богословском горном округе было недовыплавлено свыше 2 млн пудов металла по сравнению с уровнем 1914 г. (почти 24 %), в то время как число занятых на предприятиях общества рабочих увеличилось на 26–27 % [см.: Там же, ф. 123, оп. 1, д. 3, л. 446]. Таким образом, пленные, принудительная интеграция которых в хозяйственную жизнь Богословского округа должна была иммунизировать местные институты от тенденций деградации, им, наоборот, способствовали, тем самым не только пассивно претерпевая историю, но и активно ее творя.

Буранов Ю. А. Акционирование горнозаводской промышленности Урала (1861–1917). М., 1982.

Ведомость о количестве рабочих, занятых в горной промышленности Урала на 1-е октября 1916 г. // Доклад Совета XXII Очередному Съезду Горнопромышленников Урала об обеспечении уральских горнозаводских предприятий рабочими, в связи с войной. Пг., 1917.

⁹ Описанный механизм использовался не только в Богословском округе, о чем свидетельствует письмо Министерства труда и промышленности от 16 декабря 1916 г.: «...По имеющимся сведениям, некоторые промышленные предприятия расценивают труд работающих у них военнопленных ниже существующих цен, расходы же предприятия показывают в повышенном размере, в результате чего при расчете пленным не только не причитается чего-либо за производимые ими работы, но они оказываются в долгу у данного предприятия» [ГАСО, ф. 47, оп. 1, д. 1192, л. 96].

ГАСО. Ф. 24, 45, 47, 111, 123, 435.

Движение эпидемического персонала, командированного в уезды губернским земством // Врачебно-санитарная хроника Пермской губернии, 1916. № 5–6.

К положению военнопленных на Урале // Изв. Урал. обл. Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и Екатеринбургского Совета рабочих и солдатских депутатов. 1918. 10 апр.

Отобрание пленных // Зауральский край. 1917. 5 февр.

Систематический свод постановлений Пермского губернского земского собрания 58–62 чрезвычайных сессий и 47 очередной сессии 1916–1917 гг. Пермь, 1917.

Nachtigal R. Kriegsgefangenschaft an der Ostfront, 1914–1918 : Literaturbericht zu einem neuen Forschungsfeld. Frankfurt a/M, 2005.

Статья поступила в редакцию 31.03.2011 г.

УДК 67/68(470.5) + 338.24(470.5)

С. В. Горшков

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ЛЕГКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УРАЛА В 1959–1965 гг.

На основе архивных материалов исследуются структура, удельный вес инвестиций в легкую промышленность региона в 1959–1965 гг., в том числе в отраслевом и территориальном разрезах, а также процесс их освоения. Показана неоднозначная роль местных органов власти в развитии легкой индустрии края в годы семилетки.

К л ю ч е в ы е с л о в а: Урал; легкая промышленность; капитальные вложения; средства; местные органы власти.

Экономическая политика КПСС, направленная на преимущественный рост отраслей промышленности группы А за счет сельского хозяйства и отраслей группы Б, вызывала в условиях Урала — региона, исторически сложившегося как форпост тяжелой индустрии страны, неизбежный процесс дальнейшего «утяжеления» структуры народного хозяйства.

В конце 50-х гг. XX в. в экономике Уральского экономического района сложилась противоречивая обстановка. Незначительный удельный вес легкой и пищевой промышленности в народном хозяйстве края порождал постоянную нехватку товаров народного потребления и продуктов питания. В условиях административно-распределительной экономики это, с одной стороны, ставило Урал в зависимость от ввоза товаров народного потребления из других регионов страны; с другой стороны — усиливало зависимость местных органов от центральных, занимавшихся распределением фондов, лимитов и т. д. Кроме того, в годы семилетки (1959–1965) в регионе отчетливо проявился новый дестабилизирующий социально-политический фактор, связанный с ростом социальной напряженности в связи с дефицитом товаров и продовольствия, а также с наличием избытка трудовых ресурсов в виде скрытой формы безработицы, по преимуществу женщин и подростков, в малых и средних городах края.

Данная ситуация объективно требовала от местных органов власти принятия определенных мер по развитию отраслей социального комплекса, в первую очередь легкой и пищевой индустрии. Поэтому одной из задач партийных, государственных и хозяйственных органов Уральского региона становилась работа с центральными организациями по увеличению объема инвестиций, направляемых на развитие легкой и пищевой промышленности края, и в первую очередь на строительство новых предприятий.

В рассматриваемые годы объем капитальных вложений нарастал. За 1961—1965 гг. в легкую индустрию Урала было направлено 78,9 млн руб., что составляло 7 % капиталовложений в легкую промышленность РСФСР, в которую за этот период было инвестировано 1 120 млн руб. [см.: Плац, с. 41, 60]. Это в 4 раза больше, чем было вложено в развитие легкой индустрии края за предыдущие 7 лет (1952—1958), когда было инвестировано свыше 19,1 млн руб. [см.: ГАРФ, ф. 403, оп. 1, д. 967, л. 1].

Однако следует отметить, что удельный вес капитальных вложений, направленных на развитие легкой промышленности региона, был почти в 2 раза ниже, чем в целом по республике, и доля их была весьма незначительна (табл. 1).

Таблица 1

*Удельный вес инвестиций, направленных на развитие легкой промышленности РСФСР и Урала, к общему объему капиталовложений (1961—1965 гг.)**

Показатель	РСФСР	Урал
Всего капиталовложений, млн р.	134420	16497
Легкая промышленность, млн р.	1120	78,9
К общему объему, %	0,83	0,48

* Подсчитано по: [Народное хозяйство РСФСР в 1970 г., с. 313—320; Плац, с. 41, 60].

Соответственно росту инвестиций в легкую промышленность края увеличивались и ее основные фонды, о чем свидетельствуют данные табл. 2.

В Уральском экономическом регионе за период 1959—1965 гг. основные промышленно-производственные фонды в легкой индустрии увеличились более чем в 3 раза, т. е. на 125,4 млн руб. Их стоимость на 1 января 1966 г. составила 187,8 млн руб.

Наибольшие темпы прироста наблюдались в Пермской области (почти в 4 раза), в Свердловской и Челябинской (в 3 раза). В этих трех областях темпы роста основных фондов были выше, чем в целом по Уралу. На долю Свердловской, Пермской и Челябинской областей к концу семилетки приходилось более 70 % всех промышленно-производственных фондов легкой промышленности Урала. В этих областях в рассматриваемый период происходило строительство новых крупных предприятий отрасли, таких как Свердловский камвольный комбинат, Нижнетагильская трикотажная фабрика, Чайковский комбинат шелковых тканей и др.

Таблица 2

*Ввод в действие основных промышленно-производственных фондов
в легкой промышленности Урала в 1959–1965 гг.**

Регион, область	Основные промышленно-производственные фонды, млн р.		Абсолютный прирост за семилетку, млн р.	1965 к 1959, %	Удельный вес промышленно-производственных фондов, %	
	1959**	1966			1959	1966
Урал	62,4	187,8	125,4	301,0	100	100
Курганская	3,2	8,9	5,7	280,6	5,1	4,7
Оренбургская	8,0	23,1	15,1	287,6	12,9	12,3
Пермская	11,6	45,8	34,2	395,8	18,6	24,4
Свердловская	17,8	55,1	37,3	309,6	28,5	29,3
Челябинская	10,4	32,2	21,8	309,7	16,7	17,2
Удм. АССР	11,4***	22,7	11,3	198,7	18,2	12,1

* Подсчитано по: [ГА РФ, ф. 374, оп. 31, д. 3230, л. 3; д. 3259, л. 3; д. 3269, л. 3; д. 3272, л. 3; д. 3287, л. 3; оп. 35, д. 3601, л. 4, 11, 18, 31, 38; ГАСО, ф. 1813, оп. 1, д. 997, л. 43; д. 1499, л. 176].

** Данные приводятся на 1 января 1959 г.

*** Данные на 1 января 1960 г.

Наименьший прирост основных производственных фондов происходил в Удмуртской АССР, Курганской и Оренбургской областях (см. табл. 2). Такое положение объяснялось рядом причин. Во-первых, подавляющая часть капиталовложений в годы семилетки направлялась на развитие народного хозяйства именно Свердловской, Челябинской и Пермской областей. Так, в 1961–1965 гг. в эти области было направлено почти 75 % всех инвестиций, вложенных в экономику Урала, тогда как в Удмуртскую АССР, Курганскую и Оренбургскую области — 25 % [см.: Народное хозяйство РСФСР в 1970 г., с. 320; Народное хозяйство РСФСР в 1974 г., с. 311]. Во-вторых, в силу внутрирайонного разделения труда значительная часть капиталовложений в Удмуртской АССР, Курганской и Оренбургской областях шла на развитие сельского хозяйства, что и предопределило к концу семилетки низкий удельный вес, занимаемый ими по основным производственным фондам легкой промышленности.

Выделенные средства, как правило, направлялись в наиболее рентабельные подотрасли текстильной промышленности — шелковую, трикотажную, шерстяную. Так, в 1965 г. удельный вес текстильной промышленности в легкой промышленности Урала возрос по сравнению с 1960 г. на 12,7 % по величине основных производственных фондов, на 6,4 % — по объему валовой продукции (табл. 3).

Партийные органы уральских областей неоднократно выходили с предложениями в Советы министров СССР и республики, Госплан РСФСР и другие центральные органы с просьбой выделить дополнительные средства для строительства и реконструкции предприятий легкой промышленности.

В мае 1960 г. Свердловский обком КПСС, облисполком и Совнархоз обратились с письмом в Бюро ЦК КПСС по РСФСР, Совет министров РСФСР и Госплан республики с обоснованием дополнительного выделения капитальных

Таблица 3

*Удельный вес легкой промышленности Урала по отраслям в 1960, 1965 гг.,
% к легкой промышленности в целом*

Отрасль легкой промышленности	Объем валовой продукции	Численность пром.-произв. персонала	Размер основных производственных фондов	Объем валовой продукции	Численность промышленно-произв. персонала	Размер основных производственных фондов
	1960			1965		
Текстильная	20,0	20,4	36,8	26,4	21,3	49,5
Швейная	50,8	54,9	37,2	56,5	62,5	29,7
Кожевенно-обувная	28,1	23,7	23,7	16,6	15,4	18,6
Производство дубильных экстрактов	0,7	0,4	2,6	0,3	0,4	2,0
Прочая	0,4	0,6	0,2	0,2	0,4	0,2

* Составлено по: [Плац, с. 49].

вложений на семилетку на развитие легкой индустрии в сумме 24,8 млн руб. с целью «сокращения ввоза товаров народного потребления... и увеличения занятости в сфере материального производства женщин и других категорий населения, не находящих применения своего труда в отраслях тяжелой промышленности» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 60, д. 122, л. 167].

Предусматривалось выделить 2 млн руб. на реконструкцию двух обувных фабрик — «Спортобувь» и «Уралобувь», что позволяло довести к 1965 г. выпуск обуви с 12 млн пар, запланированных семилетним планом, до 18,5 млн пар в год. Более 17 млн руб. намечалось направить в текстильную промышленность для строительства новых мощностей: в частности, предусматривалось строительство трикотажных фабрик в Карпинске и Свердловске, гардинно-тюлевой в Краснотурьинске и ряда других объектов. Остальные средства должны были пойти на строительство и реконструкцию швейных и галантерейных фабрик. Дополнительные инвестиции в швейную промышленность позволяли увеличить ежегодный выпуск швейных изделий на 82 млн руб. и улучшить снабжение населения этими товарами [Там же, л. 168–169].

Эти предложения были приняты лишь частично. Свердловская область получила дополнительные средства на развитие легкой, а также пищевой промышленности.

Деятельность местных партийных организаций, в отличие от центральных органов, объективно была направлена против ведомственности, велась с учетом территориально-производственных интересов и в какой-то степени сглаживала противоречия в сложившейся структуре промышленности края. Так, Пермский обком КПСС неоднократно обращался в центральные органы с предложениями о начале строительства в Губахе трикотажной и хлопко-прядельной фабрик, в Лысьве — носочно-чулочной фабрики (также с целью ослабить

напряжение с трудоустройством в этих городах) [см.: ПермГАНИ, ф. 105, оп. 283, д. 2, л. 110; оп. 286, д. 54, л. 67]. К сожалению, решение этих вопросов было отодвинуто в последующее десятилетие.

Но не все зависело от местных партийных, советских и хозяйственных органов, так как многие вопросы не были в их компетенции, а решались центром. Так, семилетним планом развития народного хозяйства и в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 28 ноября 1959 г. в Курганской области намечалось строительство текстильного и коврового комбинатов [см.: ГАОПДКО, ф. 166, оп. 277, д. 2, л. 17]. Строительство текстильного комбината в Кургане мощностью 102 млн метров готовых тканей и 1,5 тыс. тонн товарной пряжи должно было решить проблемы, свойственные и другим уральским городам. Госплан СССР запретил начало строительства предприятия, мотивируя свой отказ недостаточностью базы строительной индустрии, необеспеченностью водой, отсутствием свободной рабочей силы и достаточного жилого фонда для будущих работников комбината. Несмотря на неоднократные обращения Курганского обкома партии в Совет министров СССР, Госплан СССР и даже прямое указание председателя Совета министров СССР А. Н. Косыгина о начале строительства комбината, составление сметной документации было приостановлено, а средства на строительство так и не были выделены [см.: ГАОПДКО, ф. 166, оп. 285, д. 369, л. 91–93, 99; ф. 6557, оп. 8, д. 1, л. 2]. И это в то время, когда в Курганской области не было трудоустроено в общественном производстве более 70 тыс. человек, а в самом Кургане более 2,5 тыс. женщин. Водоснабжение города, строительная индустрия полностью обеспечивали потребности будущего комбината. Не требовалось строить жилой площади в городе больше, чем в любом другом месте. В результате прирост основных производственных фондов легкой промышленности Курганской области за годы семилетки был самым низким по сравнению с другими областями и республиками Урала (см. табл. 2).

Обоснование и выделение капиталовложений было лишь начальным этапом развития отрасли. Требовалось максимально их использовать, своевременно ввести производственные мощности и объемы. Но экономический курс КПСС, ориентированный на преимущественный рост тяжелой промышленности, самым непосредственным образом влиял не только на выработку инвестиционной и структурной политики государства, но и на процесс воплощения его в жизнь. Поэтому большинство хозяйственных руководителей рассматривали строительство предприятий легкой и пищевой промышленности как дело второстепенное.

На VI Оренбургской областной профсоюзной конференции рабочих текстильной и легкой промышленности, проходившей 20 февраля 1963 г., начальник Управления легкой промышленности Южно-Уральского совнархоза отмечал, что «...легкая промышленность как в Оренбурге, так Челябинске и Кургане не стоит на первом месте. Вы знаете, главная наша цель — тяжелая промышленность. Эта тенденция имеет место во всех совнархозах. И потому я не могу вас особенно порадовать. Южно-Уральский СНХ отдает предпочтение тяжелой промышленности» [ЦДНИОО, ф. 2352, оп. 1, д. 128, л. 96].

Такой подход четко проявлялся в деятельности строительных трестов, главков и управлений, осуществлявших строительство объектов отраслей группы Б. Несмотря на то, что в общем объеме работ строительных организаций строительство предприятий легкой индустрии занимало незначительное место, планы освоения капвложений и ввода производственных мощностей по этим отраслям постоянно не выполнялись. Так, в общем объеме строительных работ треста «Главсредуралстрой» средства, отпускаемые на строительство предприятий легкой и пищевой промышленности, составляли всего 3 %, но и их трест постоянно не осваивал [см.: ЦДООСО, ф. 4, оп. 69, д. 2, л. 30–31]. В результате только в Свердловской области за 1959–1965 гг. должно было быть построено 54 предприятия легкой и пищевой промышленности. Однако освоение выделенных капвложений было значительно ниже намечавшихся контрольных цифр семилетнего плана. Всего за эти годы было недоосвоено капитальных вложений по отраслям легкой и пищевой промышленности Среднего Урала на сумму более 22 млн руб. [см.: Урал. рабочий, 1959, 24 апр.; ЦДООСО, ф. 4, оп. 67, д. 147, л. 40].

Характерным явлением было положение, когда эти стройки обеспечивались материальными ресурсами, рабочей силой и механизмами в последнюю очередь и часто попросту «оголялись» в пользу объектов тяжелой индустрии. Поэтому процент освоения капвложений по объектам легкой промышленности, как правило, был самым низким по сравнению с другими отраслями промышленности [см.: ПермГАНИ, ф. 7214, оп. 1, д. 164, л. 9; ГАОПДКО, ф. 166, оп. 265, д. 34, л. 135; ОГАЧО, ф. 288, оп. 162, д. 17, л. 52; и др.].

Такое отношение к объектам группы Б стало практикой хозяйственной жизни не только одного Уральского региона, но и всей страны. Так, из 28 трикотажных фабрик, строительство которых в стране было предусмотрено семилетним планом, в 1959–1963 гг. было начато строительство только 8 [см.: РГАЭ, ф. 198, оп. 1, д. 19, л. 7–8.]. За 6 лет семилетки (1959–1964) план по освоению средств по легкой индустрии был выполнен лишь на 83 %, а по вводу производственных мощностей — еще меньше [см.: ГАРФ, ф. 5457, оп. 28, д. 2373, л. 97].

Плохо обстояли дела со строительством отдельных предприятий легкой промышленности. Возведение объектов затягивалось на долгие годы и даже десятилетия. Чрезвычайно медленно строился Свердловский камвольный комбинат. Начало строительства комбината относится к 1946 г. Его сметная стоимость составляла 14,57 млн руб., проектная мощность была рассчитана на 37,2 тыс. прядильных веретен и 494 ткацких станка. Комбинат ежегодно должен был выпускать 5,73 млн метров тканей [см.: Там же, ф. 403, оп. 1, д. 2587, л. 5–10]. Однако на 1 января 1959 г. в его строительство было вложено лишь 30 % запланированных средств [см.: ЦДООСО, ф. 4, оп. 60, д. 118, л. 234].

Стремясь увеличить темпы возведения объекта, областная партийная организация брала на себя прямые функции хозяйственных органов и усиливала административные методы руководства строительством [см.: Правда, 1965, 20 июля]. Задержка на месяц пуска в эксплуатацию камвольно-суконного комбината обходилась стране в 2 млн руб. После того как постановлением от 8 марта 1958 г. Совет министров СССР определил, что пуск первой очереди комбината

является особо важным пусковым объектом в народно-хозяйственном плане 1958 г. [см.: ЦДООСО, ф. 4, оп. 58, д. 19, л. 18; ф. 2992, оп. 5, д. 246, л. 51], бюро Свердловского обкома КПСС в апреле 1958 г. обсудило вопрос «О ходе строительства и ввода в эксплуатацию в текущем году первой очереди камвольного комбината». На бюро было отмечено, что строительство комбината не обеспечено необходимыми материалами, оборудованием, технической документацией, рабочей силой. Бюро обкома партии потребовало в течение декады рассмотреть и утвердить мероприятия по окончанию строительства и вводу в эксплуатацию до конца 1958 г. первой очереди комбината — прядильного цеха на 15 тыс. веретен, обеспечить стройку всеми необходимыми строительными материалами, оборудованием, проектно-сметной документацией, рабочей силой и организовать повседневный контроль со стороны Свердловского ГК КПСС и Чкаловского РК КПСС за ходом строительства комбината [ЦДООСО, ф. 2992, оп. 5, д. 37, л. 19–21].

Но улучшить существенно дела на стройке не удалось. Бригада Чкаловского райкома партии, осуществлявшая контроль за ходом выполнения данного постановления, констатировала, что пуск первой очереди комбината находится под угрозой срыва. По-прежнему стройка обеспечивалась строительными материалами на 40–50 %. На объекте вместо 300–350 рабочих работало только 180–200 человек. Не хватало технологического оборудования на 1,5 млн руб., даже был неизвестен его поставщик [см.: Там же, д. 246, л. 51–52]. С июля 1958 и до конца 1959 г. вопросы, связанные с пуском первой очереди комбината, трижды заслушивались на бюро Чкаловского РК КПСС [см.: Там же, ф. 5749, оп. 1, д. 1, л. 107–112].

Некоторые изменения к лучшему произошли после рассмотрения на бюро Свердловского обкома КПСС в июле 1959 г. вопроса «О неудовлетворительном вводе мощностей легкой и пищевой промышленности» и выхода постановления Совета министров СССР от 29 сентября 1959 г., в котором строительство Свердловского камвольного комбината было внесено в титульный список особо важных строек страны [см.: Там же, ф. 4, оп. 59, д. 49, л. 18–21; ГА РФ, ф. 403, оп. 1, д. 2587, л. 5–12], что, во-первых, сразу же поставило строительство комбината в льготные условия, особенно в материально-техническом обеспечении. Во-вторых, руководители отраслевых управлений совнархоза, строительных организаций и предприятий заказчиков были предупреждены, что за срыв плана ввода запланированных объектов в 1959 г. они будут привлечены к строгой партийной ответственности [Там же, л. 20].

В результате неимоверных усилий к концу 1959 г. удалось ввести в эксплуатацию первую очередь комбината, хотя оставалось еще более 40 крупных строительных недоделок [Там же, ф. 5749, оп. 1, д. 2, л. 171]. О ликвидации строительных недоделок пишет в своих воспоминаниях Б. Н. Ельцин, бывший в то время начальником строительного участка на камвольном комбинате [см.: Ельцин, с. 47–48, 54–55]. И только 4 января 1960 г. предприятие наконец выдало первую продукцию.

В целом за 1946–1962 гг. три раза менялись технический проект и сроки пуска комбината [см.: Там же, ф. 5749, оп. 1, д. 2, л. 157]. Несмотря на прави-

тельство закончить строительство камвольного комбината в 1961 г., строителями к началу этого года было освоено лишь 57 % плана, а ввод остальных объектов предприятия постоянно срывался и продолжался до конца семилетки [ЦДООСО, ф. 5749, оп. 1, д. 2, л. 157; д. 5, л. 127; д. 15, л. 102]. Низкие темпы строительства комбината являлись одной из причин долгой задержки его выхода на проектную мощность, а также проведения его реконструкции уже в годы восьмой пятилетки.

К началу семилетки на Среднем Урале особенно плохо была развита трикотажная промышленность. На долю местных фабрик приходилось менее 5 % всех трикотажных изделий и 2 % чулочно-носочных изделий, проданных в области за год [см.: Там же, ф. 376, оп. 2, д. 7, л. 22–23]. По инициативе Свердловского обкома КПСС в 1961 г. началось строительство трикотажной фабрики в Нижнем Тагиле мощностью 6 млн изделий в год. Осуществлял строительство предприятия строительный трест «Тагилстрой». План 1962 г. трестом был выполнен на 36 %, а в 1963 г., когда был запланирован пуск первой очереди фабрики, освоено было 350 тыс. руб. из 500 тыс., выделенных на этот год. В итоге предприятие начало работу во временно приспособленном помещении и выпустило 24 тыс. изделий [см.: Там же, оп. 1, д. 4, л. 33; оп. 2, д. 7, л. 23]. Шестой пленум Свердловского промышленного обкома КПСС в январе 1964 г. не мог пройти мимо того факта, что фабрика, чья годовая программа должна была составить 90 млн руб. в стоимостном выражении (в те годы это составляло половину производственной программы такого предприятия, как Уралмаш) и чья продукция положительно решала бы проблему обеспечения населения области трикотажными изделиями, фактически не строится. Пленум обкома КПСС обязал Средне-Уральский совнархоз и трест «Главсредуралстрой» пустить первую очередь фабрики в июле 1964 г., а полностью закончить ее строительство в 1965 г. [см.: Там же, оп. 2, д. 7, л. 94–95]. Несмотря на пуск первой очереди фабрики в 1964 г., полностью закончить ее строительство в рассматриваемые годы не удалось [см.: Там же, ф. 4, оп. 69, д. 172, л. 24].

Аналогичная работа по увеличению темпов строительства и реконструкции отдельных объектов легкой промышленности проводилась партийными организациями других уральских областей и автономных республик и фактически имела такие же неутешительные результаты [см. подробнее: ГАОПДКО, ф. 166, оп. 289, д. 89, л. 4–7; ЦДООСО, ф. 371, оп. 20, ф. 423, л. 9–11; ЦДНИУР, ф. 16, оп. 43, д. 122, л. 81; ПермГАНИ, ф. 7214, оп. 1, д. 19, л. 242–248; ОГАЧО, ф. 288, оп. 23, д. 50, л. 21–23; оп. 162, д. 62, л. 2–6; и др.].

Следует подчеркнуть, что процессу строительства и реконструкции предприятий отрасли не способствовал факт ее ведомственной разноподчиненности. Деятельность легкой индустрии совнархоза, промысловой кооперации (ликвидирована в конце 1960 — начале 1961 г.) и местных Советов плохо координировалась. Каждая из этих организаций строила и реконструировала свои предприятия без учета общей стратегии и направления развития отрасли и промышленности в целом.

Таким образом, в противоречивой ситуации конца 50-х — середины 60-х гг. XX в. партийные, государственные и хозяйственные организации Урала в рам-

как их компетенции и отпущенных возможностей проделали определенную работу в сфере развития легкой промышленности края. В значительной степени благодаря их усилиям были получены дополнительные средства на развитие легкой индустрии региона, что способствовало более высоким темпам роста объема валовой продукции отрасли по сравнению с общереспубликанскими. В то же время идеологический диктат над объективными законами развития экономики, возвышение партийных органов над всеми остальными, усиление административных методов руководства и постоянное дублирование функций различных ветвей власти сводили на нет те положительные результаты, которые достигались ими в процессе работы. Это особенно явно проявлялось в деле использования выделенных капвложений, освоение которых было значительно ниже намечавшихся контрольных цифр семилетки. Поэтому удельный вес легкой промышленности в структуре всей индустрии Урала к концу семилетки понизился с 6,8 % в 1960 г. до 5,3 % в 1965 г.

ГАОПДКО. Ф. 166, 6557.

ГАРФ. Ф. 403, 5457.

Ельцин Б. Н. Исповедь на заданную тему. Свердловск, 1990.

Народное хозяйство РСФСР в 1970 г. : стат. ежегодник. М., 1971.

Народное хозяйство РСФСР в 1974 г. : стат. ежегодник. М., 1975.

ОГАЧО. Ф. 288.

ПермГАНИ. Ф. 105, 7214.

Плац Ф. Л. Легкая промышленность в хозяйственном комплексе Урала // Уч. зап. Перм. ун-та. 1966. № 161.

Правда. 1965. 20 июля.

РГАЭ. Ф. 198.

Уральский рабочий. 1959. 24 апреля.

ЦДНИОО. Ф. 2352.

ЦДНИУР. Ф. 16.

ЦДООСО. Ф. 4, 376, 2992, 5749.

Статья поступила в редакцию 04.03.2011 г.

УДК 070.23(1-32) + 070.421:32

Е. В. Каменская

**ОБРАЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО МИРА
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПЕЧАТИ (ПУБЛИКАЦИИ
«УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО» В СЕРЕДИНЕ 1960-х — 1970-е гг.)**

Окно в мир можно закрыть газетой.

Станислав Ежи Лец

На материале региональной газеты «Уральский рабочий» анализируется образ стран социалистического мира и его трансформация в середине 1960-х — 1970-е гг. Рассматриваются основные характеристики как отдельных государств, так и социалистического сообщества в целом, тематика публикаций, их тональность, способы журналистского воздействия на читательскую аудиторию.

К л ю ч е в ы е с л о в а: средства массовой информации; региональная пресса; образ социалистического мира; СССР.

Период с середины 1960-х до конца 1970-х гг. в рамках изучения холодной войны традиционно характеризуется понятием *разрядки*. В противостоянии социалистической и капиталистической систем наметилась тенденция к снижению напряженности и росту сотрудничества, опасность начала Третьей, на этот раз уже атомной, мировой войны была отодвинута. Важнейшими вехами этого процесса являются советско-американские договоры ОСВ-1 и ОСВ-2, Заключительный акт Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, нормализация германского вопроса. Однако именно в это время активные противоречия развивались внутри самого социалистического лагеря, ставя под вопрос его монолитность, устойчивость, перспективность. Примеров достаточно много: события в Чехословакии 1968 г., продолжительный советско-китайский конфликт, сложные отношения с Албанией, а также многочисленные скрытые разногласия. Таким образом, социалистические страны далеко не всегда следовали или по крайней мере хотели следовать в фарватере политики Советского Союза. В то же время восприятие этих процессов среди населения СССР во многом зависело от того, как подавались эти сведения различными средствами массовой информации. По данным социологических обследований, около 95 % взрослого населения СССР читало газеты и одними из самых читаемых разделов в газетах были международные [см. об этом: Грушин, с. 589; Методы исследования..., с. 43—54; Социологические проблемы..., с. 19; Шляпентох, с. 61; и др.]. Блок международной информации в форме кратких сообщений, заметок, аналитических статей в обязательном порядке присутствовал и в центральных, и в региональных изданиях. В условиях ограниченной возможности непосредственного знакомства с внешним миром у большинства жителей страны именно СМИ, а особенно газеты, являлись основным источником формирования внешнеполитических представлений. В свою очередь, советские СМИ находились под строгим контролем властных структур и фор-

мировали тот образ социалистического мира, который был нужен руководству страны. Целью данной статьи является анализ формирования образа стран социалистического содружества на страницах советской печати и его трансформация в середине 1960-х — 1970-е гг. Объектом для исследования выбрана главная региональная газета Свердловской области, печатный орган обкома партии «Уральский рабочий», в рассматриваемый период являвшаяся одной из крупнейших областных газет в стране.

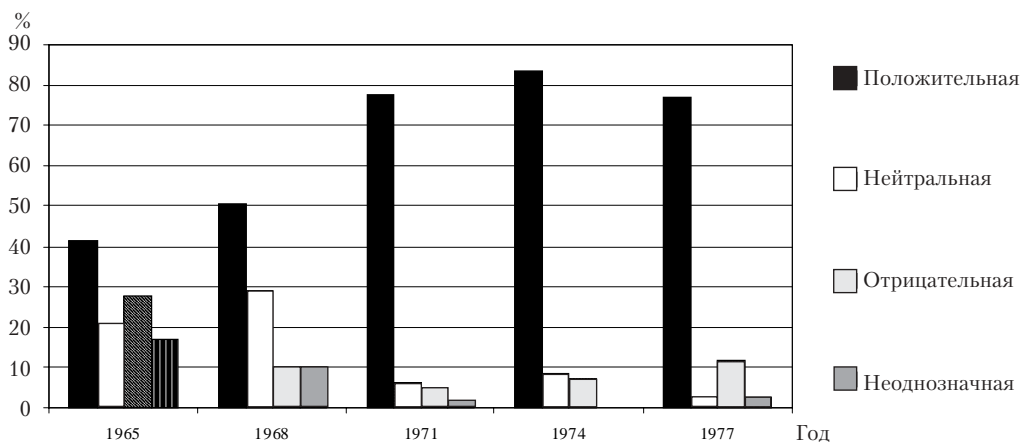
В брежневское время международная информация занимала достойное место на страницах этого издания (временами более четверти всего объема). Материал по странам социализма составлял в 1965 г. 18 % общего количества зарубежной информации, в 1968 г. — около 27 %, в последующие годы — около 30 %. В подавляющем большинстве источником публиковавшихся в газете международных материалов были ТАСС и АПН. Однако в «Уральском рабочем» нередко печатались и собственные статьи: заметки о зарубежных поездках уральцев, отчеты о пребывании иностранных делегаций в Свердловской области и т. д.

Определим территориальные рамки исследования. Государствами, составляющими мировую социалистическую систему, согласно официальным советским источникам, являлись Албания, Болгария, Венгрия, Демократическая Республика Вьетнам (с 1976 г. — Социалистическая Республика Вьетнам), ГДР, КНР, КНДР, Республика Куба, Лаос (с 1975), Монгольская Народная Республика, Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия [см.: Программа Коммунистической..., с. 19; Советский энциклопедический..., с. 809; и др.]. Материал, касающийся этих стран, и подвергся анализу. Безусловно, нельзя забывать, что наряду с этой группой существовали страны социалистической ориентации и страны некапиталистического пути развития, однако они существенно отличались от государств первой группы, что влияло и на их «газетный» образ.

В данной статье исследование газетных материалов по международной тематике проводилось методом контент-анализа. По систематической выборке анализу подверглись выпуски каждого срединного месяца сезона каждого третьего года с равным кластером величиной в неделю [см.: Бойко, с. 120]. В рамках указанного периода были взяты 5 лет: 1965, 1968, 1971, 1974, 1977 гг. Внимание было обращено на материалы, содержащие информацию о странах социализма (за исключением рубрики «Спорт»). Всего было проанализировано 460 статей.

При анализе общей тональности материалов, касающихся социалистических стран, обнаруживается явное превалирование позитивной информации. Причем ее доля с годами увеличивается, что видно на диаграмме (см. рис.).

Рассмотрим происхождение негативной информации. В 1965 г. статьи, содержащие отрицательную информацию, составляли более одной четверти всех материалов. В основном негативный фон имели публикации о Демократической Республике Вьетнам, материал по которой составлял почти треть всего «социалистического» материала, и это не случайно в условиях войны с участием США и Южного Вьетнама. Необходимо отметить, что статьи носили однообразный характер и акцентировали внимание читателей на четко определенном комплексе проблем. Обращают на себя внимание заголовки статей.



Превалирование позитивной информации газетных публикаций в 1965–1977 гг.

«Новый бандитский налет», «Налеты продолжаются», «Решение сессии национального собрания ДРВ», «Заявление МИД ДРВ», «Заявление Министерства здравоохранения ДРВ», «Грубое нарушение Женевских соглашений», «Новое нарушение соглашений». Основными темами, таким образом, были непрекращающиеся американские налеты на территорию Северного Вьетнама, нарушение США Женевских соглашений 1954 г., которые не были последними подписаны, а также реакция на действия США и других стран со стороны правительства ДРВ. Причем материал под практически одинаковыми названиями помещался из номера в номер, формируя четкий, а главное устойчивый стереотип у аудитории. Эффект усиливался частыми публикациями фотографий с места событий. Определенное количество отрицательной информации шло из КНР и ГДР. В первом случае она была так же, как и у ДРВ, связана с налетами американских самолетов и войной в Южном Вьетнаме. Во втором — с враждебными выпадами ФРГ. Из этого следовало, что все проблемы, которые возникали в социалистических странах, шли «извне», т. е. причиной их были агрессивные действия со стороны США, ФРГ и их союзников.

В 1968 г. видно снижение количества негативной информации. Это происходило за счет уменьшения материала, посвященного ДРВ и ГДР. Стоит заметить, что в целом интерес к Вьетнамской Республике со временем заметно падал. Если в 1965 г. новости из Ханоя присутствовали практически во всех проанализированных номерах газеты, то в 1968 г. им отводилось уже только около 14 % информации по соцстранам, а в 1971–1977 гг. — не больше 5 %. При этом публикации, касающиеся ДРВ, меняли тематику и эмоциональную окраску. Все больше материалов посвящалось ее достижениям в социально-экономической сфере, отношениям с соцстранами или коммунистическими партиями капиталистических государств.

Важно, что в материале 1968 г. изменился источник негативных сведений среди стран социализма. Теперь им на долгие годы становится Китай. Практически вся информация, идущая из КНР, отрицательная, что явно свидетельствует об ухудшении советско-китайских отношений. Основные темы для пуб-

ликаций, затрагивающих КНР в 1968 г., — культурная революция, насаждение в стране культа вождя и т. д. На страницах «Уральского рабочего» КНР превращается в военный лагерь, заметки приобретают характер сообщений с полей гражданской войны: «чтобы сломить сопротивление “культурной революции”, маоисты продолжают широко применять методы прямого насилия и террора, натравливают одни группы населения на другие», «только в дневные часы утихает стрельба, не слышны взрывы... ночью вооруженные столкновения возобновляются», «враги перекрывают дороги, парализуют транспорт, врываются в распоряжение воинских частей, захватывают оружие и армейское снаряжение» [Уральский рабочий, 1968, 18 апреля, 18 июля]. При этом названия статей довольно сухи: «События в Китае», «Китай», подчеркивающие, что сообщения являются лишь констатацией реального факта.

В 1968 г. отрицательная информация касалась внутренних событий КНР, а в дальнейшем особо острой критике подвергалась внешняя политика китайского руководства. Исходя из материалов «Уральского рабочего», Китай почти во всех региональных конфликтах был фактическим союзником США и других капиталистических государств. Внимание читателей акцентировалось на все более дружеских отношениях Китая и США, его враждебной политике в отношении многих развивающихся стран, а также СССР, попустительстве агрессивным действиям США и других стран. Вот заголовки, под которыми шел китайский материал: «Экспансионистские устремления маоистов», «Взаимные жесты Пекина и Вашингтона», «Никсон приглашен в КНР», «Грубое вмешательство в дела Заира». В 1977 г., к примеру, вся отрицательная информация в публикациях о соцстранах касалась КНР. Стоит отметить, что и в дальнейшем отношения СССР и КНР будут весьма напряженными. Так, после начала афганской войны основной материал по КНР будет посвящен совместным китайско-американским действиям против революционного правительства Афганистана и очернению ими же советской политики в этом регионе.

Кроме Китая, отрицательная информация в 1971—1977 гг. в единичных случаях касалась Кубы, КНДР, ГДР и опять-таки была связана с враждебными действиями со стороны США и ФРГ. Таким образом, установить основных врагов стран социалистического содружества и в целом всего мира советскому читателю не составляло труда. Газетный образ прочно укоренился в сознании населения. Поэтому неудивительно, что в ходе социологического исследования, проведенного под руководством Б. А. Грушина в 1968 г., на вопросы «Какие зарубежные страны представляют наибольшую угрозу человечеству?», «Какие страны наиболее враждебно относятся к СССР?» тройку лидеров составили США, ФРГ и Китай [см.: Грушин, с. 809, 812].

Отдельно необходимо проанализировать отражение на страницах «Уральского рабочего» событий Пражской весны 1968 г. и последующей реакции СССР и стран-участников ОВД¹. В 1968 г., что не удивительно, произошел резкий рост материалов, касающихся Чехословакии. И, конечно, материал распределялся

¹ Необходимо напомнить, что в нашу выборку не входили публикации, к примеру, за август и сентябрь, когда проводилась военная операция стран ОВД в ЧССР.

в пределах года очень неравномерно. В январе — апреле материала было немного, выдержан он был в привычном приветливом тоне и касался традиционных тем — экономики, науки и пр. Однако в июле ситуация изменилась: основную долю стали составлять политические материалы, освещающие встречу глав социалистических государств в Варшаве, заявления первых лиц ЧССР и пр. В официальных материалах настойчиво проводилась идея об опасности политики чехословацкого руководства, делался упор на деятельности враждебно настроенных государств. Население все чаще читало об «активизации агрессивных империалистических сил, стремящихся путем диверсий подорвать социалистический строй в отдельных странах, а также ослабить идейные и союзнические узы, объединяющие социалистические государства», что явно свидетельствовало об обострении обстановки в еще недавно такой спокойной Чехословакии [Уральский рабочий, 1968, 17 июля]. В октябре материала, посвященного ЧССР, было почти столько же, сколько в сумме по всем остальным социалистическим странам. В подавляющем большинстве он касался подписания советско-чехословацкого договора об условиях временного пребывания советских войск на территории ЧССР. Наряду с нейтральными сообщениями публиковались материалы о восторженной реакции на его подписание со стороны прессы других соцстран, характеризующей его как «важную веху в отношении двух стран» [Там же, 19 октября]. Отрицательная информация, касающаяся Чехословакии, поступала в это время только из стран капиталистического мира, которые, по словам газеты, под предлогом «событий в Чехословакии» нагнетали напряженность в мире и усиливали военную мощь НАТО. Вместе с этим начался рост материалов, в которых описывалось плодотворное сотрудничество ЧССР с Советским Союзом в экономической сфере. Таким образом, негативная информация, касающаяся Чехословакии, сглаживалась посредством сообщений об укреплении союзнических отношений с этой братской страной, росте экономических связей.

В последующие годы рассматриваемого периода газетный интерес к Чехословакии был достаточно высок, ей посвящалось 16–20 % всех публикаций о странах социализма. В определенной степени сказывался и региональный компонент: Свердловская область была побратимом Западно-Чешской области ЧССР. Активно действовало общество советско-чехословацкой дружбы, отчеты о поездках в ЧССР и пребывании иностранных друзей на Урале регулярно печатались в «Уральском рабочем». Здесь стоит остановиться на проблеме соответствия опубликованного материала реальному положению. После событий 1968 г. в газете активно подчеркивались дружеские связи с ЧССР. Так, в октябре 1971 г. был напечатан отчет о недавней поездке партийной делегации идеологических работников Свердловской области в Западно-Чешскую область. Вся статья была написана в подчеркнуто оптимистичном тоне. Рассказывалось о благодарности населения Чехословакии советским воинам-освободителям, о теплых товарищеских встречах, откровенном обмене мнениями по проблемам идеологической работы. Приводились речи чехословацких товарищей о том, что все сделанное «на нашем заводе в области массово-политической работы — это результат наших поездок к вам в Свердловскую область... У вас мы учимся,

как надо работать с людьми, и мы рады, что вы снова нам рассказали много интересного» [Уральский рабочий, 1971, 15 окт.]. Ничто не омрачало дружеское общение. Если же обратиться к архивным материалам, становится ясно, что существовали негативные моменты в отношениях советских граждан и местного населения. К примеру, в отчете партийно-советской делегации г. Карпинска, посещавшей страну в 1970 г., наряду с положительными отзывами о стране указывалось, что чехословацкая молодежь была настроена к ним скептически. «Некоторые рабочие при приближении нас, если можно уйти — уйдут, отвернуться — отвернутся, не здороваются» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 74, д. 192, л. 105]. Среди технической интеллигенции было крайне мало людей, «которые твердо стоят на позиции нынешнего руководства КПЧ», — говорили в другом отчете высшие идеологические работники области, побывавшие в братском государстве в декабре 1970 г. [Там же, л. 144]. Партийное руководство информировалось о том, что во многих внутренних проблемах Чехословакия винит СССР с его политикой давления. Таким образом, «газетный» образ Чехословакии, конечно, кардинально расходился с действительным.

В ходе исследования были выявлены темы, доминирующие при освещении жизни стран социализма, и динамика их соотношения. Определенные сферы, такие как наука, культура, здравоохранение, образование, освещались слабо. Основной объем занимал политико-экономический блок. В рассматриваемый период прослеживается явная тенденция к снижению доли политической информации и росту доли экономической. Если в 1965 г. они соотносились примерно как 5:1, то в 1971 и в 1977 гг. соотношение уже было 2:3. Очень заметно снижение доли материалов, касающихся военной тематики. Несмотря на то, что вывод американских войск из Вьетнама произошел лишь в 1973 г., в материалах 1968, 1971 гг. уже не наблюдалось столь пристального внимания к военным событиям в ДРВ, как это было в 1965 г. Большой объем экономического блока неудивителен: эта тема занимала значительное место и во внутреннем материале газеты. К тому же Свердловская область была развитым индустриальным регионом СССР. В экономических публикациях о социалистических странах явно просматривалось большее внимание к тяжелой промышленности: подавляющее число статей посвящено развитию металлургии, машиностроения, строительству крупных промышленных гигантов и т. д. Фотоматериал был также экономически ориентирован. На фотографиях из соцстран уральцы могли видеть новые промышленные объекты, заводские цеха, различные аппараты и т. п. Статьям по экономической проблематике присущи следующие характерные черты.

Во-первых, в основном они помещались в рубрике «Вокруг света», имели довольно небольшой объем, но при этом сопровождались достаточным количеством цифрового материала.

Во-вторых, экономические материалы всегда содержали только позитивную информацию. Строительство новых или модернизация старых промышленных предприятий; разработка новых высокоэффективных месторождений, рост выпуска продукции — вот темы сообщений, которые каждый день публиковались в областной газете. Все намеченные пятилетними планами показатели

выполнялись в срок или даже с опережением. Отсутствовали сведения о каких-либо проблемах в экономике стран социалистического содружества, все совместные переговоры происходили в атмосфере «дружбы и взаимопонимания», создавался образ динамичного социально-экономического развития. Указания на трудности в этой сфере можно найти лишь косвенные, такие как наследие недавней войны во Вьетнаме или несоответствие Румынии (конечно, только временное) развитым странам мира. Большое внимание уделялось деятельности Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Журналисты внимательно следили за работой предприятий, специализировавшихся в рамках СЭВ на выпуске какого-либо вида продукции. Со временем росло количество информации о процессе интеграции экономик разных соцстран, который оценивался очень позитивно (в противовес этому в статьях, посвященных ЕЭС, делался акцент на многочисленных проблемах европейской капиталистической интеграции).

В-третьих, в большинстве статей по экономической проблематике присутствовало указание на связь с СССР. Были возможны различные варианты: помощь СССР в строительстве чего-либо, направление советских специалистов, техники и оборудования, создание проектов новых предприятий. Постоянно подчеркивался тот факт, что СССР являлся основным покупателем у многих предприятий соцстран. Таким образом, с одной стороны указывалось на неразрывную связь экономик Советского Союза и других социалистических государств. С другой — создавался образ СССР, как государства с высокоразвитой экономикой, обладающего неограниченными ресурсами, новейшими техническими разработками, способного на постоянную помощь своим партнерам. Подобная ситуация была и в сфере здравоохранения, образования, где также подчеркивалась помощь СССР. Советская пресса устойчиво проводила идею о превосходстве и покровительстве Советского Союза по отношению к другим социалистическим странам. Читателям регулярно напоминали, что именно Советскому Союзу социалистические государства были обязаны и своим освобождением от немецкого фашизма и японского милитаризма, и направлением на путь строительства социализма. Газетные публикации свидетельствовали о том, что страны соцлагеря помнят об оказанной помощи.

Советское руководство посредством газет различного уровня планомерно создавало и поддерживало у населения очень позитивный образ социалистического мира. Исходя из публикуемых материалов, ему были присущи монолитность, взаимопомощь, политико-экономическая сила, дружественность. Слабым звеном социалистической системы оказался Китай, который отклонился от истинного социализма и стал союзником США и других капиталистических стран. Его внутренняя и внешняя политика являлись объектом постоянной критики с советской стороны. Отошедшая от союза с СССР Албания стала «фигурой молчания», материал о ней был единичен. В то же время события 1968 г. в Чехословакии не сильно омрачили доброжелательный «газетный» образ этой страны. Основная опасность для социалистических стран таилась во внешнем агрессивно настроенном мире, готовом любую ситуацию использовать для подрыва социалистического лагеря. Частота появления разных стран социа-

лизма на страницах «Уральского рабочего» была неодинаковой. Она зависела от их связей с СССР, авторитета на международной арене, экономических позиций. На протяжении всего рассматриваемого временного отрезка наибольший интерес журналистов привлекали Чехословакия, Польша, ГДР, Болгария. Реже объектами внимания становились Куба, Монголия, Венгрия. События в Румынии и КНДР освещались еще слабее. Что касается социалистического содружества в целом, то его главным звеном, безусловно, являлся Советский Союз, выступавший в роли «старшего брата». Причем, исходя из материалов газеты, эту роль Советский Союз выполнял уже давно.

Бойко О. В. Репрезентация социальных проблем в российской прессе 90-х годов // Социол. исслед. 2002. № 8. С. 120–128.

Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Ч. 2 : Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева. М., 2006.

Методы исследования СМИ (на примере газеты «Советская Россия», 1978–1981 гг.) : метод. рекомендации. М., 1982. С. 43–54.

Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., 1971.

Советский энциклопедический словарь. М., 1985.

Социологические проблемы общественного мнения и деятельности СМИ. М., 1976.

Уральский рабочий. 1968. 18 апр.; 17 июля; 18 июля; 15 окт.; 19 окт.

ЦДООСО. Ф.4. Оп. 74. Д. 192.

Шляпентох В. Э. К вопросу об изучении эстетических вкусов читателя газеты // Проблемы социологии печати. Вып. 2. Новосибирск, 1970. С. 53–136.

Статья поступила в редакцию 04.04.2011 г.

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 7.031.3(=512) + 7.016.4

Н. П. Гончарик

ЭТНОКУЛЬТУРА АЛТАЯ В ГРАФИКЕ Г. И. ЧОРОС-ГУРКИНА

Рассматривается уникальная коллекция этнографики первого профессионального художника Алтая Г. И. Чорос-Гуркина в Государственном художественном музее Алтайского края: зарисовки памятников древности, предметов быта, шаманского культа, деталей народного костюма, орнамента, их историко-художественное значение.

Ключевые слова: этнографика; археологические памятники древности; религиозные верования; мифология и эпос; искусство орнамента; исторический документ; художественный феномен.

Григорий Иванович Гуркин (1870–1937) — алтаец из рода Чорос, непревзойденный мастер алтайского пейзажа, первый профессиональный национальный художник, ученик И. И. Шишкина и А. А. Киселева по Петербургской Академии художеств (1897–1904), воспевший неповторимую красоту могучей и прекрасной природы горного края, его древнюю культуру и народные традиции.

Гуркин на протяжении всей жизни писал виды горных озер, реки Катунь и Хан-Алтай (Алтайских гор), ставшие архетипами «портретов» местности родной природы, образы которых восходят к глубоко народным основам мировоззрения, вскормлены «гением места» с его особым «сакральным» отношением к природе, понимаемой как космос и предмет поклонения. Среди них «Озеро горных духов» (ил. 1) — наиболее совершенное и проникновенное по содержанию произведение¹. Картина имеет алтайское название «Дены-Дёр», что означает «Озеро добрых духов». Из авторских комментариев к каталогу выставки 1910 г., это «любимое место горных духов, куда редко может проникать чело-

¹ В музеях России (ГРМ, сибирские музеи) находится около десяти вариантов картины, в ГХМ АК — вариант 1910 г.

век, а потому оно не оскверненное, чистое, по верованию алтайцев, таковыми могут быть только алтайские озера, окруженные высокими скалами с вечными спутниками — льдом, снегом и туманами» [Указатель, 1910, с. 2].

Основу живописного творчества Гуркина составляет богатый графический материал. Множество натуральных и эскизных зарисовок озерных мотивов и алтайского высокогорья (ил. 2)² имеют вспомогательное значение для художника в поисках обобщенного образа Родины и для исследования характерных особенностей его творчества.

Графическое наследие Гуркина обширно, но, в отличие от живописи, почти неизвестно широкому зрителю и мало изучено. Самая большая (2000 единиц хранения) и значительная по содержанию коллекция графики Г. И. Гуркина находится в Государственном художественном музее Алтайского края (ГХМ АК).

Собрание музея дает представление обо всех этапах творчества художника начиная с первых самостоятельных опытов и натуральных зарисовок окрестностей родного села Улалы (ныне город Горно-Алтайск), где он родился. Можно проследить творческую эволюцию рисовального искусства Гуркина от копий с рисунков Шишкина, в мастерской которого он получал уроки (1897—1898), и первых самостоятельных работ, близких по манере работам своего учителя, до произведений, отмеченных техническим совершенством и национальным колоритом.

Графика Гуркина — это не только многочисленные этюдные и эскизные зарисовки, наброски для будущих картин, но и законченные композиции, которые со времен ученичества, начиная с 1903 г., экспонировались на выставках, печатались в журнале «Нива» в Петербурге, а также богатейший этнографический материал. Этнографическая часть коллекции многообразна, охватывает разносторонние интересы Гуркина и представляет огромную научную и художественную ценность. Это дает возможность изучать ее в различных аспектах, в том числе рассматривать как историко-документальный и художественный источник.

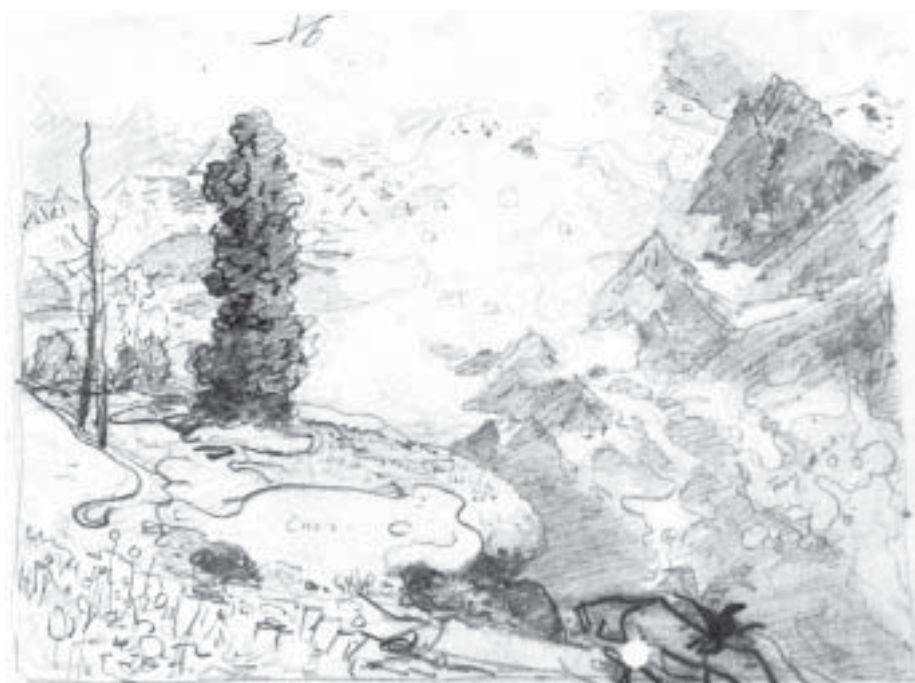
Рисунки пером, карандашом, акварели, сделанные Гуркиным во время путешествий и экспедиций по Алтаю (1902—1912, 1926—1930-х), в Монголии и Туве в период эмиграции (1919—1925), являются подлинными документами существовавших когда-то памятников археологии, религиозных верований, эпоса и народного искусства трех древних культур, источником их изучения. Особое значение приобретают для нас пояснительные тексты, дневниковые записи на рисунках, тем более что многие из них написаны на русском языке, которому Гуркин обучился вместе с первыми художественными навыками в иконописной мастерской улалинской начальной школы при главном стане Алтайской духовной миссии.

Гуркин был одним из первых исследователей, проявивших интерес к первобытному искусству. Рисунки, выполненные с петроглифов «на глаз» в период первых путешествий, а впоследствии с каменных изваяний на Алтае,

² Один из выразительных вариантов композиции картины «Хан-Алтай» (1907) с высоким кедром в горном поднебесье.



1. Озеро горных духов. 1910. Холст, масло. 95 × 127. ГХМ АК (инв. Ж-294)



2. Эскиз к картине «Хан-Алтай». Бумага, карандаш. 17,8 × 21,8. ГХМ АК (инв. Г-1605)

отличающиеся «большой точностью», зачастую являются единственными свидетельствами их существования [см.: Кочеев, с. 226]. Сделанные Гуркиным зарисовки древних каменных изваяний, писаниц в Монголии и Туве имеют надписи с указанием местонахождения, размеров памятников. В листе «Рисунки писаницы» (1920—1923, инв. Г-1008) на лицевой стороне видим зарисовку 1920 г. исполнения двух жертвенных камней с древними надписями. Рядом с ними и на обороте — большой по объему текст из черновика либо неотправленного письма в Академию наук, по заданию которой работал в Туве художник и «авторитетное мнение» которой было ему «очень важно услышать». Письмо, написанное в 1923 г., является свидетельством научного подхода Гуркина к фиксации памятников древней материальной культуры, приемам и способам их обработки. В нем содержится описание техники исполнения надписей на камнях, вопросы о необходимости их копирования, имеют ли они научное значение, а также просьба об обеспечении «необходимым пособием... бумагой, карандашами... хорошей акварелью, копировальными перьями для работы... тушью... и масляными красками... для художественных работ и собирания попутно этнографическ[ого] материала в Урянхайском-Засаянском крае».

Подробные надписи в отдельных рисунках Гуркина содержат информацию о будущих творческих замыслах и одновременно исторические и научные сведения. Так, характерный этнографический типаж в карандашном портрете сидящего алтайца «Сайлянка Мата» (до 1910 г., инв. Г-1116) можно рассматривать как эскиз к живописному портрету, на котором сделаны пометки о цвете деталей костюма, цвете кожи лица и глаз. Из надписей узнаем также о происхождении, возрасте и имени изображенного проводника «пр[офессора] В. В. Сапожникова в верш[ине] Кучерлы», его причастность к бурханистскому движению. Портрет датируется по указателю томской выставки 1910 г., в котором под номером 182 указана работа «Сайлянка Мата (проводник проф. Сапожникова)» [Указатель, 1910, с. 9].

Из произведений на тему религиозного движения бурханизма историко-художественный интерес представляет рисунок «Соха Ойрот-Хана» (инв. НВФ-500). Дата на рисунке — 1893-й г., которую Г. Н. Потанин связывает с появлением бурханизма на Алтае: «[в] 1893 г. в Алтае началось религиозное движение в пользу нового учения, которое начал проповедовать алтаец Чет Челпанов... Новое учение проповедывало падение шаманства» с его кровавыми жертвоприношениями, поклонение «одному Бурхану». Это новое учение сами алтайцы называют «белой верой», связанной с давно жившей в народе мессианской надеждой на «пришествие национального героя Ойрод-хана...» [Потанин, с. 23—24]. По манере исполнения этот рисунок с домиками и повозками на улочках алтайских сел в горах близок зарисовкам 1900-х гг., отличающимся схематичной обобщенностью штриха дальних планов. Можно предположить, что дата на рисунке в данном случае связана с указанным литературным источником.

Известно, что собирательской и исследовательской деятельности Гуркина в области этнографии способствовали знакомство и контакты художника с ученым миром и творческой интеллигенцией Сибири. Особое значение имели для

него дружба с выдающимися деятелями сибирской науки и культуры Г. Н. Потаниным и А. В. Анохиным, которые привили ему интерес к изучению народного творчества и фольклору [см.: Эдоков, с. 24].

В музейном собрании имеются два рисунка на темы народных легенд — «Катунь» и «Тогус-Кан», которые экспонировались на Томской выставке 1915 г. [см.: Указатель, 1915, с. 15]. Участие на томской выставке удалось установить благодаря сохранившимся на рисунках внизу слева номерам, совпадающими с номерами, указанными в каталоге. В списке иллюстраций каталога выставки Гуркин сам дает комментарии к былинам и сказкам. Из каталога узнаем, что на выставке было показано два рисунка по легенде, записанной В. И. Вербицким [см.: Вербицкий, с. 126], один из них под № 428 — собственность ГХМ АК (инв. Г-1610). Тексты на музейном рисунке с авторской надписью «Гора Катунь» и в каталоге под № 420 («Одна алтайская женщина, лишившись любимого супруга, взехала на утес и, завязав коню глаза, ринулась в бездну...») являются, очевидно, вариантами описания легенды. Рисунков с названием «Тогус-кан» на выставке было три. Под № 430 — собственность ГХМ АК (инв. Г-1611). Два других рисунка «Тогус-кан» в тексте каталога рядом с основным названием имеют дополнительные подписи: «Место девяти царей» и «Скала-богатырь».

В поисках образной выразительности художник вновь и вновь обращается к одним и тем же героям из алтайского эпоса, создает различные варианты композиций. Например, фигуру Катуня видим в листе из дневника 1917 г. (инв. НВФ-716) (ил. 3) в числе семи эскизов композиций основных тем творчества Гуркина: эпические виды гор, долин и озер, купола небес, населяющие пейзаж мифологические персонажи. Очень важными для нас являются надписи: «Алтай в построении», «Алтай в красках, в поэзии, звуков, нежных тонов», «Алтай в рисунках», «Алтай в стиле — “Сказок — Старины — Легенд”» «Грандиозность, величавая, первобытная сила ПРИРОДЫ». В них раскрываются творческие установки автора на поэтическую народную основу будущих картин, от которых бы «веяло здоровым воздухом».

Темой отдельного исследования могло бы стать изучение в творчестве Гуркина синтеза русской академической школы с национальным мировоззрением, неотделимым от алтайского эпоса, поэтических сказаний и верований, одухотворяющих и очеловечивающих все сущее. Одним из удачных примеров такого синтеза в графике является обложка к «Алтайскому альманаху» (инв. Г-661) (ил. 4). Это первое и единственное иллюстрированное приложение к газете «Жизнь Алтая», выходившей в Барнауле, было напечатано в Санкт-Петербурге (1914), в оформлении которого Гуркин принимал участие по предложению его редактора Г. Д. Гребенщикова.

Вертикальный лист обложки «Алтайского альманаха» разделен композиционно на две части, в которых удивительным образом сочетаются реальные и стилизованные виды и сцены, размещенные фризообразно. В левой части изображены горы с парящими над ними орлами, восходящее солнце за горизонтом, быстротекущая река, шестиугольная юрта, шкура жертвенного животного над ней на наклонно поставленной жерди, шире (помост-жертвенник) из жердей на месте жертвоприношения, человеческие фигуры на берегу. Справа — условные,



3. Алтай в стиле — «Сказок — Старинки — Легенд». 1917. Бумага, тушь. 25 × 17
ГХМ АК (инв. НВФ-716)



4. Обложка журнала «Алтайский альманах». 1913. Цинкографское клише с рисунка тушью пером. 25,2 × 17,9. ГХМ АК (инв. Г-1661)

плоскостно-декоративные образы и символы народной жизни с горными оленями, каменными изваяниями у озер, предметами быта и шаманского культа. Эпиграфическая надпись вверху крупными отдельными буквами «Алтайский альманах», струящийся дымок от очага в левом нижнем углу, поднимающийся вверх и обволакивающий надпись, чьи очертания выходят за границы вертикальных контуров рисунка, объединяют левую и правую части композиции пластически. Объединяющими моментами являются также перекликающиеся силуэты фигур марала на резном деревянном ведре слева и как элемент наскальной росписи справа, похожие очертания ташаура (кожаного сосуда) слева и женского кисета справа. Загадочность и таинственность образуемому содержанию обложки придает также изображенная внизу на границе реальной и условной частей композиции спиной к нам фигура древнего каменного изваяния. Она наклонена вправо и назад, как бы выходя за границу первого плана плоскости графического листа, безмолвно созерцая происходящее и запечатленное художником. Таким образом, очевидно, что в стилистическом и образном решении обложки альманаха органично соединились освоенная в мастерской Шишкина система штриховок для характеристики разнородных элементов пейзажа и орнаментально-декоративное, фризовое построение пространства, реальные события из жизни алтайцев и мифологизированные образы древней культуры, народных легенд [см.: Гончарик, с. 16].

Подготовительные рисунки (1913) — «Шаманизм (эскизы к «Алтайскому альманаху», инв. НВФ-756) и «Река Катунь» (инв. Г-1670) — дают представление о разработке вариантов пейзажного образа с мотивом восходящего из-за гор солнца и поисках эмоциональной выразительности штриха в эпиграфических надписях «Алтайский альманах» и «Алтай», где на верхней перекладине первых букв изображена сова. Фигура совы вверху ассоциируется с образом летящей шаманки Кана «с берегов р. Алаша на Кемчике (ныне Сойотская земля)» [см.: Анохин, с. 24], высматривающей в ущельях Алтая своего мужа. Легенда, записанная А. В. Анохиным, впоследствии была воспроизведена Гуркиным в одном из тувинских рисовальных альбомов (инв. Г-1564, л. 5), о котором будет еще сказано далее.

Большой интерес представляют графические листы, выполненные осенью 1919 г., в трудный период безвременья и гонений, когда после ареста и задержания в Бийской тюрьме Гуркин был вынужден эмигрировать с двумя сыновьями сначала в Монголию, а затем в Туву ради спасения творческого наследия [см.: Дневник и воспоминания..., с. 8]. Исполненные на бумаге невысокого качества простым или фиолетовым карандашом, они плотно заполнены изображениями и текстами с обеих сторон, в которых обнаруживаются глубокие знания этнической истории и религиозных воззрений алтайцев. В композиции «Языческая мифология» (инв. Г-1022) на вершине горы над сонмом божеств более низкого ранга восседает главное божество древнейшей религии протоалтайских народов — Тенгри [см.: Каримов, с. 10]. По сторонам помещены тексты о великом Тенгри и высшем божестве шаманского культа Ульгене, воплощении доброго начала, творце «всей вселенной, всех миров и стран и невидимого мира».

Внешний вид царя подземного мира Эрлика у Гуркина в одноименном рисунке (инв. НВФ-1025) соответствует описанию одного «в шаманских призываниях» [см.: Анохин, с. 3]. Он изображен бородатым стариком атлетического телосложения, сидящим на вершине горы с жертвенной лошадью в руках. Подрисуночный словесный пейзаж в красках о надвигающейся ночи с багрово-фиолетовыми вершинами гор соответствует описанию легенды об Эрлике в интерпретации Гуркина в упомянутом нами каталоге [см.: Указатель, 1915, с. 15]: «Когда заходит солнце, Эрлик выходит из [преисподней]... опираясь на горные скалы...».

Программно воспринимаются дневниковые записи на одном из листов 1919 г. с двухсторонним изображением (инв. Г-1521). На лицевой стороне с надписью «Эскиз» зарисованы бурханистские жертвенники на фоне вечерних сумерек, вверху читаем текст о художественных задачах автора: «собрать, зарисовать с натуры жертвенники бурханистов на Алтае или написать красками с натуры их формы, тона и отношения к воздушной перспективе» для будущей картины. На оборотной стороне — зарисовка фиолетовым карандашом юрты и кочевников в горах. Под рисунком черной тушью название: «Аборигены на белках (Жайлу³)». Изумляет цитата, выписанная Гуркиным, с подчеркнутыми для него принципиально важными установками из статьи Г. Гейне «Французские живописцы»⁴ по поводу произведений французского художника Леопольда Робера на выставке 1831 г. [см.: Гейне, с. 491], обратившегося в своем творчестве к картинам из итальянской народной жизни: «другие живописцы нашли иной выход. Они стали выбирать для своих картин тль народы, которых цивилизация еще не лишила их оригинальности и национального костюма» (Генрих Гейне). Это близко по духу самому Гуркину, избравшему темы из жизни своего народа.

В богатейшем графическом наследии Гуркина особое значение имеет для нас пристальный интерес художника к изучению, воспроизведению и разработке национального орнамента. Национальные орнаменты в графике Гуркина присутствуют не только в зарисовках предметов бытовой утвари, но и в деталях костюмов на этнографических портретах, на шаманских бубнах, а также в книжных иллюстрациях, в авторском оформлении обложек книг, каталогов и афиш его персональных выставок.

На персональной выставке 1915 г. в Томске из 453 произведений, показанных Гуркиным, было 170 этнографических рисунков карандашом, пером, акварелью. Рисунков с орнаментом, расположенных на 3 щитах в экспозиции, было более 50. В указателе выставки также имеется авторский комментарий: «Орнамент. Алтайцы украшают орнаментом свою утварь (главным образом ведерки, тажауры, кисеты и т. п.), бубны и т. д.; вырезанным по дереву и тисненным на коже» [Указатель, 1915, с. 14].

³ *Жайлу* в переводе с алтайского языка означает «кочевье, летнее пастбище» [Молчанова, с. 35].

⁴ Статья напечатана во 2-м томе Полного собрания сочинений Гейне, являющемся приложением к журналу «Нива» за 1904 г., который, вероятно, был взят в дорогу Гуркиным и который он читал и перечитывал, думая о будущем в жизни и творчестве.

К самым ранним проявлениям интереса художника к орнаменту из собрания ГХМ АК можно отнести карандашные эскизы будущих картин с изображениями в художественных рамах, например «Архыт» (1899, инв. Г-1180), несколько рисунков с орнаментами, выполненных тушью пером на прозрачной, пожелтевшей от времени кальке. Один из них подписан: «Углы рам. Г. Гуркин. 1900 г.» (инв. НВФ-1102). Он отличается тщательностью прорисовки объемных пальметт с завитками в виде волют на углах двух профилированных рам. Впоследствии Гуркин часто зарисовывает композиции своих картин в орнаментированном обрамлении, придавая, таким образом, своим замыслам законченность и стильность. Интересны рисунки видов Горного Алтая с эскизно прорисованными рамами, благодаря которым мотивы природы приобретают глубину и значительность, например лист «Три пейзажных эскиза» (1908, инв. НВФ-989). В рисунке «На белках» (инв. Г-1609) с юртами и стадом животных в горах асимметричные завитки резной рамы по углам и рогами оленя на верхней перекладине подчеркивают экзотичность алтайского пейзажа.

Гуркин предстает в своем творчестве выразителем общих тенденций российского искусства рубежа XIX—XX вв. с его поисками синтетической образности, обращенностью к национальным истокам. В рисунках на темы религиозных обрядовых сцен камланий, жертвоприношений, вечерних молитв орнаменты рам приобретают новые черты. В них бесконечно варьируются однолинейные, предельно лаконичные картины из народной жизни с изображением жилищ, людей, всадников, животных и приплода, имеющих свою родословную в традиционном народном искусстве, археологических памятниках древности. Афиши и обложки каталогов его выставок сродни насыщенным деталями и орнаментами иллюстрациям И. Я. Билибина на темы русских народных сказок, сказок А. С. Пушкина, узорно-орнаментальным фантазиям в акварелях, керамике М. А. Врубеля. Обостренный интерес к особенностям национальной культуры прошлого, стилеобразующие поиски, появление утопических концепций в работах Г. И. Гуркина близки национально-романтическим тенденциям русского модерна.

В творческом архиве Гуркина по народной культуре, национальному орнаменту алтайцев особое место принадлежит рисункам, выполненным в Туве. Вдали от родины он много работает, преподает в русской школе, выполняет творческие заказы — оформляет обложки для первого тувинского букваря, первого учебника «География Танны-Тувинской земли». Но тема Алтай никогда не покидала художника. Алтай остается в многочисленных эскизах, замыслах, воплощением которых Гуркин занимался до конца своих дней. Сохранилось несколько рисовальных альбомов этого периода, являющихся теперь дневниками эпохи, один из них полностью посвящен орнаменту.

Тувинский рисовальный альбом (инв. Г-1564) — небольшая тетрадь с надписью «Алтай. Орнамент» на цветной обложке из тисненой бумаги с двадцатью пожелтевшими от времени тонкими листами бумаги, заполненными с обеих сторон рисунками и записями, — является одной из жемчужин нашей коллекции. Особый интерес приобретают записи Гуркина об истории орнамента начиная от первобытных рисунков «дикарей», орнамент древних цивилизаций — Египта,

Греции, Японии — такие в поле зрения автора, обнаруживающего широкий кругозор, начитанность, вдумчивое отношение к памятникам мировой культуры. Обращают внимание размышления о специфике орнамента на Алтае (инв. Г-1564, л. 1—3).

Основной изобразительный элемент в алтайском орнаменте Гуркин выводит из алтайской лилии и бараньих рогов [см.: Снитко, с. 73], находит в последнем элементе, имеющем название «кульдя», сходство с очертаниями наконечников стрел и ташауров. С формой алтайской кульди художник сравнивает также «ушко от выючных сум» и, что самое любопытное, сердце человека («Орнамент», инв. Г-1574; «Орнамент кульдя», инв. Г-1569; оба 1924) (ил. 5, 6). Художник искусно разрабатывает вытянутые по горизонтали композиции орнаментализованной природы, в которые вплетает стилизованные идиллические сцены народной жизни, варьирует в уплощенном фоне мотивы пейзажа с пунктирными лучами восходящего солнца. На обороте последнего листа — две заставки с изображением сцен народной жизни у источника живой воды. Им присуща характерная для гуркинской графики 1920-х гг. стилизация, узорно-орнаментальное построение пространства, плоскостная декоративность. Присутствие мотива восходящего солнца приобретает иную окраску; от символа благоденствия и мечты о счастье вместе с источником живой воды (Аржан-кутук) этот мотив становится символом новой эры, возрождения и процветания алтайского народа. С начала 1920-х гг. Гуркин увлечен социально-утопическими идеями, широко популярными в это время. Он разрабатывает орнаментальные мотивы, в том числе с советской эмблематикой (инв. Г-1564, л. 4. об.).



5. Орнамент. 1924. Бумага, тушь. 17,9 × 21,8. ГХМ АК (инв. Г-1574)



6. Обратная сторона рисунка «Кульдя». 1924. Бумага, тушь. 22 × 16,5
ГХМ АК (инв. Г-1569)

Творческий архив по орнаменту в наследии Гуркина уникален. Десятки и сотни листов в свое время были скомплектованы художником в альбомы и папки по темам, на обложках которых цветные рисунки с надписями: «Катунь. Писаницы на скалах и Курганы», «Шаманство. Божки», «Костюм. Алтайки», «Орнамент в красках», «Алтай». В них прослеживается эволюция от первых документально точных зарисовок на археологические темы и представляющих научный интерес этнографических рисунков, фиксирующих особенности формы и декора на предметах быта, шаманского культа, в деталях костюма до создания утопических картин счастливой жизни. В поэзии, музыке алтайского орнамента видит Гуркин основу искусства будущего своего народа. Замечательно передает философию художника незаконченная статья на двух страницах тувинского альбома (инв. Г-1564, л 3): «В алтайском орнаменте... родная природа Алтая должна быть одухотворена, опоэтизирована, переложена на музыку — красок и линий... по мировоззрению и пониманию самого алтайского народа. Здесь должна отражаться... жизнь, полная первобытной самобытности с... язычеством и его художественным творчеством и своим миром! Населенными духами Гор, Озер, Леса, Рек. Вся жизнь и природа Алтая в изображении искусства должна быть проникнута “Сказкой-Легендой”». В этом рабочем тексте — ценные размышления Гуркина, попытки теоретически осмыслить природу орнамента как одну из форм синтеза искусств, как самостоятельный и самоценный вид искусства, структурообразующий и преобразующий действительность на идеальном уровне.

В содержательной части графики, как было сказано выше, намечается переход от мифологии и эпоса работ дореволюционного периода к социальной утопии 1920 — 1930-х гг. Интересна в этом плане работа «Пейзаж с юртой» (инв. НВФ-1023). Чистоте лирического зимнего пейзажа с тонкими стволами берез на первом плане и юртой вдаль, к которой по заснеженной тропинке направляются алтайская женщина с ребенком, вторит надпись под изображением о созидательной силе честного разумного труда.

Одним из шедевров творчества Гуркина является акварель «Юрты (Новый Алтай)» 1926 г. (инв. НВФ-693) (ил. 7). Это панорама счастливой жизни алтайцев, живущих в чистоте, изобилии, воспитывающих красивых и здоровых детей в окружении прекрасной природы. Вместе с тем здесь все этнографически достоверно: родной пейзаж, юрты, национальные типы, костюмы, орнаментированные предметы быта. Полифонически звучит эпический образ, в котором замечательно объединены дух радостного труда и поэтика народного быта алтайцев, в сохранении которого Гуркин видел просветительскую основу своего искусства и идеал будущего.

Как подлинное явление высокой культуры творческое наследие выдающегося представителя алтайского народа Григория Ивановича Чорос-Гуркина — художника, этнографа, литератора, фольклориста, просветителя и общественного деятеля — неисчерпаемо. Каждое поколение будет открывать все новые грани его многостороннего дара. Живопись и графика Гуркина и сегодня являются фундаментом преемственности и школой мастерства для последующих поколений художников.



7. Юрты (Новый Алтай). 1926. Бумага, акварель. 32 × 46. ГХМ АК (инв. НВФ-693)

Отобранный из многочисленного ряда интереснейших работ музейного собрания скромный видеоряд позволяет проиллюстрировать этнографику Г. И. Гуркина как подлинно исторический источник и неповторимый художественный феномен.

Анохин А. В. Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время путешествия по Алтаю в 1910–1912 гг. по поручению Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии / предисл. С. Е. Малова. Пг., 1924. 150 с.

Вербицкий В. И. Алтайские инородцы : сб. этногр. ст. и исслед. алтайск. миссионера, протоиерея В. И. Вербицкого / под ред. А. А. Ивановского. Горно-Алтайск, 1893. 270 с.

Гейне Г. Французские живописцы : (картинная галерея в Париже) (1831) // ПСС. СПб., 1904. Т. 2. С. 470–522.

Гончарик Н. П. Иллюстрации Г. И. Гуркина в «Алтайском альманахе» // Алтайский альманах. Барнаул, 2007. С. 15–17.

Дневник и воспоминания Василия Гуркина, сына художника : (к 125-летию со дня рождения Г. И. Гуркина (1870–1937) : / Гос. худож. музей Алтайского края ; публ., предисл., послесл., коммент. подгот. И. К. Галкина. Барнаул, 1995. 28 с.

Каримов Б. Р. Этногенез алтайских народов и тенгрианство // Этнография Алтая и сопредельных территорий : материалы науч.-практ. конф. Барнаул, 2001. Вып. 4. С. 9–10.

Кочеев В. А. Гуркин и археология Горного Алтая // Возвращение : сб. докл. и сообщ. науч.-практ. конф. «Чорос-Гуркин и современность», 11–12 янв. 1991 г. Горно-Алтайск, 1993. С. 225–228.

Молчанова О. Т. Топонимический словарь Горного Алтая / под ред. А. Т. Тыбыковой. Горно-Алтайск, 1979. 397 с.

Потанин Г. Н. Очерк «Население» // Сапожников В. В. Пути по русскому Алтаю. Томск, 1912. С. 15–24.

Снитко Л. И. Григорий Иванович Гуркин // Снитко Л. И. Первые художники Алтая. Л., 1983. С. 48–91.

Указатель выставки картин Г. И. Гуркина. Томск, 1910.

Указатель выставки картин Г. И. Гуркина, 1915 г. / вступ. ст. и ил. обл. Гуркина. Томск, 1915.

Эдоков В. И. Г. И. Чорос-Гуркин : (Судьба. Творчество.) // Возвращение : сб. докл. и сообщ. науч.-практ. конф. «Чорос-Гуркин и современность», 11–12 янв. 1991 г. Горно-Алтайск, 1993. С. 8–103.

Статья поступила в редакцию 15.02.2011 г.

УДК 738(470.5) + 7.03(06)

И. Н. Писцова

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА УРАЛА XX — НАЧАЛА XXI в. В СОБРАНИИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

В общий художественный процесс вводится коллекция авторской керамической пластики Урала XX — начала XXI в., хранящаяся в собрании Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Анализируются произведения уральских скульпторов и художников-керамистов, определяются основные этапы развития авторской керамики на Урале в XX — начале XXI в.

К л ю ч е в ы е с л о в а: авторская керамика Урала; декоративная пластика; метафора; скульптура малых форм.

В собрании Екатеринбургского музея изобразительных искусств достойное место занимает коллекция авторской керамической пластики Урала второй половины XX — начала XXI в., состоящая из 40 произведений (53 предмета). Собираение уральской авторской керамики сотрудниками отдела «Советского искусства» началось в 1970-е гг. и было обусловлено расцветом этого вида декоративно-прикладного искусства, своего рода «керамическим бумом» [см.: Крамаренко, с. 77]. В коллекции представлены скульптура малых форм и декоративная пластика (блюда, рельеф, небольшие терракотовые композиции и монументальные цветные керамические скульптуры). Несмотря на малочисленность, музейная коллекция характеризует почти 40-летний период развития авторской керамики на Урале, отражающий основные направления отечественной пластики последней трети XX в. Социально-политические изменения послевоенного времени и периода «оттепели» стимулировали появление новых тенденций в искусстве, в частности, «...характерный для этих лет “суровый

стиль” с его монументализмом и экспрессивностью, обобщенными, почти плакатными образами оказался органичен для промышленного края и удержался здесь надолго» [Гольнец Г., Гольнец С., с. 260]

По-особому передана в произведениях скульптора Г. В. Петровой (1899—1986) тема Великой Отечественной войны. В фондах музея хранятся три композиции, выполненные из терракоты в 1940—1950-х гг. Гали Владимировна Петрова известна как мастер, владеющий редким талантом создания обаятельных и убедительных образов детей, поэтому особенно трагически звучит тема материнства и детства в серии «Внимая ужасам войны». В скульптуре «Нет войне» (ил. 1), относящейся к этому десятилетию, типичная для того времени реалистическая трактовка сюжета: мать, обнимает спящего ребенка, укрывая его от всех опасностей мира. Другие скульптуры этой серии выражают всю незащищенность ребенка перед войной, когда даже материнское самопожертвование не может в полной мере уберечь его. Ужас, переживаемый детьми в скульптуре «Враг в небе» (ил. 2), изображающей прижавшихся друг к другу детей, достигает апогея трагизма военных лет в композиции, названной беспощадно просто, как свершившийся факт — «Убитая женщина с ребенком» (ил. 3). Композиция впечатляет горизонтальной протяженностью — тело матери и ребенок, лежащий на ее груди, ассоциируются с горем, постигшим людей. Ее пластическое решение спустя многие десятилетия вызывает у зрителя пронзительное чувство бессмысленности войны и хрупкости человеческой жизни. Скульптор изображала не воинов или раненных солдат, а образы тех, кого солдат призван был защитить.

В 1970-е г. на Урале появилась группа талантливых скульпторов и художников декоративно-прикладного искусства, в основном из выпускников столичных высших художественно-промышленных училищ имени С. Г. Строганова и В. И. Мухиной, открывших для творческих экспериментов пластические возможности керамики. Молодое поколение утверждало свой способ видения мира, в котором главной в создании художественного образа становится м е т а ф о р а. Среди скульпторов и керамистов, участников выставок этого времени, часто звучат имена Л. В. Кочутина (р. 1937), Н. М. Коротовских (1941—1976), А. Г. Антонова (р. 1944), О. Н. Мудровой (р. 1945), С. В. Тарасовой (р. 1945), В. С. Соколовой (р. 1946), Л. В. Пузакова (р. 1946), И. В. Цейгер (р. 1950), Б. И. Тряпицына (р. 1955) и других, чье творчество оказало влияние на развитие авторской керамики на Урале.

Автор монументальных и станковых композиций скульптор Ольга Мудрова представлена в музее произведениями «Мечтатель» (1978), «Золотой Волос» (1983) и «Маевка» (1985), выполненными из шамота. В композиции «Мечтатель» (ил. 4) изображен сидящий юноша, опирающий голову на левую руку, в правой руке — ветка с листьями. Здесь автор свободно применяет ритм рельефных линий, образуя фактуру его одежды. Для воссоздания романтического образа Мудрова находит выразительное пластическое решение — веточка в руке словно ограничивает, оберегает сидящую фигуру от внешнего мира. Скульптура из шамота «Золотой Волос» (1983) является первым вариантом композиции, проектируемой для неосуществленного бассейна в городе



1. Г. В. Петрова. Нет войне
1940–1950-е гг. Терракота



2. Г. В. Петрова. Враг в небе
1940–1950-е гг. Терракота



3. Г. В. Петрова. Убитая женщина с ребенком
1940–1950-е гг. Терракота



4. О. Н. Мудрова. Мечтатель 1978. Шамот

Свердловске. Замысел Мудровой заключался в создании бронзовой статуи по мотивам одноименного сказа П. П. Бажова: изображена сидящая фигурка дочери хозяина золота, Золотого Полоза, с длинными, ниспадающими волнами тепло-золотистыми волосами, пластика которых усиливает образное олицетворение. Бронзовая статуя осталась невоплощенной, но ее керамический эскиз приобрел самостоятельное значение.

На городском конкурсе в 1985 г. скульптор представила модель памятника под названием «Маевка» на тему революции, который предполагалось соорудить в лесопарковой зоне Каменных Палаток в Свердловске. В модели монумента, предназначенного для естественного пейзажа, автор применяет круговое построение, располагая фигуру знаменосца, двух мужчин и сидящей женщины на фоне развевающегося полотнища и условно связывая элементы композиции ритмом жестов. В образе «Маевки» впечатляет пластическая цельность группы, сопряженная с духовным настроением революционеров.

К началу 1980-х гг. относится монографическая серия керамической пластики заслуженного художника России скульптора Андрея Антонова, переданная им в музей в 1982 г. В его ранних произведениях наметилась одна из основных линий в творчестве мастера — поиск пластического идеала женской красоты. Художник воплощает в скульптуре малых форм из шамота разнообразие нравов, характеров и эмоциональных состояний женщин. В скульптуре «Материнство» (1980) (ил. 5) поясная фигура матери слилась с ребенком, которого она с любовью и нежностью держит на руках. В работе «Вечер» (1981) образ сильной, волевой женщины соответствует кубовидным формам сидящей фигуры. Эти произведения по своей стилистической трактовке, упрощенным рельефным линиям и обобщенным формам тяготеют к архаике, которая становится одним из любимых пластических ориентиров мастера. С вышперечисленными работами перекликается чернолощеный красивый женский «Торс» (1980).

В следующих вещах цвет природной глины корреспондирует с народной поэтикой образов. В скульптуре «У окна» (1980) изображена поясная фигурка отдыхающей молодой девушки, наивно-трогательно прикинувшей головой к ладоням рук. Противоположный образ создан в «Старухе с Чусовой» (1980) (ил. 6). Скульптор выполняет лишь голову, детально прорабатывая морщины лица, шершавую фактуру ткани платка, подвязанного под подбородком. В замкнутой пластической форме значительную роль играет масса материала, объема, а смелый композиционный срез на уровне узла головного платка делает суровый



5. А. Г. Антонов. Материнство. 1980
Шамот, копчение

«образ памяти» весомым, значительным, монументализирует его. «Старуха с Чусовой» не раз экспонировалась на областных и городских выставках.

Характерным предметом декоративного искусства 1970-х гг. является блюдо: керамисты словно забывают об его утилитарном назначении, превращая керамический диск в поле живописных и пластических экспериментов и свободно проявляя свою индивидуальность в импровизации с цветом, фактурой, выбором сюжета [см.: Макаров, с. 93].

Стилистические изменения времени отражает творчество талантливой художницы Натальи Коротовских. Это приобретенные в коллекцию музея в 1976 г. после мемориальной выставки автора фаянсовые блюда: «Матильда» (1972) (ил. 7), «Вечер» (1973) (ил. 8), «Мальчик с конем» (1973) (ил. 9) [см.: Савицкая, с. 14]. Они насыщены иносказательным смыслом, который кроется в символике цвета эмоционально-выразительной росписи. Условная



6. А. Г. Антонов. Старуха с Чусовой
1980. Шамот, тонирование



7. Н. М. Коротовских. Матильда
1972. Фаянс, надглазурная роспись



8. Н. М. Коротовских. Вечер. 1973
Фаянс, надглазурная роспись



9. Н. М. Коротовских. Мальчик с конем
1973. Фаянс, надглазурная роспись

живописная композиция занимает всю поверхность предметов. В блюде «Мальчик с конем» на фоне желтого неба и синих гор изображен обнаженный загоревший подросток, обнимающий розового коня. Здесь автору удается достичь гармоничного сочетания, смягченных коричнево-серой тональностью цветов, подчеркнуть форму круга энергичной линией обобщенных силуэтов.

На зеркале блюда «Вечер», предстает лирический мир чувств влюбленной пары, символизированный цветом надглазурных красок: розовое платье девушки — женственность, голубая рубашка юноши — мужественность, зеленые, охристые ворота — гармоничность, рыжий кот под деревом на заднем плане — счастливый домашний уют и долголетие. Идиллия нарушается встревоженными взглядами героев и кикиморы, в которую трансформируется пластика дверного кольца справа. Метафорично и блюдо «Матильда», его название и традиционный цветочный мотив таят недосказанность. На зеркале — дивная бледно-охристая роза, цвет которой отражается в сегментах стилизованного парусника и в орнаменте из завитков по борту.

Настенный триптих «Театр» (1976) (ил. 10) отличает изящество прихотливых «текучих» линий рельефа из фарфорового пласта и серо-голубая гамма. В центре трехчастной композиции серая тарелка с накладным ярким бело-синим, кобальтовым изображением акробатов. Их пластика перекликается с расположенными по сторонам тарелки монохромными лепными рельефами. В их асимметричных формах, в цветочных гирляндах, волнистых лентах и пустотах возникают женская и мужская фигурки, разыгрывающие галантную сцену.



10. Н. М. Коротовских. Театр. 1976. Фарфор, подглазурная роспись

Плодотворный период 1980-х гг. принес декоративной керамике приоритет «индивидуальной фантазии» [см.: Кантор, с. 18] автора, стилевую свободу принципов постмодернизма [см.: Жумати, с. 96], но прежде всего иной стиль мышления. Исторические перемены 1990-х гг. повлекли за собой экономический кризис, смену приоритетов, утрату государственного финансирования культуры; члены творческих союзов входят в свободный художественный рынок, ища поддержки у частных инвесторов и частного бизнеса. Музейная коллекция керамики в эти годы формируется во многом за счет дарений мастеров, благодаря чему общая картина художественного процесса оказывается представленной разными мастерами и сохраняет свой научный интерес и экспозиционные возможности.



11. А. Г. Антонов. Путники. 1993
Шамот, тонирование

Продолжает трудиться, как и многие мастера старшего поколения, ведущий керамист Екатеринбурга Лев Пузаков. Его декоративная пространственная композиция «8 марта» (2002) (ил. 12) из шамота с росписью солями впервые экспонировалась на выставке «Искусство и бизнес» и была подарена в музей автором в 2004 г. Сюжетное произведение содержит ироничные аллюзии на нравы современного русского общества. Пластические объемы, основанные на статике, изображают застывшую фигуру бабы в старомодной одежде, которая сидит на деревянном ящике, чуть наклонив укутанную платком голову, опустив руки на колени, соединив вместе ноги в больших прохудившихся валенках. Рядом расположена коробка-«прилавок», на которой пластиковый стакан с семечками, украшенная рельефной надписью, фирмы охранных систем «ДАТАК-РАТ», внутри коробки видна свернувшаяся клубочком собака. Рельефный орнамент и вянущий сероголубой колорит с переходами оттенков красного, желтого, синего цветов окутывают предметы и погруженную в воспоминания фигуру, и лишь ярко-желтые синички, расположенные на плече, в дырах валенка и коробки, высокая ваза с тремя розами напоминают о весеннем празднике.



12. Л. В. Пузаков. Восьмое марта
2002. Шамот, дерево, соли, роспись

Произведение Андрея Антонова «Путники» (1993) (ил. 11), вызывающее в памяти образ известного полотна Питера Брейгеля-старшего «Слепые», несет многоуровневую смысловую нагрузку. Горизонтальная композиция из шамота изображает фигуры трех путников, устремленных вперед, держащихся вместе и охваченных общим ритмом движения: первый смотрит вверх, центральная фигура — вниз, завершающий путник оглядывается назад. Автору удается найти адекватное пластическое решение образа, навеянного временем пере-
мен.

Декоративную скульптуру из покрытого глазурями шамота челябинского керамиста Бориса Тряпицына «Петушок» (1998) (ил. 13), отличаются традиционные приемы трактов-

ки образа, характерные для малой глиняной пластики, и декоративность. Автор создает монументальную фигуру сказочного петуха, активно используя орнамент в виде розеток, покрывающий грудку, вылепленные в виде оборки дугообразный хвост и гребешок, веерообразные крылья, поставленные словно «руки в боки». Сверкающие зеленовато-коричневые поливы с небольшими всплесками золота на объемах ушной серьги, коготках на лапах и декоре усиливают образ сказочного персонажа, который ассоциируется с городским щеголем.



Керамисты А. В. Котышов (р. 1954) и М. А. Смирнова (р. 1956) в декоративных блюдах из фаянса, созданных на Экспериментальном творческо-производственном комбинате при СХР в 1983 г., виртуозно используют линейный контррельеф и ритм цветовых пятен, органично сочетая реалии с элементами авангардных течений. Александр Котышов стилизованно изображает голову девушки в голубой косынке на голубом фоне (блюдо «Девушка», 1983) и линейный профиль мужчины в каске на сером фоне (блюдо «Рабочий», 1983); залитый зеленым цветом сельский пейзаж с фигурой велосипедиста на дороге, тянущейся к церкви на горизонте (блюдо «Велосипед», 1983). Декоративное блюдо «Пейзаж» (1988) украшает фигура художника, изображающего спрятавшуюся между холмами деревенку. Мягкий, коричневый в переходах серо-голубого и желтого оттенков колорит созвучен сентиментальному образу. Стихия метафор и ассоциаций также свойственна произведениям Маргариты Смирновой. В основу образа блюда «Старый город» (1983, фаянс) положен теплый терракотовый цвет. Изображенные на зеркале черным графичным контуром домики с черепичными крышами и глиняные сосуды автор объединяет круговой композицией. Более живописны, вписанные в круглые фаянсовые блюда, аллегорические изображения женских головок, покровительниц природы (блюда «Флора» и «Фауна», 1983). Художник применяет растительные и зооморфные мотивы, помещая изображения растений и животных земной и морской стихий в волосы богинь.

13. Б. И. Тряпицын. Петушок. 1998
Шамот, соли, глазурь, роспись

Своеобразны два произведения скульптора и керамиста Негмата Хакимова (р. 1944), которые содержат национальные восточные мотивы и условный язык авангардных течений. Абстрактная форма на поверхности фарфорового блюда «Времена года» (1991), состоящая из четырех цветовых сегментов, соединила в себе геометрический и растительный мотивы. В центр композиции вписан сегмент неправильной формы густо-синего цвета, с абрисом сердца, переходящий на борт между ритмически повторяющимися полукруглыми сегментами — желтым, зеленым, красным. Тонкая белая линия, охватывающая все сегменты, усиливает декоративный эффект и создает внутреннее движение, символизируя смену времен года. Композиция «Горянки» (1991, шамот, соли) (ил. 14)



14. Н. Х. Хакимов. Горянки
1991. Шамот, соли, тиснение, роспись



15. А. В. Котышов. Икар. 2004
Шамот, металл, шнур, окислы меди,
роспись

состоит из трех условных конусовидных фигур женщины в национальной одежде. Их пластические объемы, завершенные изображением лица с контурами глаза и губ, подобны природным органическим формам, в основе которых спиралевидное объединяющее движение. Одна из фигур изображает женщину с ребенком на руках. Ее форма, похожая на упругую ветку с молодым побегом, образована диагоналями, создающими статику и движение, соответствующие матери и ребенку. Изысканная цветовая гамма, построенная на оттенках светло-желтого и светло-синего, и сплошное покрытие сетчатым орнаментом объединяют композицию, ритмически созвучную музыкальной мелодии.

Еще одно музейное произведение Александра Котышова — «Икар» (2004) (ил. 15). Пространственная композиция, выполненная из шамота, покрытого окислами меди, построена на динамичном ритме пластических форм наклонных башен, утяжеленных металлическими решетками в отверстиях окон, и повисающей над ними фигурой в длинной одежде с крыльями на металлической основе. Охристый колорит и архаичный орнамент органично увязаны с упрощенными формами, ассоциируясь с образом древнего мифа. Мобильная фигура Икара вызывает у зрителя ощущение свободы.

Особый вклад в развитие авторской декоративной керамики на Урале внесли выпускники уральских учебных заведений А. А. Мехонцев (р. 1944), Л. А. Южиков (р. 1940), Н. Л. Чуднова (р. 1956),

В. И. Миронец (р. 1954), С. И. Ильин (р. 1953), Н. Б. Петрова (р. 1963), О. Н. Клавдеев (р. 1963).

В основе произведений шадринского мастера Алексея Мехонцева лежит принцип формообразования, идущий от глиняной игрушки. Народные образы в его композициях отличаются искренностью, будь то в произведении «На пороге светлого будущего» (1997) со светло-коричневыми фигурами бабы и мужика, взявшихся «под руку», или в бликующей светло-

золотистым цветом поясной фигуре мужчины, который на вытянутой вверх руке держит голубя в скульптуре «Голубятник» (1997), искусно вылепленной в глине и покрытой бронзовой краской и лаком.

Индивидуальный почерк нижнетагильского художника Леонида Южакова воплотился в создании ассоциативных произведений в керамике: к примеру, представленная в коллекции музея декоративная скульптура «Философ» (1981) из шамота, покрытого люстром. Абстрактная, выпукло-вогнутая со сквозными отверстиями, увенчанная головой пластическая форма напоминает бронзовый бюст, рефлексирующего философа.

Наталья Чуднова, нижнетагильский скульптор, в произведениях «Лодка I» и «Лодка II» (оба — 1995), отталкивается от мифологических мотивов, связанных с символикой лодки в искусстве. В пластическом решении лодок, словно плывущих по воде, используется прием условного отражения. Соединенные днищами две формы насыщены элементами архаического, геометрического и зооморфного орнамента, выполненного расписными ангобами.

В фондах музея хранятся декоративные композиции «Купи-продам» или «Рынок» (1987) и «Большая Дева осенней травы» (1988) художника Владимира Миронца. Долгое время в постоянной экспозиции музея экспонировался полиптих из темно-синего шамота, покрытого солями и люстром, «Купи-продам». Антиэстетичные упрощенные геометрические объемы изображают: двух мужчин, в разных шляпах: одна в виде сидящей собаки, другая — с птицей, слитых в единую форму; фигуру женщины, голова которой напоминает чашу, украшенную леденцами на палочках; фигуру кота с повязкой на левом глазу и расположенных на его спине двух стилизованных птиц, а также атрибуты рынка: мешок, из которого видны птичьи перья и головы, счеты и кисть руки, прикрытые драпировкой. В композиции впечатляет сильная пластика шамота, фактура которого орнаментирована рельефными и структурными отпечатками: рук, цифр, веревок, перьев, птиц и преобразена в «живую» [см.: Хилова, с. 4] форму, в которой темно-фиолетовый со светло-коричневыми оттенками колорит моделирует объемы фигур, заостряя образ «рыночной картинки».

Мотивы женских образов картин Юрия Филоненко угадываются в декоративной скульптуре из шамота «Большая Дева осенней травы» (1988). Торс Девы на пьедестале с расположенными на объеме конусовидными предплечьями и кистями рук составлен из нескольких керамических пластов. Они словно укрыты стилизованными фактурными керамическими налестками, напоминающими природные ткани из листьев, травы, коры деревьев. Статуя, слегка тронутая серо-охристыми с оттенками зеленого и коричневого солями, передающими гамму осенней травы, воспринимается как аллегория осени. Крыло за спиной и птица, затаившаяся на шляпе, мифологизируют образ.

Пластический парафраз знаменитого полотна Рембрандта «Возвращение блудного сына» создан екатеринбургским художником Сергеем Ильиным в декоративной скульптуре «Притча о блудном сыне» (2003, шамот), покрытой росписью солями, в цветовой гамме сближающейся с живописной картиной.

Декоративные произведения екатеринбургского художника Натальи Петровой «Лошадка» и «Крокодил и птичка» из серии «Африканские сказки» (1995) соединили африканские мотивы и пластические возможности белого конаковского фаянса. В многоярусных гротескных скульптурах главную роль играет архаичный орнамент из прямых, волнистых, зигзагообразных полос и линий, облегчающих тяжелые формы. Цветовая гамма росписи, состоящая из синего, коричневого, зеленого оттенков проявляет архитектонику произведений.

Синтез керамики и дерева является важным отличием иронических произведений нижнетагильского художника Олега Клавдеева «Ангел на качелях» (1995) и «Не рыбный день» (1997). В композиции «Ангел на качелях» (1995) образ ангела наделяется индивидуальной авторской трактовкой. Легкая конструкция деревянных качелей, несущих глиняную, покрытую глазурью фигуру ангела, передает смысл отвлеченных понятий о вестнике добра и счастья. Фантастический сюжет в композиции «Не рыбный день» (1997) соединил смысловой подтекст с элементами игрового характера.

Коллекция произведений авторской керамики Урала второй половины XX — начала XXI в. в собрании музея охватывает панораму развития этого жанра декоративно-прикладного искусства, получившего развитие в творчестве скульпторов первой половины XX в. (Г. В. Петрова, 1899—1986) и актуального у современных художников-керамистов, работающих в начале XXI в.

Гольнец Г. В., Гольнец С. В. Искусство изобразительное и декоративно-прикладное : Екатеринбург : энциклопедия. Екатеринбург, 2002. С. 258—261.

Жумати Т. Словарь терминов // Авангардные направления в советском изобразительном искусстве: история и современность : сб. ст. / сост. и науч. ред. И. Болотов. Екатеринбург, 1993. С. 94—101.

Кантор А. М. Искусство восьмидесятых годов. Советское искусствознание. Вып. 24 : сб. ст. и публикаций. М., 1988. С. 5—29

Крамаренко Л. Г. Керамический бум // Отеч. декоратив. искусство XX века : очерки. М., 2003.

Макаров К. А. Керамика РСФСР // Сов. декоратив. искусство, 1945—1975 : очерки / отв. ред. В. П. Толстой. М., 1989. С. 87—97.

Савицкая Л. К. Выставка новых поступлений : каталог / авт. вступ. ст. и сост. Л. К. Савицкая. Свердловск, 1982.

Хилова О. Живая керамика // Урал. рабочий. 1991. 7 февр. С. 4.

Статья поступила в редакцию 30.03.2011 г.

УДК 736(571.12) + 391.7

В. А. Субботина

ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛЕВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ТОБОЛЬСКОЙ РЕЗЬБЫ ПО КОСТИ (1860-е – 1917)

Анализируется история развития и становления типологии и основных стилистических и образно-пластических линий и жанрово-тематической структуры в тобольской резьбе по кости в первый период ее развития с 1860-х по 1917 г.

Ключевые слова: Тобольск; резьба по кости; художественный промысел; прикладные изделия; народная малая пластика; станковая пластика.

Причиной обращения к данной теме послужило на первый взгляд неожиданно возникшее в тобольской резьбе по кости на рубеже XX – XXI вв. многообразие типологических, стилистических, пластических и жанрово-тематических вариантов, в связи с чем назрела необходимость выяснения всех активно развивавшихся на протяжении XX столетия линий, а также потенциально заложенных в первый период существования тобольской резьбы вариантов как в прикладных изделиях, так и в миниатюрной пластике.

Тобольская художественная резьба по кости, в отличие от северорусской, чукотской и якутской, возникла довольно поздно – во второй половине XIX в., что во многом определило типологические и образно-пластические особенности данного варианта искусства.

Причинами становления и развития такого вида народного искусства, как тобольская резьба, стали несколько факторов: наличие материала (мамонтная кость); появление мастеров, имеющих навыки резьбы, в том числе по дереву; наличие спроса среди городского населения. Немаловажным фактором при сложении тобольского центра резьбы по кости было также пристальное внимание к этому искусству со стороны тобольской интеллигенции. Это внимание было свойственно не только тоболякам: со второй половины XIX в. в России на базе фольклористики возникает активный интерес к исследованию предметного материала, и в частности интерес к народному искусству, начало изучению которого положил В. В. Стасов.

В самом начале возникновения резьбы преобладали прикладные вещи, в первую очередь для городского интерьера, но уже с 1880-х гг. все более значительное место начинает занимать объемная миниатюрная скульптура.

В силу того, что тобольская резьба по кости в период ее формирования не знала длительной непрерывной традиции обработки кости, она испытала достаточно разнородные влияния, использовала несколько источников, прежде чем окончательно сложились основные стилистические особенности и жанрово-тематическая структура данного варианта искусства.

И. А. Крюкова, исследовавшая в своей диссертации историю формирования и развития тобольской резьбы второй половины XIX – первой половины XX в., наметила следующие этапы времени формирования резьбы: возникновение и

становление (1860—1875), расцвет (1875—1890) и постепенный упадок (1900—1917) [Крюкова, с. 2]. В 1860-е гг. преобладали прикладные вещи, которые автор не рассматривала, считая их малохудожественными. Однако для выяснения источников сложения тобольской резьбы необходимо обратиться и к этому пласту, тем более что с 1990-х гг. тобольские резчики довольно активно обращались к созданию прикладных вещей, в том числе авторских. Самый первый «слой» прикладных изделий был создан главным образом ссыльными поляками, большая колония которых находилась в Тобольске после восстания. Это были в основном так называемые «обманки»: изображения различных жучков, бабочек и т. п. на листьях или веточках [см.: Валов, с. 16]. Возможно, самая известная из «обманок», создававшаяся вплоть до начала XX в. уже тобольскими косторезами, — мышь с кусочком сыра на хлебе, первоначально была создана или поляками, или же под впечатлением первоначальных изделий польских резчиков (ил. 1).



Следующая группа прикладных изделий тобольских мастеров — всевозможные коробочки, шкатулки и т. п., в которых на плоскую поверхность наложен мелкий дробный узор. В подобных вещах без глубокого учета и осмысления пластических свойств кости очевидно заимствование приемов оформления аналогичных вещей каслинского чугунного литья, которое было достаточно широко популярно в То-

больске ввиду географической близости города к Уралу (ил. 2). В художественном отношении это весьма существенно сказалось, и эти заимствования вскоре исчезли из тобольской резьбы.

Гораздо интереснее оказался опыт резьбы по дереву, удачно трансформированный при переходе на кость (тобольские резчики иконостасов широко приглашались на работу в города Сибири еще со второй половины XVIII в.). Эти изделия —



ножи для бумаги, подсвечники, шкатулки и т. д. — выполнялись в технике сквозной, рельефной или токарной резьбы. Орнаментика подобных произведений опиралась не на знаковые сущностные элементы народного искусства, а на орнаментiku стиля «историзма», достаточно широко распространенного в русском декоративно-прикладном искусстве второй половины XIX в. (ил. 3). Подобные вещи успешно

продолжали создаваться и в начале XX в., становясь неотъемлемой частью интерьера горожан (широта ассортимента позволяла видеть изделия из кости и в гостиной, и в кабинете, и в столовой, и в дамском будуаре). Можно предположить, что в этот период, т. е. в начале XX в., косторезы могли заимствовать или просто знакомиться с рисунками и прорисовками различных орнаментальных мотивов тобольского художника П. П. Чукомина. Он был выпускником Училища технического рисования барона Штиглица, где, как известно, огромное внимание уделялось работе студентов над разработкой различных узоров, в которых явно преобладала стилистика историзма с использованием древнерусских мотивов, в начале XX в. — с некоторым уклоном в сторону модерна. Образная же сторона целого ряда предметов данной группы вызывает ассоциацию с народной интерпретацией барочных мотивов. Мастера сумели органично сплавить разные истоки, используя мотивы пластики «научного» стиливого направления и образную систему народного искусства.

Место прикладных изделий в общей структуре тобольской резьбы менялось: если они преобладали в начальный период сложения промысла, т. е. в 1860—1870-е гг., то в следующие десятилетия все более заметное и значимое место начинает занимать *миниатюрная скульптура*. В стилистическом отношении она также была неоднородной. Эта неоднородность явилась следствием разности истоков, на базе которых формировались разные линии малой пластики тобольских резчиков. В начальный период наиболее отчетливо заметна в объемной скульптуре линия, имевшая основой то понимание объемной мелкой пластики с преобладанием статичного, мало расчлененного блока, которое характерно для народного искусства.

В. М. Василенко, первым из специалистов обратившийся в конце 1930-х гг. к анализу тобольской резьбы и оценивавший ее как «интересную отрасль народного искусства», считал, что существенное влияние на ее сложение оказало традиционное искусство коренных народов севера Сибири [см.: Василенко, 1974, с. 216—217].

Существование в период сложения тобольской резьбы народной декоративной скульптуры и скульптуры станковой отмечала в своей диссертации И. А. Крюкова. По ее мнению, народная декоративная скульптура сложилась под определенным влиянием народностей Восточной Сибири [см.: Крюкова, с. 3, 5].

Действительно, в традиционном искусстве коренных народов севера Сибири существовала объемная скульптура. По свидетельству наиболее авторитетного



3

исследователя традиционного искусства аборигенного населения Сибири С. В. Иванова, это были, во-первых, ксоаны — антропоморфные фигуры, вырезавшиеся из отрезка древесного ствола и восходящие к цилиндру, иногда уплощающиеся до параллелепипеда. Во-вторых, игрушки — фигуры оленей, коней, птиц, вырезавшиеся часто из мамонтовой кости. К ксоаническим были близки идолы-иляни, вырезавшиеся из дерева и помещавшиеся в лесу, в священных рощах [см.: Иванов, с. 11—54]. Но весьма сомнительно, что тобольские ксторезы были знакомы с подобными предметами: в силу сакральности они не предназначались для какого-либо экспорта за пределы родовых угодий. К тому же традиционное искусство в момент сложения промысла было абсолютно «белым пятном» для рядового горожанина, каковыми были тобольские резчики. Представляется, что особенностью данной линии тобольской малой пластики является не только и не столько влияние традиционного искусства коренных народов Обского Севера — ханты, манси, ненцев, сколько некая «генетическая» связь с русским народным искусством, в том числе культовой деревянной скульптурой, которая была достаточно распространена не только на Урале, но и в Западной Сибири (в коллекции Тобольского государственного музея-заповедника есть небольшое, но интересное собрание этой скульптуры). Возможно, мнение о взаимосвязи первого «слоя» тобольской объемной резьбы с традиционной культурой аборигенного населения Сибири сложилось благодаря тому, что в подавляющем большинстве линия народной декоративной скульптуры тобольских резчиков представлена работами, в которых изображались представители коренных народов. Это были так называемые «остяцкие хозяйства», в которых на подставке изображалась группа северян с оленями, собаками, нартами и т. п. Кроме того, популярны были «поездки», изображавшие, также на подставке, оленю упряжку с седоком. Можно предположить, что своего рода отправной точкой при создании подобных вещей могли быть северорусские композиции из резной кости с изображением экзотических сцен из жизни коренных народов Севера. Подобные композиции создавались архангельскими резчиками со второй половины XIX в. и предназначались для продажи в качестве сувениров морякам с иностранных судов [см.: Уханова, с. 215].

Данное направление малой пластики тобольских резчиков имело потенцию к логическому саморазвитию и формированию самостоятельного и своеобразного варианта народной мелкой пластики. Однако со второй половины 1870-х гг. все большее место занимает станковая миниатюра, которая со временем становится ведущей в тобольской резьбе. Именно эта линия явилась предметом исследования И. А. Крюковой. Считая, что «искусство тобольских ксторезов развивалось в атмосфере политических и эстетических идеалов передовой русской демократической интеллигенции и в период своего расцвета во второй половине XIX в. кругом тем и образов было близко к русскому искусству критического реализма 60—80-х годов», автор полагает, что воздействие русского демократического искусства на сложение тобольской миниатюры было обусловлено наличием просветительской деятельности политических ссыльных [см.: Крюкова, с. 2]. Однако стоит заметить, что во второй половине XIX в. роль политических ссыльных в Тобольске была минимальной, и главным но-

сителем и проводником эстетических идеалов, близких к искусству передвижничества, являлась тобольская интеллигенция, группировавшаяся вокруг созданного в 1870 г. Губернского музея. Особенно значимой была роль тобольского художника М. С. Знаменского, что справедливо отмечала И. А. Крюкова.

Формирование пластического языка станковой линии тобольской миниатюры из кости не было естественным и спонтанным, как в народной декоративной линии. Тобольские резчики, в силу географического положения города и социального положения мастеров, не могли быть посетителями выставок передвижников и знакомиться со скульптурными произведениями в подлиннике. Поэтому в сложении пластического языка значительную роль сыграли, во-первых, широко популярные тогда в городском интерьере скульптурные произведения каслинских мастеров. Несомненным было влияние каслинского литья на появление анималистики.

Еще одним широко используемым источником был репродукционный материал. В частности, широко известная миниатюра самого талантливого резчика, мощно повлиявшего на особенности тобольской резьбы второй половины XIX — начала XX в., П. Г. Терентьева «Нищий» создана по репродукции восковой модели одноименной работы скульптора Л. В. Позена 1886 г., воспроизведенной в журнале «Всемирная иллюстрация» за 1886 г. [Государственная Третьяковская галерея..., с. 226]. Этот же мастер создал серию образов пьесы М. Горького «На дне» (ил. 4). По сути, данные работы — переведенные в пластику и имевшие довольно широкое хождение открытки с фотографий актеров МХТ, игравших в знаменитом спектакле (об этом в 1978 г. рассказал ленинградский художник Л. Рендель, у которого была переданная им впоследствии Тобольскому музею коллекция работ П. Г. Терентьева. По словам художника, жившего в детстве в Тобольске, у его отца, хорошо знакомого с мастером, был набор открыток с фотографиями актеров МХТ).

Во многом благодаря П. Г. Терентьеву тематика работ тобольских резчиков резко расширилась. Сложились две основные тематические линии. Первая из них — так называемая северная, которая перешла и в станковую пластику (как правило, это одно-, двухфигурные композиции, в которых чаще всего изображается северянин — охотник на лыжах, вооруженный луком и стрелами). В подобных работах акцент с экзотики перенесен на социально-психологическую характеристику, подчеркивание угнетенного положения малых народов. Данная трактовка «северной» темы явно сложилась под сильным воздействием тобольского художника М. С. Знаменского, воспитанника ссыльных декабристов, типичного «шестидесятника» по



мировоззрению. Сочувственное отношение к представителям малых народов Российской империи вообще было составной частью этоса русского демократического искусства второй половины XIX в. Представляется, что и само обращение резчиков к «северной» теме во многом обязано М. С. Знаменскому. В 1860-е гг. художник совершил две поездки на север Тобольской губернии, результатом которых явились несколько альбомов акварельных рисунков. Эти альбомы или отдельные листы из них хранятся в коллекциях Государственного исторического музея, Государственного литературного музея и ряда сибирских музеев (в Иркутске, Омске, Тобольске). В поле зрения исследователей они попали лишь с 1980-х гг. Возможно, поэтому в отечественной искусствоведческой литературе сложилось мнение, что северная тема в тобольской резьбе появилась благодаря близкому знакомству резчиков с жизнью коренных народов севера Тобольской губернии, и в том числе с традиционным искусством этих народов. Интерес к жизни коренных народов севера Тобольской губернии активно проявляла и местная интеллигенция, группировавшаяся вокруг музея (достаточно сказать, что в результате периодических экспедиций на север в Тобольском музее осталась великолепная этнографическая коллекция).

Еще одно устойчивое мнение в литературе заключается в утверждении, что северная тема всегда была основной в тобольской резьбе, хотя в своей диссертации 1955 г. И. А. Крюкова утверждала, что тобольские мастера первого поколения обращались к изображению сцен из жизни городского и крестьянского населения [см.: Крюкова, с. 8]. Данный тезис подтверждается анализом жанрово-тематической структуры единственного относительно полного собрания работ тобольских резчиков дореволюционного времени, хранящегося в Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, качественно и количественно дополненное работами П. Г. Терентьева, переданными в музей в 1984 г. из коллекции Л. Ренделя. Произведения на северную тему в данном собрании не преобладают, а работы, в которых мастера обращаются к изображению сцен из жизни городского и крестьянского населения, отличаются довольно широким спектром тем и сюжетов: возчик хвороста, пляшущие крестьяне (ил. 5), образы-типы, анималистика, портреты (правда, в очень ограниченном количестве). В целом, темы и сюжеты станковой миниатюры (за исключением исторической темы, которая активно проявится в 1950-е гг.) соответствуют той структуре, что была характерна для российской «кабинетной» скульптуры.



Существование в первый период развития тобольской резьбе по кости прикладных вещей и объемной миниатюры, народного и профессионального искусства, декоративной и станковой скульптуры, способность воспринимать и интерпретировать различные влияния, довольно развитая жанрово-тематическая структура — все это опре-

делило особенности последующего развития промысла. То многообразие типологических, стилистических, пластических и жанрово-тематических вариантов, которое свойственно тобольской резьбе по кости рубежа XX—XXI столетий, в значительной степени коренится в вариативности данного промысла первого периода его развития.

Валов А. А. Тобольская резная кость. Свердловск, 1987.

Василенко В. Чукотская и тобольская резьба // Художник. 1938. № 1. С. 116.

Василенко В. М. Северная резная кость // Народное искусство. Избранные труды о народном творчестве X — XX веков. М., 1974.

Государственная Третьяковская галерея : каталог собрания. Скульптура XVIII—XX вв. М., 2001. С. 221.

Иванов С. В. Скульптура народов севера Сибири XIX — первой половины XX в. Л., 1970.

Крюкова И. А. Тобольская миниатюра из кости : автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук. М., 1955.

Уханова И. Н. Резьба по кости в России XVIII—XIX веков. Л., 1981.

Статья поступила в редакцию 12.01.2011 г.

УДК 7.033.4 + 7.08 + 7.027

Р. В. Гадицкий

ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЛИГИОЗНЫХ СЮЖЕТОВ В РОМАНСКОМ ИСКУССТВЕ

Рассматриваются основные пластические приемы визуализации религиозных сюжетов в романском искусстве, выделяются определяющие их фундаментальные черты художественного строя романики.

К л ю ч е в ы е с л о в а: романское искусство; религиозное искусство; средневековая культура; образ человека в средневековом искусстве; визуализация.

Искусство Средневековья обращалось к религиозным сюжетам не только для того, чтобы напомнить ему о содержании Писания, проиллюстрировать текст. Будучи одним из основных способов общения коммуникации религиозных представлений, искусство также содержало в себе способы развития этих представлений. Кроме того, именно искусству были доступны способы визуализации невидимого, сакрального содержания религиозного сюжета. Языком видимых образов оно раскрывало перед средневековым человеком новые духовные и психологические измерения христианской религии.

Двенадцатый век для западноевропейского искусства ознаменовался расцветом первого международного стиля — романики. В это время мир

визуальных образов претерпевает заметную трансформацию. На первый план выходит человеческая фигура (или антропоморфная фигура Бога). В искусстве появляются новые сюжеты и новые жанры. При этом зрелое романское искусство характеризуется разнородностью форм, наличием множества стилистических течений, развивающихся в тех или иных областях Западной Европы. Но, несмотря на это многообразие, образность, лежащая в основе романских произведений различных регионов, имеет ряд фундаментальных черт, роднящих эти произведения и позволяющих характеризовать романское искусство как глобальное и целостное явление западноевропейской средневековой культуры. Эти объединяющие черты проявляются и через конкретные пластические приемы, и через особенности пространственно-временного строя изображений. Данная работа посвящена выявлению и анализу некоторых из таких фундаментальных черт романского искусства.

В романском искусстве в первую очередь можно выделить три основные художественные интенции, связанные с изображением внутреннего, скрытого, сакрального: 1) иератическое изображение, 2) образ теофании и 3) повествовательный сюжет.

Иератическое изображение визуализирует вечную сущность Божества через ее схематически-объективное представление, которое противопоставляется повествовательной временности. Функция указания на потустороннюю, невидимую реальность, а также неопределенность, двусмысленность времени, порождаемая таким изображением, сближают его с иконой. Во время молитвы — акта прямого общения с высшим существом — икона входит в зрительное пространство верующего таким образом, что принимает на себя функции отсутствующего субъекта, т. е. здесь речь идет не просто об иллюстрации текста, а о таком изображении, которое способно вызвать иллюзию присутствия собеседника. Поэтому к такому изображению, вообще говоря, предъявляются особые эстетические требования. В частности, иллюзия присутствия субъекта в иконе не предполагает реалистического изображения, т. е. не стремится к иллюзии миметического характера.

В целом, можно связать икону и иератический образ с изображением фигуры в анфас [см.: Schariro, p. 38]. Когда лицо изображено фронтально, происходит контакт с ним. Повествовательное же изображение чаще связано с профильными фигурами, которые отчуждаются от зрителя и существуют где-то вовне, в своем собственном пространстве. Здесь не возникает контакта с лицом, а происходит «прочитывание» персонажа, зритель воспринимает его существование как изолированное от себя. На такую фигуру смотрят «со стороны». В иератическом же изображении фигура постоянно присутствует где-то «здесь». Она существует вне времени, любой взгляд на нее рождает ее присутствие. Подобно любому субъекту, она «живет» в одном и том же времени и пространстве со зрителем. Как замечает Гомбрих в отношении византийской мозаики, «она обязана своей силой этому непосредственному контакту со зрителем. Она больше не ждет, чтобы ее добивались или интерпретировали, но старается подчинить его [зрителя] чувством благоговения» [Gombrich, p. 144—145]. Первое, что отличает профильное изображение, — это невозможность

такого эффекта. Изображенный персонаж уже совсем в другом пространстве: возможность общения с ним исключена отсутствием «ответного взгляда». В другое время, когда-то, он проявлял активность, и фигура в сцене — это воспоминание о его действии, «ожившее» в некоторых телесноподобных формах изображения.

Стоит заметить, что профильное изображение само по себе не обязано быть натуралистическим, оно не должно как-то особенно отличаться по стилю исполнения фигуры, чтобы создать описываемый контраст с фигурой в анфас. Речь идет о различии в символическом значении профильного и анфасного изображений¹. Однако это символическое значение профильной фигуры в романской пластике нередко подчеркивается стилистическим различием. Например, в тимпане южного фасада храма в Муассаке периферийные фигуры выполнены в достаточно глубоком рельефе, в отличие от почти плоской центральной фигуры Христа. Но может иметь место и противоположная ситуация, как в церкви Святой Троицы в Анзи-ле-Дюк. Здесь в тимпане западного портала, изображающего сцену Вознесения, Христос представлен в перспективном эллиптическом ореоле, и его фигура выполнена в глубоком рельефе. Пластические объемы верхней части тимпана завладевают вниманием зрителя, создавая мощный эффект присутствия, усиленный глубоким ореолом. В то же время нижние фигуры, так же как и ангелы, поддерживающие ореол, представленные в профиль, гораздо слабее проработаны в глубину. В сравнении с Иисусом они как будто расположены где-то далеко, их значение значительно меньше. Возникает довольно выраженная психологическая дистанция между персонажами и зрителем, наблюдающим за сценой, усиленная еще и тем, что фигуры помещены на дверной балке, за пределами тимпана, ограниченного перспективными архивольтами, которые создают визуальный эффект центростремительного притяжения. Выдающиеся вперед формы фигуры Христа, массивные выпуклые складки его одежд представляют почти отдельное от стены пластическое образование и подталкивают к ощущению живого и непосредственного контакта со Спасителем. Другие же персонажи сцены, охваченные драматическим действием с их активной жестикуляцией и неравномерным расположением в композиции, воспринимаются сквозь призму отвлеченного созерцания: взгляд фиксирует их опосредованно.

Эта иконография повторена на тимпане церкви в Монтсо-Л'Этуаль, но здесь нижние фигуры не отрезаны от области тимпана и их активная жестикуляция выступает за пределы балки. За счет этого персонажи оказываются в одном изобразительном пространстве с Христом и образуют с ним единую драматическую сцену. При этом, однако, лишь острее подчеркивается эффект, создаваемый противопоставлением между профилем и фасом.

Развитие романского языка идет по пути все большего сосредоточения эмоциональных центров изображения на человеческой фигуре. Все острее

¹ Шапиро приводит примеры, когда в XII и XIII вв. иконографические типы, предполагающие фронтальные изображения, преобразуются в профильные. Иератический сюжет начинает восприниматься как исторический [см.: Schapiro].

ставится проблема передачи в изображении волящего и чувствующего субъекта, проблема представления персоны посредством изображения ее тела, лица, жестов. В зрелой романике систематически ставится задача представить субъекта, участвующего в сюжете, существующем в некотором протяженном времени. Пластические средства искусства привлекаются для того, чтобы передать не только знаковое содержание сцен, но и оказать прямое воздействие на зрителя. Изображение строится так, что психологическая реакция зрителя не ограничивается припоминанием повествовательной информации о сюжете. Образ действует эмоциональные плоскости визуального созерцания.

В романском искусстве можно увидеть различные способы эмоционального насыщения визуальной ткани. Одного подхода — усиления эффекта иератического присутствия за счет стилистического противопоставления — мы уже коснулись. Другой способ «оживления» образа заключается в наполнении изображений эмоциональным содержанием через экспрессию и связан он больше всего с сюжетами, иллюстрирующими мистические явления — теофанию. Эмоциональность в этом случае передается абстрактной экспрессией пластических линий, не связанных напрямую с фигуративными формами соответствующих элементов в изображении. В экспрессивном изображении конкретность линий, ограничивающих фигуру, не целиком определяет возможность взгляда узнать эту фигуру, выделить ее как отдельный и значимый смысловой элемент сцены. Изображение содержит как бы избыточную визуальную подвижность, в которой не было бы необходимости, если бы художественное значение ограничивалось чистой повествовательностью. Такой тип пластики можно характеризовать словами Юваловой: «...энергия, которой заряжены фигуры, носит иррациональный, внеличный характер. ...Она истолковывается зрителем, как духовная сила, но трансцендентная, не имманентная персонажу, не излучаемая им, а низошедшая на него извне, властно владеющая им и произвольно искажающая его тело и движения» [Ювалова, с. 128]. Здесь сам характер пластической оживленности фигуры не фиксируется повествовательной активностью персонажа в изображаемой сцене, но развивается сообразно скрытому психологическому значению этой сцены.

Подобное экспрессивное начало демонстрирует, например, фреска «Мистическое обручение святой Екатерины» на своде апсиды в крипте церкви Богоматери в Монтморийон [см.: Focillon, 1938, p. 80]. Здесь изображение не только передает иконографическую схему, но содержит также указанное выразительное измерение. Это не символ, а образ живого мистического действия, в котором божественная активность проявляется динамикой линий. В изображении Марии с Младенцем все неустойчиво и текуче, все заряжено таинственной энергией. Фигура Богоматери помещена в продолговатую мандорлу. Это строгое геометрическое очертание, казалось бы отмечающее собой центр композиции и дающее основу для ее устойчивой формы, само нарушается: фигура Екатерины и рука младенца Христа пересекают ее. Драпировки развеваются, они как будто бурлят, при этом образуя своим рисунком два разнородных типа фактуры; жесты Марии и Христа не образуют ритмической слаженности. Кажется, что каждая точка пространства, обозначенного овалом ореола, находится в движе-

нии. Эффект подвижности дополнительно усиливается волнистым узором, обрамляющим линию ореола.

Экспрессивные построения романского искусства подразумевают особый тип взгляда, который как бы скользит сквозь контуры, восходя к некоторому общему образу, причем достаточно мелкие детали, если на них не сосредоточивать специального внимания, остаются за пределами смыслообразующего поля изображения и воздействуют на зрителя как некий эмоциональный фон. Экспрессивная выразительность производит эффект соприсутствия эмоции, ею порожаемой, и зрителя, испытывающего эту эмоцию. Поскольку напряжение испытывает зритель и оно не связано с конкретным персонажем, а только с фигурой, то оно с точки зрения изображения сцены имеет вневременной характер.

Романский образ теофании, таким образом, как и иератическое изображение, обладает двойственной временной перспективой. С одной стороны, в нем представлено символическое действо, не имеющее конкретной временной протяженности, выступающее как иллюстрация мистического эпизода. С другой стороны, экспрессивность пластических форм создает эффект внутреннего движения, наделяет образ некоторой психологической протяженностью. Как мы увидим ниже, подобная же двойственность времени свойственна и романским повествовательным изображениям.

В романском искусстве Северной Европы, как правило, фигура не имеет четко очерченного личного пространства, ее присутствие как-то сумбурно и скомканно. Несмотря на то, что человек здесь появляется на фоне растений и в ряду других живых существ как отчетливая пластическая единица, фигура и пространство вокруг нее не имеют отчетливой структуры. Они перемешиваются, и при этом пространство как бы исчезает, существует только как место, наполненное объектами, или, скорее, сами тела являются местами на плоскости, но не представляют собой полноценных самодостаточных объектов. Не случайно Фосийон подчеркивает двойственность линии в романском искусстве: линия одновременно прочитывается и как ограничивающая силуэты фигур, и может служить самостоятельным композиционным приемом, обогащающим форму, заключенную в «пространстве-пределе». Этот принцип проявляется даже в круглой скульптуре. Например в каменной статуе «Богородица с Младенцем» из кельнской церкви Санкт-Мария-ин-Капитоль (конец XII в.), в которой можно увидеть, как пренебрежение точными телесными объемами приводит к срастанию тел Марии и младенца Иисуса [см.: Swarzenski].

Именно поэтому, если в романской сцене осуществляется контакт между двумя фигурами, этот контакт часто сводится к тактильному — прикосновению, объятию. Тем самым фигуры максимально наглядно указывают на общение, происходящее между субъектами, которых они репрезентируют. Можно даже сказать, что это своеобразный выразительный принцип, весьма характерный для романского искусства, как южного, так и северного².

² Не путать с законом максимальных контактов фигуры в триангуляции пространства, о котором пишет Фосийон [см.: Fosillon, 1964, p. 191–198] и применимость которого к романскому искусству начиная с конца XI в. фактически подвергает сомнению Франкастель [см.: Francastel, p. 196–197].

Мотив телесного контакта часто является центральным в фигуративных построениях романского искусства, становясь основой выразительного языка, в котором простая знаковая повествовательность получает тонкий эмоциональный окрас. Так, например, в капители Жизельберта из отенского собора, на которой представлена сцена видения трех волхвов, ангел пробуждает одного из волхвов легким прикосновением — жестом, задающим эмоциональный центр композиции, вокруг которого выстраивается ее геометрическая схема. В испанской слоновой кости из американского музея Метрополитен, нижняя часть которой содержит репрезентацию сюжета «Noli me tangere» (казалось бы, самого по себе исключаящего прикосновение), мотив касания тонко обыгрывается. С одной стороны, иллюстрируется характер взаимодействия между персонажами (Иисус касается нимба Марии, Мария не достигает Христа), с другой — сцена наполняется особым эмоциональным колоритом, рождаемым ритмическими взаимодействиями жестов и объемов фигур и усиливаемым экспрессивной подвижностью драпировок.

В некоторых поздних произведениях этот сугубо романский изобразительный мотив тактильного взаимодействия фигур достигает высочайшей поэтичности, как, например, в ломбардской скульптурной композиции «Богородица с Младенцем» (начало XIII в.) из Бостонского музея изобразительных искусств [см.: Swarzenski]. Здесь пластика телесного контакта, «опевающая» иконографию объятий между фигурами Марии и Иисуса, напитывает скульптуру редким для романики настроением теплого, интимного общения.

В противоположность специфическим теологически ориентированным образам иератического и теофаниического жанров, требующим особой абстрактной или косвенной (стилистически ориентированной) пластической экспрессии, повествовательные сюжеты дают большую возможность для проявления собственно фигуративной выразительности, когда динамика фигур направлена на репрезентацию сознательного существа. Человек в романском искусстве, как правило, изображается вполне самостоятельным агентом повествовательных сцен, это читается по лицу, жестам, по общей композиции, где угадывается стремление передать именно конкретное действие. Но вместе с тем романская фигура еще не достигает пластической целостности настолько, чтобы стать манифестацией морального импульса; она распадается на ряд элементов, которые, хотя и воспринимаются как детали целостного контура, имеют самостоятельную пространственную организацию и работают не то как знаки, не то как экспрессивные геометрические построения. Для примера можно привести фреску «Моисей разбивает скалу» из церкви в Ле-Пюи³. Здесь каждая фигура обозначает свое отношение в сцене определенным набором жестов. Наиболее активный участник эпизода выделяется интенсивной жестикуляцией. Но значащие элементы не соединяются в неразрывное цельное представление и все еще существуют до определенной степени как собственно знаки.

³ Фрески не сохранились, но их достоверные акварельные копии XIX в. хранятся в музее Кразотье в Ле-Пюи. Датируются рубежом XI–XII вв. [см.: Derbes].

Иногда в повествовательное пространство романского типа врывается острая экспрессивная артикуляция форм. Например, в церкви Святого Юлиана в Понсе-сюр-ле-Луар (начало XII в.) в сцене избияния младенцев мы видим, что женская фигура поглощена жестикулярной экспрессией настолько, что за ней даже не усматривается интенционального начала, остается только безличное ее оживление (что, в общем, совсем не подрывает особой «художественной правды» такого изображения).

Интересны фрески из Сэн-Савен-сюр-Гартемп (XII в.), представляющие целую гамму изобразительных средств романского живописного языка. Три апостола в портике [см.: Focillon, 1938, p. 31] оживлены варьирующимися наклонными тел и различиями в рисунках драпировок. Головы расположены симметрично на равных промежутках, но образующийся ими ритм удерживается от монотонности разнообразием черт их ликов. С этими и другими изображениями данного цикла контрастирует «Христос во Славе» из люнета, который, по выражению Фосийона, «заключает в себе мощную целостность и возвышенность лучших романских образов» [Ibid., p. 35]. Голову, кисти и стопы Иисуса пересекает линия ореола, заключающего его тело в правильное круглое пространство. Неподвижный Иисус все же как будто вибрирует в мистическом присутствии — эффект, достигаемый за счет мягких линий его жеста и широких округлых плоскостей свободно свисающих одежд с его рук и за спиной. Реализм в этом изображении точно дозируется: его ровно столько, сколько нужно для того, чтобы Христос не стал немой бездыханной куклой или абстрактным беспредметным символом.

В нефе этой церкви фрески имеют несколько другой характер. Здесь часто заметна более свободная игра драпировок, придающая фигурам особую элегантную легкость: они как бы парят или танцуют. Этот повествовательный цикл, посвященный ветхозаветным сюжетам, очень интересен различными своими аспектами, но прежде всего он демонстрирует, что в романской живописи была доступна передача эмоционального контакта, почти не встречающаяся в пластике, относимой к этому стилистическому направлению. Возьмем, например, участок, в котором объединены две сцены — «Смерть Авеля» и «Проклятие Каина», занимающие соответственно левую и правую части композиции. Вторую сцену образуют две фигуры — Бог и Каин. Изыщный наклон Господа встречает ответное движение фигуры Каина. Руки обоих участников, направленные друг к другу в симметричных жестах, расположены близко, но не соприкасаются друг с другом. Головы одинаково наклонены, их взгляды отчетливо разъединены пустым пространством, что и создает эффект молчаливого живого общения. Это же решение использовано во фресках нефа «Благословение Ноя и его семьи на выходе из ковчега» и «Приношение Ноя». Тонкое различие в деталях создает явно читаемые вариации смысла и эмоционального напряжения. Если Ной принимает благословение, демонстрируя покорность и смирение, слегка опуская голову и не поднимая взгляда, то в сцене «Проклятия» взгляд Каина поднимается решительно, отчего эмоциональное и собственно драматическое наполнение сцены становится гораздо глубже, а доминирование фигуры Бога, неизменно передаваемое во фресках цикла укрупненным

размером и элегантною подвижностью, по-особому остро ощутимо.

Описанный нами способ дистанционного общения между фигурами доступен и романской храмовой пластике, особенно там, где небольшая глубина рельефа, оформляя, по выражению Фосийона, «пространство-предел», сближает скульптурное построение с живописью. В рельефе «Предательство Иуды» с ограды хора Моденского собора (1170—1184) два противоположных по своей сути приема фигуративно-пространственной организации значащих элементов сцены использованы как дополняющие друг друга, что позволило кампьюнским мастерам, выполнившим рельеф, достичь ясной и выразительной интерпретации библейского события. Фигура Христа, превосходящая по размеру остальные, помещена в центре композиции, вокруг нее разворачивается игра телесных прикосновений: Малх берет Иисуса за руку, Петр, в свою очередь, хватается за волосы, Иуда обвивает руками торс Христа. Этот своеобразный хоровод касаний, расположенных в ритмически ломаном движении вокруг фигуры Христа, усиливает ощущение центральности и неподвижности Спасителя, его духовной стойкости. Но вместе с тем в рельефе присутствует и «игра взглядов» основных персонажей. Отрешенность взора Христа, благодаря которой он как бы выпадает из актуальности эпизода⁴, противопоставляется направленному снизу вверх заискивающему взгляду Иуды, фигура которого неустойчиво тянется по диагонали в направлении лика Иисуса. Все элементы этой композиции рассчитаны точно и создают хорошо читаемый и убедительный художественный образ, складывающийся из различных по своей выразительной природе деталей.

Смысл композиций не исчерпывается физическим или визуально-знаковым контактом как таковым, обращение к которому лишь вызвано необходимостью как можно более наглядно передать напряжение между фигурами, подчеркнуть их вовлеченность в общее действие. Такой «тактильный» тип общения персонажей заключает в себе важную особенность: он всегда подчеркнуто публичный, наружный, причем субъекты, вне зависимости от того, кто в данной сцене оказывается физически активным, объединяются в изображении в единую пластическую группу, в одно замкнутое фигуративное построение. Даже если нет физического контакта между фигурами, связь между ними особо подчеркивается композиционными элементами, нарушающими однородность пространства между ними.

Здесь стоит заметить, что пространство, в котором существуют персонажи романских повествовательных сцен, как правило, двойственно по своей композиционной роли. С одной стороны, оно строится таким образом, что человеческие фигуры оказываются недостаточно полно связанными с фоном, репрезентирующим некоторый гипотетический интерьер. Они как бы парят над фоном, но не углубляются в пространство интерьера. С другой стороны, фигуры остаются несамостоятельными с композиционной точки зрения, вступая в отношения с различными элементами фона, что закрепощает их общим строем изоб-

⁴ Ощущение отрешенности Иисуса усиливается необычным атрибутом, присутствующим во всех рельефах преграды, — книгой в его руках, которая, по мнению Каннингема, символизировала собою связь между изображенной сценой и литургическим действием, проводившимся за преградой [см.: Cunningham].

ражения. Это, в свою очередь, препятствует высвобождению сознательной активности персонажей, мешает визуализации свободного психологического контакта этих персонажей друг с другом.

Такая двойственность пространственного строя романской живописи довольно ясно прочитывается, например, на странице Псалтыри святого Албания, иллюстрирующей новозаветную сцену, где Мария Магдалина возвещает о воскресении Христа апостолам. Это довольно редкая сцена интересна еще и тем, что свидетельствует о процессе десимволизации образов, который наблюдается в религиозной культуре Западной Европы в XII в. Из символа Экклезии Магдалена превращается в индивидуализированную историческую фигуру и изображена в манускрипте соответствующим образом, т. е. как активный агент истории, участвующий в важном для развития библейских событий эпизоде [см.: Cargasco]. Мотив общения передан здесь уже знакомым нам по рассмотренным фрескам приемом противопоставления двух профилей. Но здесь присутствует и упомянутый композиционный принцип, состоящий в вовлечении фигуры в некоторую масштабную изобразительную структуру. При реализации этого принципа персонаж лишается в некоторой степени своей активной, динамической самостоятельности в сцене. Здесь, так же как и в рассмотренных выше фресках, противопоставление общающихся фигур подчеркнуто изменением цвета фона таким образом, что действующие лица не общаются напрямую, находясь в едином пространстве, а визуально разделены двумя изолированными фрагментами пространства, пролегающего за ними.

Разъединенные таким образом фигуры застывают, их действия приобретают модальность «отложенности». Такое изображение характеризуется особым временным ощущением. Несмотря на то, что, в отличие от иератических и теофанических мотивов, повествовательные сюжеты дают основание для создания конкретно-временной образности, воплощенные в романской стилистике они также остаются ограниченными в этом отношении. Время в них неактуально или действительно, как если бы репрезентируемые в нем движение или акт общения совершались или длились в некоторый конкретный момент или продолженный промежуток времени. Оно не определено: изображение воспринимается как слепок движения. Это уже не чистая схема сцены, но и не моментальный «снимок». Фигура еще недостаточно полно вбирает в себя всю активность персонажа и не предстает агентом этически сознательного субъекта. Здесь также два пласта визуальной выразительности — знаковый и эмоциональный — продолжают существовать отдельно. В повествовательном сюжете изображение расслаивается на знаковую составляющую, сообщающую зрителю буквальное содержание сцены, и на композиционно-пластическую разработку сюжета, которая настраивает восприятие образа на особую тональность. Сюжетная схема при восприятии дополняется отдельными чертами эмоциональной напряженности, которые создаются неравновесными или ритмическими элементами композиции.

Таким образом, мы видим, что при решении различных художественных задач романское искусство обращается к разным принципам пластической выразительности, к разным приемам эмоционального наполнения образа. Но вместе с тем все рассмотренные нами изображения пронизывают сходные черты,

определяющие особый пространственно-временной строй визуальной репрезентации, который можно считать наиболее фундаментальной характеристикой художественного языка романики.

Ювалова Е. П. Сложение готики во Франции. СПб., 2000.

Carrasco M. E. The Imagery of the Magdalen in Christina of Markyate's Psalter (St. Albans Psalter) // *Gesta*. 1999. N. 1 (38).

Cunningham D. Sacrament and Sculpture: Liturgical Influences on the Choir Screen of Modena Cathedral // *Material Religion: the J. of Objects, Art and Belief*. 2008. N. 1 (4).

Derbes A. A Crusading Fresco Cycle at the Cathedral of Le Puy // *The Art Bulletin*. 1991. N. 4 (73).

Focillon H. L'art des sculpteurs romans recherches sur l'histoire des formes. P., 1964.

Focillon H. Peintures romanes des églises de France. P., 1938.

Francastel P. L'humanisme roman. P., 1970.

Gombrich E. Art and Illusion: a Study in the Psychology of Pictorial Representation. L., 1960.

Chapiro M. Words and Pictures. On the Literal and the Symbolic in the Illustration of a Text. Approaches to Semiotics series 11 ed. Thomas A Sebeok. The Hague; P., 1973.

Swarzenski H. A Masterpiece of Lombard Sculpture // *Bulletin of the Museum of Fine Arts*. 1959. N. 309 (57).

Статья поступила в редакцию 17.03.2011 г.

УДК 739.2 + 7.035.93

О. В. Береговая

УКРАШЕНИЯ КОСТЮМА: МОДА И ТЕХНОЛОГИИ

Рассматриваются ювелирные технологии производства украшений костюма, устанавливается взаимосвязь моды и технологий. Проводится конкретно-исторический анализ развития новых технологий и материалов от древности до конца IX в., их влияние на формирование модного костюма.

Ключевые слова: украшения костюма; новые технологии в ювелирном деле; взаимодействие моды и технологий.

Исторический костюм представляет собой единую, архитектурно-сбалансированную цельную композицию, включающую в себя как одежду, так и украшения. Только это выверенное веками соотношение создает законченную, неповторимую пластику образа, на которую, наряду со спецификой производства одежды, существенное влияние оказывали и оказывают технико-технологические особенности изготовления металлических деталей и украшений. При рассмотрении истории костюма и украшений можно отметить, что металлические элементы и украшения используются человеком в одежде с древнейших времен. Им всегда придавалось большое значение: украшения из металла были и остаются поныне важными формообразующими со-

ставляющими костюма. Наряду с исследованием роли украшений из металла в композиции исторического и современного костюма в данной статье затрагивается также их роль в общей функциональной структуре костюма, отражающей географические и климатические условия, этнические особенности, эстетические вкусы и социальный заказ общества. При рассмотрении некоторых металлических украшений в костюмах разных народов можно сделать вывод, что функциональные особенности этих украшений являются неотъемлемым компонентом функции костюма в целом.

Для изготовления украшений тогда использовались медь и бронза, позднее предпочтение было отдано золоту и серебру, это материалы, требующие определенных методов обработки и обладающие весьма ценными свойствами. В отличие от других металлов, золото и серебро долго сохраняют свой завораживающий цвет, хорошо поддаются ковке, легко плавятся и вытягиваются в тончайшие нити-волоски, устойчивы к окислению и коррозии.

Украшения костюма своим происхождением восходят к глубокой древности. Обнаружено огромное количество предметов, служивших украшениями со времен скифов до конца XV в., среди этих находок много замечательных фибул-застежек, кованые гривны. Все они свидетельствуют о мастерстве наших предков. Ювелирные изделия древних мастеров поражают не только разнообразием форм, но и многочисленностью используемых ювелирных техник: здесь скань и зернь, литье и чеканка, чернение (по серебру). Украшения часто декорировались или эмалью, или негранеными камнями, которые, как правило, обрабатывали в форме кабошонов. Золото символизировало вечность, уготованную умершему.

В истории украшений многое говорит о том, что для их развития важен не только талант художника, стиль и тематика, немаловажную, а иногда и основную роль играют технологии изготовления этих украшений, диктующие порой новомодные тенденции украшений костюма.

Быстрый бег современного общества, огромный рост энергии, информации и вещества, подвластных людям, стремительное усложнение ювелирных технологий — все это вызвало новообразования в стилях, формах, композициях украшений, которые, в свою очередь, повлияли на изменения костюма в целом.

Во многих работах, связанных так или иначе с украшениями костюма или ювелирными украшениями, чаще рассматриваются формы и композиционные образы украшений, тогда как технические особенности изготовления украшений того или иного временного периода задают тон в украшениях.

Задача статьи — рассмотреть ювелирные технологии производства и установить взаимосвязь моды и технологий, провести конкретно-исторический анализ развития новых технологий и материалов от древности до конца XIX в., а также их влияния на формирование модного костюма.

Одной из трудоемких, но ярких и эффектных технологий является технология грануляции¹. Грануляция стала известна в III тысячелетии до н. э.,

¹ Грануляция — орнаментальное украшение изделия с помощью мелких металлических шариков.

этруски довели ее до совершенства. Зерна выплавляют из наструганных кусочков золота или серебра определенной пробы в тигле, наполненном мелким порошком из древесного угля. Расплавленные от нагревания тигля частички благородного металла принимают форму круглых зерен (шариков), а древесная пыль не дает им соединиться (слиться). При такой плавке зерна поглощают углерод, который снижает их температуру плавления. Зерна оставляют в тигле до полного их охлаждения, затем просеивают через сито и сортируют.

Примером может служить знаменитая золотая фибула из гробницы Бернардини эпохи этрусков [Гаудалупи, с. 128]. Размер фибулы 17 × 7 см. На поверхности изделия мастер разместил сто тридцать фигурок животных, используя высокий рельеф в изображении зверей: «они отбрасывают глубокие тени, и это придает золотому листу вид тяжелого украшения» [Там же, с. 131]. Такие технические приемы применялись у этрусков для придания украшению большего размера, объемности и массивности, что должно было производить впечатление богатства. Говоря о технических характеристиках изделия, нужно отметить, что фибула выполнена из золотого кованого листа. Золото вдавливалось в каменную или деревянную матрицу с помощью простого инструмента — да в ч и к². Для декорирования одного предмета использовались два различных принципа орнаментации зерню: рельефный и графический.

В некоторых фибулах композиция основана на графическом изображении всего рисунка. Так, например, на фибуле VII в. до н. э. из Ветулонии красиво очерчены силуэты сфинксов, тщательно выполнены за их спинами крылья (ил. 1). С помощью мелкой зерни³ из золота художники-ювелиры способны были составлять любые орнаменты на разных поверхностях. Техника пайки позволяла скреплять лист золота и мелкую грануляцию орнаментов любой сложности. В золотой фибуле из гробницы Литтора (VII в. до н. э.), также в Ветулонии, иной подход к изображению того же мотива (ил. 2). Фигуры идущих сфинксов на плоской вытянутой пластине оттиснуты штампом и выступают более



1. Фибула из Ветулонии. Золото. Грануляция. VII в. до н. э.
Флоренция, Национальный археологический музей

² Да в ч и к — металлический стержень, применяемый для выравнивания камня в посадочном гнезде для обжатия при закреплении камней.

³ Зернь — мелкие шарики диаметром от 0,4 мм, которые напаиваются в ювелирных изделиях на орнамент. Зернь создаёт эффектную фактуру, игру светотени.



2. Фибула из Ветулонии. Из гробницы Литтора. Золото. VII в. до н. э.
Флоренция, Национальный археологический музей

рельефно, чем в технике грануляции. В композиции меньше графической четкости контурных линий, больше расчета на живописно-светотеневой эффект. Этим же отличается и выпуклая часть фибулы: орнамент ее объемный, рассчитанный на игру света и тени.

Благодаря техническим возможностям и появлению новых техник в работе с металлом, можно сказать, что украшения костюма становятся основой всего костюма в Древней Греции. Так, в costume древней Греции можно увидеть обилие пришитых блях, в которых проявлялась отражательная способность. Все блестело и переливалось под лучами южного солнца. Эффект производимый при сочетании разнородных материалов, таких как ткань и металл, был открыт благодаря греческим мастерам (ил. 3).



3. Квадратная золотая бляха
с изображением Деметры. Древняя Греция

В Греции широко стали применять эмаль, которая представляла собой цветную стеклянную массу (эмалирование)⁴. Для греческих украшений характерна так называемая филигранная эмаль, когда покрытые эмалью участки обводились тончайшей проволокой, что свидетельствует о высоком художественном и техническом уровне греческих специалистов. Греко-римские украшения отличаются ярко выраженной пластичностью, подчеркиваемой акцентированными цветовыми эффектами — единичными цветными драгоценными камнями, наплавленным цветным стеклом.

Эта технология сформировала новое отношение к цвету. Сама техника филигрании, о которой мы говорили ранее, приобрела в сочетании с эмалями новый цветовой эффект: взаимосвязь металла и эмали, блеск золота и цвет эмали, где металл являлся связующим между разными цветами эмалей. И это художественное решение было продиктовано технологией.

Дальше свое развитие эмали получили благодаря византийским ювелирам. Встречаются византийские эмали двух типов: 1) как отдельные мотивы на золотом фоне, 2) покрывают всю поверхность изделия. Предпочтение отдавалось композиционным решениям с богатым золотым фоном. Украшения выполнялись в технике перегородчатой эмали⁵, этот прием был распространен в ювелирном деле Западной Европы вплоть до готики.

Нужно отметить, что в византийских изделиях металлу отдавалась главенствующая роль. Византийцы высоко ценили этот металл, так как считали, что им покрыто небо. Ювелиры, следуя прошлому опыту, смогли с помощью металла показать красоту эмалей.

Инновационной технологией, появившейся в Древнем Риме, можно обозначить технику огневого золочения⁶, или «золотой наводки», которая напоминает технику офорта, которая впервые была описана в I в. Плинием и Витрувием. Сначала медную пластину покрывают лаком, после чего рисунок процарапывают острым инструментом. Очищенные от лака места травят кислотой. Затем приступают к нартучиванию и золочению травленого рисунка. Вначале растворенное в ртути золото непрочно держится на пластине, но при ее нагревании входящая в состав амальгамы ртуть испаряется, и золото проникает во все очищенные травлением поры меди, прочно соединяясь с ней. Этот

⁴ Эмалирование — один из видов декоративной обработки (отделки) ювелирных украшений. Эмаль представляет собой легкоплавкое стекло сложного состава, предназначенное для наплавления на металл. Сложный состав эмали необходим для прочного сплавления с металлом. Цвет эмалей — самый разнообразный и достигается за счет введения в сплав соответствующих красителей. Различают эмали холодные и горячие, прозрачные и непрозрачные. В ювелирном деле чаще применяются горячие эмали, наносимые на изделия посредством обжига.

⁵ Перегородчатая эмаль — эмаль, заключенная в ячейках, образованных тонкими металлическими полосками, припаянными на ребро к металлическому фону. Перегородчатая эмаль бывает на золоте, серебре и на меди. Если эмалевое изображение делают на гладком фоне, то на металлической пластине чеканят углубление, соответствующее контурам изображаемой фигуры или орнамента. В это углубление напаивают тонкие металлические ленточки, которые следуют линиям рисунка. Образованные перегородками ячейки заполняются разноцветными эмалями. После обжига эмаль полируется (в отличие от эмали по скани).

⁶ Огневое золочение — наиболее древняя техника декоративной отделки металлов, покрытие золотом металлов через огонь посредством наведения золотой амальгамы и нагревания.

способ золочения меди был известен в Риме, откуда он унаследован Византией и затем Киевской Русью [Козловский и др., с. 390].

В декоре византийцы часто использовали драгоценные камни и жемчуг, эмали и чернь⁷. В этот период можно говорить о том, что ювелиры благодаря появлению техники чернения, обилию жемчуга и цветных камней начали создавать контрастные композиции в украшении костюма (ил. 4).

На смену недавно еще такой популярной филигрании около 300 г. приходит новая техника — резба в оброн⁸, с изъятием фона. Гравированный орнамент становится более рельефным и сочным, с множеством светотеневых и цветовых эффектов. Это видно уже на примере медальонов, где в орнаменте доминирует мотив сочетания двух крестов — прямого и диагонального, оттененный различиями в колорите камней — светлых и темных (жемчуг, рубины, изумруды) (ил. 5). Используется холодная эмаль и крупные кабошоны, контрастно сопоставляемые с золотом.

В период эпохи Возрождения (XIV—XVI вв.) для оформления костюмных тканей использовали аппликации — технологию, существовавшую еще у скифских мастеров, когда узорчатая или гладкая ткань костюма проклеивалась золотошвейными лентами и с геометрической точностью «прочерчивалась» прямолинейными узорами золотыми и серебряными нитями и жемчугом [Захаржевская, с. 93].

Часто стала применяться технология литья⁹ и прочеканки¹⁰ поверхностей изделия. Благодаря двум этим технологиям появляется возможность изготовления более сложных форм, украшения приобретают больше мелких деталей и обилие пластики в изделиях. Характерны и такие застежки для одежды, как застежка «Лев и грифон» XVI в., выполненная из золота в технологии литья с применением эмалей и драгоценных камней, предположительно рубинов и изумрудов (ил. 6). Крепежный элемент скрыт лапами мифических животных, художественная идея украшения продумана таким образом, чтобы декоративная часть изделия не демонстрировала элементы крепежа. Тела дерущихся льва и грифона переливаются цветными каменными вставками, которые опять-таки закреплены на контрасте «темное — светлое», гривы животных в тенях подчеркнуты эмалями. Все эти технологические изыски только наполняли украшения красотой и различными цветовыми контрастами.

Нужно отметить и серийность производства, т. е. благодаря технологии литья стало возможно отливать по нескольку одинаковых экземпляров украшений. Так

⁷ Чернь — техника обработки металла, при которой особый сплав сернистого серебра, состоящий из серебра, меди (или олова), свинца и серы, накладывается на вырезанный по металлу рисунок, который при обжиге расплавляется и прочно соединяется с поверхностью. Мастер осторожно спиливает и шлифует лишнюю чернь, таким образом проявляя рисунок.

⁸ Оброн — резба, при которой фон около изображения «опускается» (обирается) при помощи реза, благодаря чему оно обретает рельефность.

⁹ Литье — получение изделий (отливок) путем заливки в литейную форму обычно расплавленных материалов (металлов, горных пород, пластмасс, резиновой смеси и др.), которые после затвердевания в результате остывания или вулканизации приобретают конфигурацию внутренней полости формы.

¹⁰ Прочеканка — обработка заранее отформированного (литого, штампованного) металлического предмета чеканом. Прочеканка применяется для проработки деталей (набивки фактуры, орнамента) и тончайшей лепки человеческих лиц и фигур.



4. Брошь с изображением орла в центре
Золото, драгоценные камни
Филигрань, перегородчатая эмаль
Конец IX — середина X в.



5. Четырехлепестковый медальон
с фигурой архангела Михаила
Золото, драгоценные камни, жемчуг
Гравировка, перегородчатая эмаль. X—XII вв.



6. Застежка «Лев и грифон». Золото, драгоценные камни. Литье, эмаль. XVI в.

стали появляться в обиходе пуговицы с одинаковым рельефным рисунком. Интересен пример пуговиц и нашивных блях на костюме Генриха VIII (ил. 7) Пуговицы имеют прямоугольную форму, каменная вставка черного цвета оправлена в декоративный каст, рисунок которого характерен для Ренессанса — растительные завитки и узоры. Можно наслаждаться перепадами рельефов, благодаря чему изделия смотрятся изысканно и презентабельно.

Именно в этот период украшения начинают делиться на скромные, выполненные из бронзы и по большей части представляющие собой эмалевые портреты в кругообразном или овальном обрамлении, и более дорогие образцы, представляющие собой чеканные в золоте античные сцены.

В XVI—XVII вв., в связи с развитием государств, появился новый виток в украшениях костюма. Спрос на эти украшения был в первую очередь среди богатого населения, высших иерархов церкви. Костюмные украшения надевались по самым торжественным случаям [см.: Ювелирное искусство, с. 897].

В XVI в. основным украшением костюма или даже его частью становятся цепочки и цепи с массивными каменными вставками и жемчужными подвесками, что превратило драгоценные цепочки не только в эффектный, но и самостоятельный вид модных ювелирных изделий. Так, на картине Рогера ван дер Вейдена «Поклонение волхвов» можно видеть молодого человека, костюм которого украшен кожаным поясом, декорированным пряжками с прикрепленными к ним крупными цепями «якорной вязки», соединенными крест-накрест (ил. 8). В данном случае пряжки несли в первую очередь функцию крепежа и, конечно, обильно декорировались.



7. Ганс Гольбейн. Генрих VIII. 1548 г.



8. Рогир ван дер Вейден
Поклонение волхвов
Около 1458 г.

Металл подвергался плавке, затем протягивался в проволоку, из которой впоследствии скручивались кольца разной формы. Формы цепей были крайне простыми — овал и кольцо. Затем звенья спаивались, прокатывались, а потом подвергались ручной полировке.

В период Нового времени (XVII—XVIII вв.) полагалось, чтобы форма украшения и цвет камней гармонировали с другими элементами костюма. В художественном оформлении ювелирных работ этого времени отмечается большая пышность, исключительная роскошь. Яркие драгоценные камни тонко гармонируют с золотом и серебром, самоцветы обрамляются чеканными элементами (ил. 9).

Начало XVIII в. предзнаменовано политическими, экономическими и культурными преобразованиями. Стали появляться новые модные тенденции как в costume, так и в украшениях этого костюма, которые связывались с новыми веяниями в культуре и искусстве этого столетия. Нужно отметить, что при обилии ткани костюмы отличались множеством складок, которые надо было как то крепить, и украшались функциональными застежками, брошами и пряжками. Запонки также были широко распространенными в это время в Европе. Много новых типов костюмных украшений подарила Франция. В моду входят новые виды украшений: *фермуар* — особо украшенная застежка на ожерелье или шейном украшении, *шательен* — украшение для пояса с набором мелких предметов и украшений на цепочках, *портбукет* — маленькая вазочка у пояса для живых цветов или их имитации из золота и драгоценных камней.

Основным в украшениях стал *драгоценный камень*. В это столетие камни начали граниться. В связи с появлением гранильных фабрик огранка получила широкое распространение. На первое место выходит красота и величие камня, игра цвета в гранях бриллиантов, изумрудов, сапфиров. Металл уходит на второй план, становится обрамлением для основной игры цветных ограненных камней.

Для стилистики барокко, рококо, классицизма, в рамках которых развивалось ювелирное искусство XVIII в., было характерно цветовое и композиционное акцентирование камня как главного элемента ювелирного украшения.

Закрепку камней всячески старались скрыть. Камень фантазийной огранки закреплен в оправу, которую не видно, благодаря чему появилась возможность сочетать разные по цвету камни; кроме того, камни были хорошо подсвечены и прекрасно «играли». В период барокко был изобретен и до сих пор существует способ закрепки ювелирных камней в *крапанах*¹¹, обеспечивающий им максимальный блеск и игру света.

Подбор граненых камней во времена барокко отличался особой красочностью и многоцветием. Первые камни были огранены в виде *розы*¹² и пришли в Европу с Востока (ил. 10). В Европе же свои ограненные вставки начались изготавливаться во Франции.

¹¹ Крапана — элементы оправы (каста), предназначенные для закрепки камней.

¹² Роза — старинная огранка с плоской нижней частью, в настоящее время иногда применяется для мелких алмазов.

Рококо привнесло в украшения всевозможные подвесные элементы, палитру камней и некоторое выравнивание их величины. Сверкающий, играющий всеми цветами радуги бриллиант как нельзя лучше подходил к эстетике искусства рококо. Это совпало с повсеместным распространением бриллиантовой огранки¹³ алмазов, и в украшениях среди других драгоценных камней пальма первенства была отдана бриллианту (ил. 11). Для наилучшей демонстрации бриллиантовой огранки ювелиры старались придумать интересные оправы из серебра, что эффектно подчеркивало игру граней камней. Для мелких бриллиантов стали выполнять закрепку «паве»¹⁴, позволяющую располагать камни близко друг к другу, почти сплошь покрывая ими поверхность изделий [Шаталова, с. 26].

Украшения классицизма спокойнее, менее яркие. Сдержанные формы переносят нас в эпоху Античности, где украшения костюма очень сократились. Золото обрамляло различные каменные камеи и резные крупные камни. Особенностью этого периода были нередко используемые веджвудские неглазурованные бисквиты¹⁵ с двухслойными рельефами. Такие рельефы применялись в качестве декоративных вставок — плакеток и медальонов в центральной композиции украшений (ил. 12).

Ювелирное искусство XIX в. продолжило художественные и технические традиции предшествующих веков. Наряду с вещами, имевшими традиционно раритетный характер, украшения пополнились широким ассортиментом более дешевых и массовых изделий. При минимальных затратах и научившись подкрашивать камни, ювелиры стали использовать в работе полудрагоценные камни. Чаще всего это были аметисты, топазы, аквамарины, хризобериллы — как капители. Камни, обычно собранные в кластеры, зачастую вставлялись в закрытые оправы с подложкой из фольги, делающей их одинаковыми по цвету (ил. 13).

В 1830-е гг. появилась технология, позволяющая делать цветное золото, из которого создавались небольшие изделия с природными мотивами. Высокий процент меди в сплаве придавал ему красный оттенок, а наличие серебра — зеленый. Изделие погружали в кислый раствор, растворявший верхний слой сплава, в результате на поверхности оставался тонкий слой золота теплой желтой окраски, с приятной и нежной матовой поверхностью. Цветовые сочетания разных оттенков золота давали возможность в одном изделии с помощью только металла демонстрировать красочные переливы гляцевых и матовых поверхностей с разными цветами. Небольшие броши и пряжки изобиловали причудливыми сочетаниями красного, желтого и зеленого золота, что позволило перейти к технике штамповки¹⁶, в которой выполнялись листья и цветы на

¹³ Бриллиантовая огранка — вид огранки, максимально выявляющей блеск и игру алмазов, при которой коронка (верхняя часть камня) имеет не менее трех, а павильон (нижняя часть камня) не менее двух ярусов граней, а общее количество граней — свыше 57.

¹⁴ Паве — вид закрепки, в которой многочисленные камни устанавливаются в гнезда вплотную друг к другу в виде брусчатой мостовой и закрепляются двумя противоположными корнерами.

¹⁵ Белые рельефы из неглазурованного фарфора (бисквита) на голубом фоне («под камеи»).

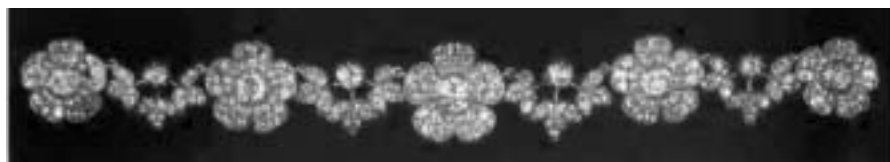
¹⁶ Штамповка — изготовление изделий с помощью особого инструмента, штампа (от ит. *stampa* — печать). Рабочая поверхность штампа воспроизводит форму поверхности изделия. Различают штамповку объемную и листовую, горячую и холодную, прессовую и молотковую.



9. Пектораль в виде креста
Золото, изумруды. Гравировка
Середина XVII в. Лондон



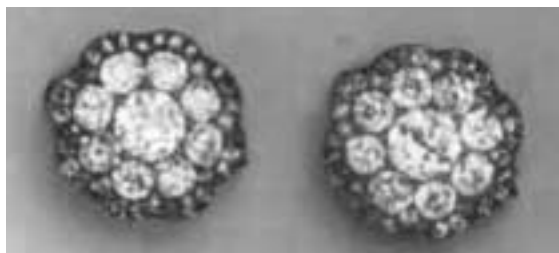
11. Алмазная брошь ордена Святого Духа
Серебро, бриллианты, рубин. Лувр, Париж
Середина XVIII в.
(На изготовление ордена пошло 400 бриллиантов
в серебряных кастах. Самый крупный из них
огранен в виде туловища голубя,
клювом которого служит красный рубин)



10. Пример огранки «роза» в промежутках между звеньями. Середина XIX в.



12. Джозайя Веджвуд
Медальон «Петр Великий»
XVIII в.



13. Пара бриллиантовых кластеров в форме цветка
Конец XVIII в.

поверхности изделий. Большинство из них делалось с помощью ручного прессы из листового золота. Для некоторых применялся метод «тяжелой штамповки», когда груз падал на металл, заставляя его принять форму матрицы.

Значительное увеличение количества костюмных украшений, а в дальнейшем и их массовое производство стали одним из главных отличительных признаков XIX в. Это было обусловлено тем, что в это время создание тех или иных украшений стала инициировать мода. А так как мода менялась сравнительно быстро, то и потребность в новых изделиях постоянно сохранялась. На смену классицизму и ампиру с их брошами-заколками пришли украшения, рожденные стилистикой романтизма, который обратился к наследию предшествующих веков, использовал и свободно трактовал как европейские исторические стили, так и восточные мотивы. В одном ювелирном изделии достаточно эклектично соединялись разнородные конструктивные и декоративные элементы. Подобные подходы и требования к эстетике костюмных украшений со стороны потребителя и заказчика полностью совпадали с общеевропейскими установками на ювелирное искусство.

В 1840-х гг. XIX в. также была изобретена технология гальванопокрытия¹⁷, ускорившая процесс нанесения позолоты, что сократило стоимость таких изделий.

Повсеместно носились траурные и сентиментальные украшения; в период 1840 — 1850-х гг. броши из волос изготавливали не только профессионалы, но и викторианские леди, превратившие это ремесло в разновидность рукоделия. Кроме простых плетеных узоров, сюжетами таких изделий становились пейзажи, дамы в трауре, рыдающие вдовы и отплывающие суда.

Новые технологии, которые нивелировали ручной труд, привели к тому, что ювелирным производством стали заниматься мастера-ювелиры, т. е. произошло разделение труда: художники разрабатывали украшения, а изготовлением их занимались люди, не имеющие прямого отношения к искусству.

В целом же индустриализация ювелирного производства в конце XIX в. привела к определенному снижению художественного уровня массовых ювелирных украшений. Не все ювелиры смогли сочетать серийный характер производства предметов ювелирного искусства с высоким художественным и техническим уровнем их исполнения. Это привело в конце XIX в. к снижению художественного уровня украшений костюма. Массовое изготовление украшений не всегда отличалось и высоким техническим исполнением.

Лишь некоторые художники-ювелиры с мировым именем (например, Трифари в Нью-Йорке, прозванный «королем стразов»; Джозеф в Голливуде — поставщик и дизайнер ювелирных украшений для кино, Коро — известный тем, что открыл в Провиденсе, штат Род-Айленд, самую большую в мире фабрику по выпуску фантазийных ювелирных украшений и тем самым поспособствовал росту серийного производства) смогли сочетать художественные и

¹⁷ Гальванопокрытие — нанесение металлического покрытия на электрод пропусканием постоянного тока низкого напряжения через раствор электролита. Широко применяется в технологических процессах, относящихся к отрасли гальванопластики

технические характеристики украшений. В ряде стран Западной Европы и США появились творческие объединения и группы художников, которые выступили с новой эстетикой прикладного искусства, учитывавшей промышленный характер его тиражирования.

В эпоху технологических открытий в ювелирном производстве художественных открытий не произошло. Технологии диктовали моду на те или иные украшения костюма. Пока рынок не насытился изделиями массового производства, имитациями прошлых исторических шедевров, предпосылок для создания новых художественных шедевров не появлялось. В XIX в. произошел технологический прорыв, давший толчок в XX в. формированию новых художественных стилей в украшениях костюма, предоставив различные новые технологии.

В результате исторического анализа развития инновационных технологий в производстве костюмных украшений и материалах, а также их влияния на развитие модных тенденций украшений и костюма в целом можно сделать вывод о влиянии ювелирных производителей на процесс внедрения новых материалов и массового производства украшений среди широких масс потребителей, их возможном давлении на формирование и распространение новых ювелирных технологий.

Андреева И. Массовая мода и «технологическая эстетика» // Техническая эстетика. 1985. № 7. 10 с.

Беннет Д., Маскетти Д. Ювелирное искусство : иллюстрир. справ. по ювелирным украшениям. М., 2005.

Блейз А. История в костюмах. М., 2001. 176 с.

Бреполь Э. Теория и практика ювелирного дела. Омск, 2000. 528с.

Вейс Г. История культуры народов мира. Возвышение и упадок империи.

Дронова Н. Д. Ювелирные изделия (Классификация. Описание. Оценка) : справ.-энцикл. М., 1996.

Козловский М. Т., Зебрева А. И., Гладышев В. П. Амальгамы и их применение. Алма-Ата, 1970. 390 с.

Новиков В., Павлов В. Ручное изготовление ювелирных украшений. Л., 1991.

Соколов Г. И. Искусство этрусков. М., 1990. 73с. : ил.

Танер Э. История моды. Тесен Кингсвелл. М., 2003.

Трайна Д. Уникальные драгоценности. М., 1997.

Уильяме Д., Огден Д. Греческое золото. СПб., 1995.

Ювелирные изделия : иллюстр. типол. слов. / авт.-сост. Р. А. Ванюшова, Б. Г. Ванюшов. СПб., 2004.

Ювелирное искусство. Мир — образ украшений / авт.-сост. И. Ю. Перфильева. М., 2004. 1 CD-ROM. Загл. с этикетки диска.

Статья поступила в редакцию 24.03.2011 г.

ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ: ЮБИЛЕЙНАЯ ПОЛЕМИКА

УДК 94(470)“16/18” + 347.177 + 316.343.3

С. А. Нефедов

О РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ РУССКОГО КРЕПОСТНИЧЕСТВА*

Рассматриваются полемические высказывания русских и зарубежных историков, экономистов и правоведов о сущности русского крепостничества. Доказывается тождество понятий «крепостничество» и «рабство» со ссылками на исторические свидетельства. Анализируются причины и последствия этого исторического феномена.

Ключевые слова: крепостное право в России; рабовладение; историография.

Вопрос о сущности русского крепостничества остается предметом дискуссий в течение полутора столетий после отмены крепостного права. Как известно, до середины XVIII в. крестьяне обладали некоторыми правами, в том числе могли подавать челобитные — жалобы на своих помещиков. Указ от 22 августа 1767 г. запретил подачу крестьянских челобитных; составителям и подателям челобитных грозило наказание кнутом и бессрочная ссылка на каторгу в Нерчинск с зачетом помещику рекрута [см.: Ключевский, с. 134—137]. По словам И. Д. Беляева, этот указ «окончательно порешил судьбу крестьян и обратил их в полную исключительную собственность помещиков» [Беляев, с. 380]. В. О. Ключевский также говорит о том, что крестьяне стали «частной собственностью помещика», а помещики превратились в рабовладельцев [см.: Ключевский, с. 140, 152]. Помещики прямо называли своих крестьян рабами, и сама Екатерина называла их рабами в Наказе Уложенной комиссии [см., например: Белявский, с. 33; Семевский, 1888, т. 2, с. 40—42]. Когда известный поэт А. П. Сумароков стал возражать, утверждая, что «между крепостным и

* Статья подготовлена в рамках междисциплинарного проекта «Историческая динамика России: факторы, модели, прогнозы» фундаментальных исследований, выполняемых в УрО РАН.

невольником есть разность: один привязан к земле, а другой — к помещику», Екатерина воскликнула: «Как это сказать можно, отверзните очи!» [Семевский, 1888, т. 2, с. 43]. Однако желание «прилично выглядеть» перед Европой побудило императрицу в 1786 г. запретить использование слова «раб» по отношению к своим подданным, хотя в секретных документах и частных беседах императоры часто называли крестьян рабами [см.: Там же, с. 20; Дружинин, с. 148]. Ввиду цензурных требований русские историки были вынуждены избегать упоминаний о рабстве и называли помещичьих крестьян «крепостными». Приглашенный преподавать в Харьков немецкий профессор Шад осмелился написать (на латинском языке) книгу, в которой клеймил рабство — и был немедленно выслан из России [см.: Семевский, 1888, т. 1, с. 385—386]. Академик А. К. Шторх, в начале XIX века упорно доказывавший тождество «крепостных» и рабов, так и не смог опубликовать свои работы на русском языке [см.: Струве, с. 155]. Известный правовед и экономист Н. И. Тургенев смог опубликовать свою книгу «Россия и русские» в Париже. «Слово “раб” вызывает столь ужасные и отвратительные представления, — писал Тургенев, — что, видя несвободного русского крестьянина, пожалуй, не решишься так его назвать... Однако если вспомнить, какой властью над своими крепостными обладают... помещики, то определение “рабство” становится единственно возможным...» [Тургенев, с. 218].

Впоследствии на тождество «крепостных» и рабов указывали некоторые либеральные историки, в том числе П. Б. Струве [см.: Струве, с. 155]. Однако В. И. Ленин заявил, что феодальный строй России отличался от рабовладения именно тем, что при нем «крепостник-помещик не считался владельцем крестьянина как вещи» [Ленин, с. 70]. Поэтому историки-марксисты в подавляющем большинстве отрицали рабовладельческий характер крепостного строя. Лишь небольшое из них осмеливались высказываться против. «...Во второй половине XVIII века помещики не случайно называли своих крестьян рабами, — писал М. Г. Белявский. — Они продавали крестьян без земли и в розницу... Крепостной не мог вступить в брак без согласия помещика... Но помещик не только определял семейные отношения крестьян. Он безнаказанно бесчестил их жен и дочерей, создавая настоящие крепостные гаремы и возрождая отвратительные нравы рабовладельцев в отношении своих рабынь. Неограниченный произвол помещиков, простиравшийся на экономическую деятельность крестьянина, его юридическое положение, его имущество, личность и семейные отношения, был юридически оформлен и узаконен...» [Белявский, с. 33].

Что же касается зарубежных историков, то тождество русского крепостничества и рабства не вызывает у них сомнений: в качестве примера можно привести труды П. Колчина, М. Раева, А. Лентина, Дж. Блюма, Б. Муравьева, Е. Домара, Э. Хобсбаума и многих других авторов [см.: Raeff, p. 79—80; Lentin, p. 89, 103; Blum, p. 394—385, 445, 452; Mouravieff, p. 45; Domar, p. 18—32; Kolchin; Хобсбаум, p. 25]. М. Раев пишет, что не только экономическое положение рабов, но и их юридическое состояние было ужасным [см.: Raeff, p. 79—80]. Дж. Блум отмечает, что законы Екатерины II низвели положение крестьян «до уровня правового статуса американских негров» [Blum, p. 431, 468—469]. Б. Муравьев квалифицирует социальную систему, «характеризуемую свободой дво-

рянства от обязательной службы и рабским положением крепостных», как «наиболее одиозную форму государственности» и называет ее «социальным феодализмом» [Mouravieff, p. 45]. Э. Хобсбаум, оценивая положение русских крестьян, подчеркивает, что «рабство было настолько велико, что крестьянин приравнивался к движимому имуществу» [Хобсбаум, с. 25].

Отягощение крепостничества и превращение его в рабовладение было непосредственно связано с развитием товарно-денежных отношений. В Пруссии, Польше и в российской Лифляндии помещики вели крупное товарное производство; уже с XVI в. там существовали огромные барщинные латифундии, фольварки, которые производили хлеб на экспорт. В погоне за прибылью польские помещики постепенно увеличивали повинности своих крестьян и, в конце концов, превратили их в рабов. По определению, раб — это собственность другого человека. «Сидящие на земле и отбывающие барщину подданные не только сами, но и со своим потомством составляют собственность помещика», — писал известный правовед Теодор Островский [История крестьянства в Европе, с. 262]. В качестве сельского судьи пан обладал над своими крестьянами «правом жизни и смерти» (*jus vitae ac necis*). «У нас без суда и часто без должной причины можно повелеть казнить своего мужика», — свидетельствует король Станислав Лещинский [Там же]. В Пруссии закон не позволял лишать крестьянина жизни, но и там помещики подвергали своих крестьян жестоким наказаниям, продавали их без земли и считали их своей собственностью [Там же, с. 280].

Как известно, многие классики исторической науки, в частности Мейер, М. Вебер, М. И. Ростовцев, полагали, что рабовладельческое общество является разновидностью буржуазного, при котором не только труд, но и сам человек превращается в товар. Польские и прусские латифундисты, подобно американским рабовладельцам, вели товарное производство на основе рыночных, товарно-денежных отношений и рассматривали крепостных как принадлежащий им капитал. Латифундисты были представителями крупной буржуазии, крупными предпринимателями, организаторами товарного производства. По свидетельству прусского сельскохозяйственного эксперта барона Гакстгаузена, в России помещики также смотрели на своих крепостных как на капитал. Русский помещик говорит своему крепостному, пишет Гакстгаузен: «Так как ты имеешь какую-то ценность, то, следовательно, ты должен зарабатывать столько-то, ты должен принести мне проценты с заключенного в тебе и принадлежащего мне капитала и, следовательно... будешь мне платить столько-то» [Семевский, 1888, т. 1, с. 438]. «В целом можно констатировать, что помещичье хозяйство в условиях крепостничества успешно вписалось в систему рыночных, товарно-денежных отношений», — отмечает В. П. Яковлева [Яковлева, с. 196]. «Крепостное хозяйство было денежно-хозяйственным клином, глубоко вбитым в натурально-хозяйственную ткань страны», — писал П. Б. Струве [Струве, с. 159]. При этом, добавлял этот либеральный экономист, «нельзя забывать, что русское крепостное право было — как это указывал с полной ясностью академик Шторх и как постоянно подчеркивали иностранные наблюдатели — настоящее рабство» [Там же, с. 155].

Для того чтобы проиллюстрировать рабовладельческие порядки тех времен, приведем несколько свидетельств, взятых из книги В. И. Семевского [см.: Семевский, 1903, с. 169—172, 198]. «Помещик может продать мужа от жены, жену от мужа, детей от родителей, избу, корову, даже и одежду может продать», — писал венгерский путешественник Савва Текели. Текели видел, как на площади в Туле продавали сорок девушек: «Купи нас, купи», — наперебой просили его девушки... «Бывало наша барыня отберет людей парней да девок человек 30, мы посажаем их на тройки, да и повезем на Урюпинскую ярмарку продавать... — рассказывал один крестьянин Саратовской губернии. — Каждый год возили. Уж сколько вою бывало на селе, когда начнет барыня собираться на Урюпино...» В начале XIX в. широкая торговля крепостными велась на базаре в известном промышленном селе Иваново, причем сюда в большом количестве привозили девушек из Малороссии... В Петербург в 1780-х гг. людей на продажу привозили целыми барками... Н. И. Тургенев писал: «В одной губернии, как сказывают, некоторые помещики ежегодно на ярмарке продают девок приезжающим туда для постыдного торга азиатцам, которые увозят сих жертв... далеко от места их родины». «Всем известно, что помещики-псары за одну собаку меняли сотню людей, — рассказывал один сельский священник. — Бывали случаи, когда за борзую отдавали деревни крестьян. Один продавал девушек-невест по 25 рублей, другой в то же время покупал борзых щенков по 3 000 рублей. Стало быть, 120 девушек равнялись одной суке». «Наказание рабов, — свидетельствует один француз, долго живший в России, — изменяется сообразно расположению духа господина... Самые обычные исправительные средства — палки, плети и розги... Я видел, как палками наказывали как за кражу, так и за опрокинутую солонку, за пьянство и за легкое непослушание, за дурно сваренную курицу и за пересоленный суп... Какие предостережения не принимал я, чтобы не быть свидетелем этих жестоких наказаний — они так часты, так обычны в деревнях, что невозможно не слышать сплошь и рядом криков несчастных жертв бесчеловечного произвола. Эти пронзительные вопли преследовали меня даже во сне». Аббат Шапп, путешествовавший по России в 1760-х гг., писал, что так как помещики имеют право наказывать своих крестьян батогами, «то они употребляют это наказание таким образом, что на деле получают возможность казнить их смертью». Императрица Екатерина, возражая в «Антидоте» на каждое обвинение Шаппа, в данном случае даже не нашла, что ответить.

Представление об уровне социального насилия дает исследование Д. Л. Мордовцева, который на основании архивных дел составил сводку жалоб крестьян Саратовской губернии [см.: Мордовцев]. Из этой сводки видно, что в помещичьих имениях применялись розги, палки, шпицрутены, «битье по зубам каблук», «битье по скулам кулаками», «подвешивания» за руки и за ноги на шести, «вывертывание членов» посредством подвешивания, так называемая «уточка» (связывание рук и ног и продевание на шест), надевание «шейных желез», «конских кандалов», «личной сетки» (для пытки голодом), опаливание лучиной волос у женщин «около естества», «взнуздывание», «сажание в куб», «ставление на горячую сковороду», «набивание деревянных колодок на шею», сече-

ние «солеными розгами» и «натираение солью» по сеченым местам, принуждение работать с колодками на шее, «забывание в рот кляпа», употребление железных ошейников и т. д. Систематический характер имело насилие помещиков над крепостными девушками. Д. Л. Мордовцев говорит о случаях поголовного использования крестьянских девушек в качестве наложниц: «для барского двора и постельного дела всех девок из имения выбрал», «из покупных и из наших девок сделал для своей похоти турецкий гарем», некоторые помещики требовали в барский дом молодых женщин на ночь, «отчего крестьянские дети без матерей от крику в люльках задыхаются». Оренбургский помещик Сташинский растлевал девочек, которым было 12—14 лет, причем двое из них умерли после изнасилования, но насильник не понес никакого наказания. Гакстгаузен свидетельствует, что помещики в массовом порядке посылали женщин в Москву и Петербург для зарабатывания оброка проституцией. Некоторые помещики создавали в столицах публичные дома из крепостных рабынь [см.: Игнатович, с. 256].

По сравнению с концом XVIII в. к середине XIX столетия средняя норма барщинной запашки увеличилась в два раза [см.: Ковальченко, с. 389]. Для интенсификации труда использовалась урочная система, и время, полагавшееся на выполнение «уроков», было урезано вдвое по сравнению с нормами конца XVIII века [см.: Там же, с. 278; Милов, 1963, с. 130—134]. Многочисленные свидетельства говорят о том, что постоянно занятые на барщине крестьяне не успевали производить работы на своем участке, хотя работали от восхода до заката и в воскресные, и в праздничные дни, а иногда и ночью. Сплошь и рядом крестьянам приходилось употреблять в пищу невызревшее или проросшее зерно; из-за нехватки времени муку не очищали от спорыньи, и такой хлеб был вреден для здоровья [см.: Милов, 1998, с. 358, 366, 400]. Тяжелый, выматывающий труд сказывался на психическом состоянии крестьян. «От недостатка скота и хлеба происходит и чрезмерная бедность барщинных крестьян, доведшая их до отчаяния... — писал приказчик одного из крупных имений, — следствие чего есть необыкновенное равнодушие к своему положению» [Федоров, с. 49]. «Самое существенное, на наш взгляд, — пишет о положении крестьян Л. В. Милов, — состоит в том, что в этой среде становилось заметным явлением пассивное отношение к своему собственному хозяйству, безразличие к удручающей перспективе своей собственной жизни и жизни членов своей семьи... В итоге такие крестьяне... “смерть свою за покой считают”» [Милов, 1992, с. 80].

В конечном счете рост эксплуатации привел к демографической стагнации, прекращению естественного роста крепостного населения, а в некоторых губерниях — к сокращению его численности. Некоторые авторы пытались отрицать вымирание крепостных, ссылаясь на имевшие место переходы в другие сословия. В настоящее время получены новые данные в пользу мнения о том, что крепостное крестьянство, во всяком случае в некоторых губерниях, действительно вымирало под непосильной тяжестью барщин и оброков. Чем больше было крепостных в губернии, тем меньше был естественный прирост всего податного населения. В целом ежегодный естественный прирост по 21 губернии Центральной России составлял в 1833—1850 гг. 0,25 %, однако в Воронежской

губернии, где доля крепостных была наименьшей, прирост составлял 0,65 % — здесь не было речи о приостановке роста населения. Но там, где крепостных было больше всего (Минская, Смоленская, Могилевская губернии), естественный прирост был отрицательным. В этих губерниях вымирание крепостных приводило к уменьшению населения в целом. Подобную ситуацию нельзя объяснить переходом крепостных в другие сословия. Коэффициент корреляции между долей крепостных и естественным приростом всего населения в 1833—1850-х гг. в 21 губернии оказывается равным 0,785. Это означает, что доля крепостных объясняет различие в естественном приросте по губерниям на 61,6 %. [см.: Нефедов, с. 78—82].

Крепостническая эксплуатация непосредственно влияла на биологический статус населения, что сказывалось в уменьшении роста крестьян. Коэффициент корреляции между долей крепостных и средним ростом мужчин в населении 21 губернии оказывается равен $-0,823$. Это означает, что доля крепостных объясняет различие в росте мужчин по губерниям на 67,7 %. Чем больше было крепостных, тем ниже был средний рост мужчин. Разница между ростом мужчин в Минской губернии (где было 61,7 % крепостных) и в Полтавской губернии (33,9 % крепостных) составляла 2,7 [см.: Там же]. Развитие крепостничества приводило не только к вымиранию крепостных, но и к их физической деградации.

«Роскошь цветов и ливрей в домах петербургской знати меня сначала забавляла, — писал маркиз де Кюстин. — Теперь она меня возмущает, и я считаю удовольствие, которое эта роскошь мне доставляла, почти преступлением... Я невольно все время высчитываю, сколько нужно семей, чтобы оплатить какую-нибудь шикарную шляпку или шаль. Когда я захожу в какой-нибудь дом, кусты роз и гортензий кажутся мне не такими, какими они бывают в других местах. Мне чудится, что они покрыты кровью. Я всюду вижу обратную сторону медали. Количество человеческих душ, обреченных страдать до самой смерти для того лишь, чтобы окупить материю, требующуюся знатной даме для мебелировки или нарядов, занимает меня гораздо больше, чем ее драгоценности или красота» [Кюстин, с. 67].

Признания такого рода раздавались также из уст самих помещиков. Известный малороссийский меценат Г. П. Галаган писал после осмотра своей нищей деревни: «О, когда-нибудь воздастся мне за это от Бога, от брата бедных; тут будет плач и скрежет зубов» [Игнатович, с. 258].

Белявский М. Г. Крестьянский вопрос в России накануне восстания Е. И. Пугачева. М., 1965.

Беляев И. Д. Крестьяне на Руси. М., 2002.

Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева : в 2 т. Т. 1. М. ; Л., 1946.

Игнатович И. И. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. Л., 1925.

История крестьянства в Европе : в 3 т. Т. 3. М., 1986.

Ключевский В. О. Курс русской истории : в 5 т. Т. 5. М., 1938.

- Ковальченко И. Д.* Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX в. М., 1967.
- Кюстин, де.* Николаевская Россия. М., 1990.
- Ленин В. И.* Полное собрание сочинений Т. 39. М., 1963.
- Милов Л. В.* Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998.
- Милов Л. В.* Из истории производительности труда в земледелии России // Тез. докл. и сообщ. Шестой сессии симпозиума по аграрной истории России. Вильнюс, 1963. С. 130–133.
- Милов Л. В.* Природно-климатический фактор и особенности российского исторического процесса // Вопр. истории. 1992. № 4/5. С. 37–56.
- Мордовцев Д. Л.* Накануне воли. СПб., 1890.
- Нефедов С. А.* О причинах демографической стагнации в России накануне отмены крепостного права // Вопр. истории. 2010. № 8. С. 78–81.
- Семевский В. И.* Крестьяне в царствование императрицы Екатерины : в 2 т. Т. 1. СПб., 1903.
- Семевский В. И.* Крестьянский вопрос в России в XVIII и в первой половине XIX века : в 2 т. СПб., 1888.
- Струве П. Б.* Крепостное хозяйство. Исследование по экономической истории России в XVIII и XIX веках. М., 1913.
- Тургенев Н. И.* Россия и русские. М., 2001.
- Федоров В. А.* Крепостная вотчина России во второй четверти XIX века // Кризис феодально-крепостнических отношений в сельском хозяйстве России (вторая четверть XIX в.). Владимир, 1984.
- Хобсбаум Э.* Век революции, 1789–1848. Ростов н/Д, 1999.
- Яковлева В. А.* Рынок и сельское хозяйство. Структура помещичьего и крепостного хозяйства накануне отмены крепостничества в России. Йошкар-Ола, 1997.
- Blum J.* Lord and Peasants in Russia from the Ninth to the Nineteenth Century. N. Y., 1973.
- Domar E.* The Causes of Slavery or Serfdom: A Hypothesis // J. of Econom. History. 1970. Vol. 30, N 1. P. 18–32.
- Kolchin P.* Unfree Labor: American Slavery and Russian Serfdom. Cambridge, 1987.
- Lentin A.* Russia in the Eighteenth Century. N. Y., 1973.
- Mouravieff B.* La monarchie russe. P., 1962.
- Raef M.* Origins of the Russian Itelligensia the 18th Century Nobility. N. Y., 1966.

Статья поступила в редакцию 28.01.2011 г.

УДК 94(470)“16/18” + 316.343.3 + 811.161.1'04

Д. В. Тимофеев

ПОИСК ПОДХОДОВ К РЕШЕНИЮ КРЕСТЬЯНСКОГО ВОПРОСА В РОССИЙСКОМ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ЛЕКСИКОНЕ 1-й ЧЕТВЕРТИ XIX в.

Анализируется взаимосвязь понятий «рабство» и «свобода» в социально-политическом лексиконе образованного российского подданного первой четверти XIX в. В результате сравнительно-контекстуального анализа источников определяются характерные особенности представлений современников о стратегии и тактике решения крепостной проблемы.

К л ю ч е в ы е с л о в а: рабство; свобода; собственность; крепостное право в России.

Важной составной частью социально-политического лексикона образованного российского подданного последней трети XVIII — первой четверти XIX в. были логически взаимосвязанные, но противоположные по своему значению понятия «свобода» и «рабство». С этого времени российские подданные использовали их для обозначения своих чувств и характера межличностных отношений, а также размышляя о наиболее приемлемых способах решения «крепостной проблемы» в России. Данное обстоятельство обуславливает необходимость выявления различных логических и ассоциативных связей понятий «свобода» и «рабство» в сознании образованного российского подданного, которые могли оказывать непосредственное влияние на содержание многочисленных проектов отмены крепостного права в России.

В официально изданном в конце XVIII в. «Словаре Академии Российской» значение понятия «свобода» раскрывалось в трех словарных статьях: «свобода», «свободный», «освобождение». В первой из них «свобода» отождествлялась с отсутствием внешней зависимости человека от других лиц: «Свобода — воля, противопологается зависимости, порабощению» [Словарь..., с. 366]. Независимость человека от внешнего принуждения как основной признак «свободы» подчеркивалась и в определении слова «свободный», которое означало «вольный, не зависящий от другого», а в качестве примера словоупотребления составители словаря приводили выражение: *Или рабы, или свободны* [Там же]. Таким образом «рабство» и «свобода» обозначали взаимоисключающие друг друга состояния человека. В данном контексте «освобождение» было синонимом слова «избавление» и его смысловое значение разъяснялось с помощью выражения «освобождение узников» [Там же, с. 368].

Одновременно с трактовкой «свободы» как внешней независимости в сочинениях российских авторов особый акцент делался на исключительной важности для любого человека внутренней, духовной свободы. Такая, по выражению современников, «истинная» или «совершенная» свобода не могла быть ограниченной и преподносилась как способность человека размышлять о себе и окружавшем его мире, испытывать различные чувства по отношению к другим людям и Богу. При этом, как правило, подчеркивалось, что основой «истинной

свободы» является христианская вера, которая помогала человеку избежать «рабства своих страстей» [Давыдовский, с. 13]. В большинстве подобного рода текстов авторы рисовали безусловно положительный образ человека, обладавшего внутренней («совершенной») свободой: он всегда помнит о христианских обычаях и ценностях, образован, честен и добр по отношению к другим людям. Такой человек не требует для себя никаких политических прав или привилегий, считая их второстепенными, и убежден, что «...создан быть свободным, блаженствовать душою и телом, руководствуясь непосредственно гласом все сотворившей Премудрости» [Лопухин, с. 50].

Трактуемая подобным образом внутренняя свобода индивида не противопоставляла личность обществу и государству. Главной опасностью для «свободы» объявлялись «человеческие слабости и пороки», которые приводили человека в состояние «рабства страстей». В данном контексте внутренняя «свобода» была противоположна по значению внутреннему же «рабству», которое не отождествлялось с правовым неравенством или внеэкономическим принуждением одного человека другим. В конце XVIII — первой четверти XIX в. такое политически нейтральное значение понятия «свобода» нередко использовалось для смещения смысловых акцентов в работах, затрагивавших вопрос о содержании гражданской и политической свободы, из практической плоскости в область размышлений о морально-нравственной сущности человека.

Постепенно по мере распространения идей европейского Просвещения в текстах российских авторов появилось утверждение о природном — «естественном» — происхождении свободы человека. Однако в большинстве текстов «естественная свобода» использовалась как абстрактная категория, удобный теоретический конструкт, с помощью которого авторы могли описать положение человека в древности, еще до появления государства, и продемонстрировать читателям относительность свободы гражданина в современном им обществе.

Наиболее четко это прослеживается в сочинении А. Ф. Малиновского «Рассуждение о начале и основании гражданских общежитий». Автор признавал наличие у человека от рождения «естественной свободы». Такая свобода, выражавшаяся в способности человека сознательно руководить своими действиями, теоретически ограничивалась только его физическими возможностями и совпадала с «природной свободой», которая, по мысли А. Малиновского, «есть право делать все то, что позволяет природа» [Малиновский, с. 3]. Однако, рассматривая свободу как «природное и естественное состояние человека», автор подчеркивал, что в действительности она всегда имела относительный, условный характер, т. к. все члены «гражданского общества» находятся в положении взаимной зависимости. Объясняя читателям сущность «взаимной зависимости» людей в обществе, А. Малиновский подчеркивал, что она не предполагала установление между гражданами отношений власти и подчинения, напротив, осознание каждым членом общества подобной взаимозависимости должно было проявляться в форме признания наряду с собственными интересами прав и свобод других индивидов. Внешним же ограничителем «свободы» должны быть установленные государством законы, и любой гражданин, по мысли автора, должен был рассуждать следующим образом: «Закон, воспрещая мне

что-либо предпринять против свободы моих единоплеменников, удостоверяет тем и меня в безопасности со стороны других. Свобода всякого народа сохраняется только до тех пор, пока он покорствуется законам» [Малиновский, с. 8]. В данном контексте «свобода» трактовалась одновременно как морально-этическая и правовая категории, предполагавшие, что человек сознательно и добровольно ограничивает себя в том случае, если его действия нарушают свободу других граждан.

Важным фактором формирования представлений о том, что такое «свобода», было действующее российское законодательство. Сравнительный анализ использования понятия «свобода» в законодательных актах последней трети XVIII — первой четверти XIX в. позволил выявить несколько устойчивых элементов его содержания, которые были официально продекларированы верховной властью и непосредственно влияли на повседневную жизнь людей.

Практически во всех манифестах, указах и «всемилодивейших грамотах», упоминающих о «свободе», она преподносилась как особая привилегия, знак благосклонного расположения высочайшей особы, даруемая не всем российским подданным вообще, а представителям какой-либо одной социальной или профессиональной группы. Так, например, на протяжении всего царствования Екатерины II было издано несколько указов, в которых подробно перечислялись различные «права и свободы» приезжавшим в Россию на постоянное жительство иностранным колонистам [ПСЗ РИ, т. 16, с. 313, 314; т. 18, с. 130; т. 26, с. 286—287]. Для образованной части «коренных» российских подданных подобное перечисление служило своеобразной иллюстрацией того, в какой форме могла быть юридически зафиксирована «свобода», и одновременно дополнительным подтверждением наличия у верховного правителя монопольного права определять ее содержание для различных категорий населения.

Дифференцированный характер устанавливаемых монархом для каждой сословной группы свобод отчетливо проявлялся и в наиболее часто цитируемых на протяжении всей первой четверти XIX в. законодательных актах — Грамоте на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства и Грамоте на права и выгоды городам Российской империи. В первом из них российскому дворянству подтверждались «на вечные времена... вольность и свобода» [Там же, т. 22, с. 348, 349]. При этом подчеркивалось, что весь комплекс провозглашенных «прав, привилегий и вольностей» распространялся только на тех, кто имел неопровержимые доказательства своей принадлежности к «благородному сословию» [Там же, с. 354]. Данное обстоятельство было дополнительным подтверждением очевидной для любого российского подданного взаимосвязи содержания свободы с сословной принадлежностью и внутрисословным статусом человека.

Для лиц недворянского происхождения существование такой взаимосвязи было четко зафиксировано в Жалованной грамоте городам. Несмотря на то, что в преамбуле этого документа императрица, объявляя о намерении «освободить рукоделия, промыслы и торговлю от принуждений и притеснений», обращалась ко всем жителям городов, в основной части документа при употреблении понятия «свобода» всегда указывалось о какой группе горожан идет речь.

Так, например, в §15 объявлялась «свобода от постоя» для бургомистра, ратмана и городского головы», а в §107 и 113 провозглашалось «освобождение от телесного наказания» для купцов первой и второй гильдий соответственно [см.: ПСЗРИ, т. 22, с. 360, 369].

В российском законодательстве понятие «свобода» использовалось и для обозначения возможности так называемых «вольных людей» «самим избирать себе род жизни». На практике это означало предоставление лицам, которые не имели юридически закрепленного статуса, но соответствовали необходимым условиям, права записываться в мещанское или купеческое «состояние», а также поступать на государственную службу. Однако в действительности декларируемая «свобода избирать род жизни» означала не право, а обязанность человека записываться в какое-либо податное сословие и своевременно выплачивать все установленные правительством налоги. В противном случае человек мог быть причислен к категории «гулящих людей» и подвергнулся наказанию, предусмотренному законом. Данное обстоятельство не позволяло современникам трактовать «свободу» выбора «рода жизни» вне существовавшего в России сословного деления.

Таким образом, во всех указанных выше контекстах, «свобода» воспринималась не как абстрактная категория, а была связана в сознании современников с конкретным набором «прав, привилегий и преимуществ», дарованных верховной властью представителям определенной социальной группы. В повседневной жизни эта взаимосвязь проявлялась в существовании многочисленных различий правового и имущественного положения российских подданных, а также в сепаратном характере российского законодательства и судопроизводства, которые допускали многочисленные исключения из общих правил при рассмотрении частных дел.

Все указанные выше коннотации понятия «свобода», вне зависимости от того, подразумевались ли под свободой духовные искания человека, «искусство управлять собой» или определенный набор жалованных верховной властью привилегий, не предполагали противопоставления отдельного человека государству. Проведенный сравнительно-контекстуальный анализ различных вариантов употребления понятия «свобода» позволяет утверждать, что отрицательные, т. е. негативные по своей эмоциональной окрашенности, коннотации данного слова были связаны с противопоставлением свободы безвластию, безначалию, буйству, необузданности, «ложным идеям социального равенства» и «рабству».

Содержательно в социально-политическом лексиконе образованного российского подданного на рубеже XVIII — XIX вв. понятия «раб» и «рабство» были взаимосвязаны и все чаще употреблялись в негативном контексте для описания отношения полной зависимости одного человека от другого. Именно такое значение было указано в качестве основного в «Словаре Академии Российской»: «раб — находящийся в совершенной зависимости у другого», а «рабство — состояние раба» [Словарь..., с. 1—2].

В начале XIX в. усилению логических и ассоциативных связей понятий «свобода» и «рабство» способствовали неоднократные заявления верховной

власти о намерении восстановить силу закона и неприятию злоупотреблений помещиков в отношении крепостных крестьян. Все это в совокупности с публикациями на страницах российских журналов материалов о положении «рабов» в различных странах мира и распространением мнения о несовместимости «рабства» с нормами христианской морали укрепило негативное отношение к «рабству», которое все чаще называлось «противным нравственности» и не соответствующим «духу времени» явлением. Даже консервативно настроенная часть российского дворянства, настороженно воспринимавшая попытки правительства решить крестьянский вопрос, негативно отзывалось о «рабстве» как социально-экономическом явлении. Чаще всего само понятие «рабство» и для сторонников, и для противников преобразований имело однозначно негативное содержание. Различие состояло лишь в согласии или несогласии с тезисом о наличии в России рабства крестьян.

Наиболее часто отождествление крепостной зависимости крестьян с рабством встречается в документах, возникавших в связи с деятельностью различных тайных обществ. Так, например, в записке неизвестного «О Союзе Благоденствия и других тайных обществах среди офицеров» (1821) одним из центральных направлений деятельности подобного рода организаций называлось привлечение внимания российских граждан к проблеме искоренения рабства [см.: ГАРФ, ф. 109, оп. 1 с/а, ед. хр. 2, л. 2.]. Пункт о ликвидации рабства был и в программных документах, созданных П. И. Пестелем и Н. Муравьевым. Так, в «Русской правде» заявлялось о том, что «рабство должно быть решительно уничтожено, и дворянство должно непременно навеки отречься от гнусного преимущества обладать другими людьми...» [Восстание декабристов..., с. 156–157], а в тексте Конституции Н. Муравьева было провозглашено: «Крепостное состояние и рабство отменяются. Раб, прикоснувшийся земли русской, становится свободным» [цит. по.: Дружинин, с. 269].

Смысловая взаимосвязь понятия «рабство» с положением крепостных крестьян просматривается не только в текстах, созданных членами радикально настроенных тайных обществ, но и в проектах, записках и особых мнениях, представляемых императору как высокопоставленными российскими чиновниками, так и лицами, не занимавшими никаких ответственных должностей [см.: Медушевский, с. 72–88; Тимофеев, с. 125–152]. Следует отметить, что все подобные документы не предназначались для широкой огласки, а следовательно, в большей степени отражали личную позицию авторов по крестьянскому вопросу. Однако их текстологическое сравнение позволяет выявить общие для всех авторов представления о признаках рабства и его негативных последствиях для дальнейшего развития страны.

В полном соответствии с хорошо известным определением рабства как «личной непосредственной зависимости» [см.: Краткое руководство..., с. 187], наиболее очевидным его признаком в отношении российских крестьян признавалось отсутствие личной свободы и собственности. Так, например, министр внутренних дел О. П. Козодавлев (1810–1819) в «Рассуждении о постепенном освобождении крестьян из-под рабства» писал: «Рабство есть положение человека, в котором законы гражданские лишают его права личного, права собствен-

ности, отъемлют у него волю и как лицо его, так и имущество отдают в полную власть другого человека; словом сказать, лишают его всех прав человека и исключают его из числа граждан» [Козодавлев, с. 147]. В данном контексте он признавал, что «крестьяне помещичьи суть истинные рабы, не имеющие ни собственности, ни свободы, платящие оброк и отправляющие работу господскую по произволу господ своих или помещиков» [Там же, с. 156]. Отсутствие у крестьян личной свободы и собственности было отягощено еще и широко распространенной практикой купли-продажи людей, что уравнивало положение крепостных крестьян в России с рабством в самых неразвитых странах.

Еще одним неотъемлемым признаком рабства в проектах российских авторов неизменно называлось отсутствие каких-либо гражданских прав и тесно связанная с этим обстоятельством жестокость помещиков по отношению к крепостным крестьянам. О рабстве как положении полного бесправия писал Н. И. Тургенев. Размышляя о положении крестьян в России, он отмечал общее негативное отношение образованной части российского общества к рабству и сформулировал свое понимание его основных признаков: «Слово *раб* вызывает столь ужасные представления, что, видя несвободного русского крестьянина, пожалуй, не решишься так его назвать... Однако если вспомнить, какой властью над своими крепостными обладают или могут обладать в России помещики, то определение *рабство* становится единственно возможным, ибо оно отражает безграничный произвол одних и полное бесправие других» [Тургенев, 2001, с. 218]. Произвол, жестокость и отчуждение большей части результатов подневольного труда, по мнению Н. Тургенева, являлось неотъемлемым атрибутом «рабства крестьян» в России.

С начала XIX в. все перечисленные выше представления о сущности рабства были органично связаны с размышлениями о возможных негативных последствиях сохранения рабства в России. Во-первых, «сохранение рабства крестьян» подразумевало вероятность возникновения массовых крестьянских волнений, которые по своим масштабам могли быть сопоставимы с «бунтом» под руководством Е. Пугачева. На опасность ужесточения или даже простого бездействия правительства в крестьянском вопросе указывал неизвестный автор записки «О государственном управлении». Составленная в форме адресованного императору поучения, она содержала предупреждение о том, что «сонное» положение народа невозможно поддерживать долго. Наступит время, когда крестьяне «...возбудятся от него и найдут себя в бездне рабства... тогда большинство страстей народных... заступят место силе и благоразумию, необузданная вольность и безначалие представятся единственным средством к свободе...» [РГИА, ф. 1167, оп. 1, т. 16, д. 52/48, л. 14–15].

Второе, но не менее значимое негативное следствие рабства было связано с утверждением, что подневольный труд менее производителен, чем труд свободных наемных работников. Теоретическое обоснование данного тезиса российский читатель мог найти как в произведениях модных европейских мыслителей, так и в научно-популярных работах российских авторов. «Свободный человек, — провозглашал И. Бентам, — более трудится и плоды трудов его, конечно, изобильнее, нежели плоды трудов человека в рабском состоянии»

[Бентам, с. 261]. Следуя этому тезису, Н. И. Тургенев в книге «Опыт теории налогов» называл «рабство» одной из важных преград на пути к экономическому благосостоянию общества. Разделяя все государства по уровню и темпам экономического развития на три «состояния» («успевающее», «непеременяющееся» и «упадающее»), автор доказывал, что Россия в XVIII в. значительно ускорила свое развитие, но при этом утверждал: «Успехи России при таком духе народа и правительства, каковой существует в отечестве нашем, были бы еще совершеннее, есть ли бы общей деятельности, общему стремлению к образованности и благосостоянию не препятствовало существование рабства» [Тургенев, 1818, с. 269].

Третьим следствием «рабства», на которое неизменно обращали внимание современники, было утверждение о его негативном влиянии на нравы. В начале XIX в. представление о низких морально-этических качествах людей, находящихся в «рабском состоянии», постепенно было дополнено идеей негативного влияния «рабства» на процесс нравственного совершенствования всего общества. Так, например, в майском номере журнала «Вестник Европы» за 1805 г. читателю доказывалась справедливость утверждения о том, что «...человек, обремененный игом рабства, влекущий дни свои в униженном состоянии, носящий на себе печать презрения, не способен мысленно возноситься до благородного, изящного, великого» [Об узаконении..., с. 138]. В некоторых случаях размышления о пагубном влиянии рабства на нравы сопровождались признанием его опасности не только для крестьян, но и для самих «душевно-владельцев». Наиболее четко о существовании такой опасности писал Н. И. Тургенев: «Нет нужды повторять вслед за многими, что рабство развращает человека; за все унижения, которым грубая сила подвергает беззащитную слабость, раб, сознавая свою печальную участь, платит коварством, хитростью, вероломством и низостью. <...> Но если рабство унижает раба, то господина оно унижает еще более. <...> Постоянная возможность быть несправедливым, путь даже ограниченная, в конце концов развращает человека и искажает его суждения» [Тургенев, 2001, с. 233].

Все перечисленные выше негативные следствия рабства рассматривались образованной частью российского общества в качестве возможных аргументов в пользу постепенной его отмены, однако в большинстве случаев поиск приемлемых способов решения крепостной проблемы сопровождался попытками определить причины формирования в России крепостной зависимости. Такой своеобразный «взгляд из настоящего в прошлое» был, по мнению современников, необходим для выработки безопасной стратегии и тактики отмены крепостной зависимости в будущем.

Имеющиеся в нашем распоряжении сочинения Е. Ф. Канкрин, П. Д. Киселева, О. П. Козодавлева, А. Б. Куракина, Н. С. Мордвинова, Н. П. Румянцова, М. М. Сперанского, Н. И. Тургенева и других позволяют предположить, что в процессе поиска причин формирования личной зависимости крестьян происходило рациональное осмысление крепостного права как веками формировавшегося социально-экономического явления. Нередко в исторических сюжетах на эту тему авторы констатировали отсутствие убедительных при-

чин усиления личной внеэкономической зависимости крестьян, но высказывали однозначно негативную оценку этому явлению. Примерно такое соотношение критики процесса превращения крестьян в «бессловесный» предмет купли-продажи и одновременно непонимания социально-экономических причин появления крепостной зависимости крестьян присутствует в сочинениях князя А. Б. Куракина. В одном из «особых мнений» он, называя практику купли-продажи крестьян «уничжительным правом, оскорбляющим законодательство наше и самое человечество», утверждал, что рабское положение частновладельческих крестьян «...вошло в употребление случайно», а следовательно, может быть смягчено [РГИА, ф. 1149, оп. 1, д. 10, л. 360—361]. Под «случайностью» в данном контексте подразумевалось отсутствие четких юридических оснований для отождествления крестьянина с собственностью помещика.

В общем виде все приведенные выше примеры анализа причин установления крепостного права позволяют говорить о распространении в первой четверти XIX в. мифов о «случайном» характере и исторической «укорененности» рабства крестьян в России. Оба эти мифа оказывали огромное влияние на процесс выработки приемлемых методов решения крестьянского вопроса. Первый из них вселял надежду на бесконфликтное искоренение «рабства», а второй формировал уверенность в необходимости постепенной подготовки крестьян к непривычному для них «свободному состоянию», а помещиков — к новым взаимоотношениям с земледельцами.

Не случайно авторы многочисленных проектов упразднения «рабства» в первой четверти XIX в., как правило, подчеркивали, что большинство российских крестьян еще не готово к «свободе», а помещики не желали терять власть и бесплатную рабочую силу, без которой стоимость их имений неизбежно бы снизилась. Убедительным подтверждением неготовности помещиков, по мнению автора проекта «Об облегчении рабства в России» И. А. Гагарина, была реакция помещиков на Указ от 20 февраля 1803 г. «О вольных хлебопашцах», в соответствии с которым дворяне могли отпускать на свободу крестьян «целыми селениями» с землей за выкуп и обязательным заключением письменного договора, регламентировавшего все условия освобождения. Подобные инициативы правительства, по мысли И. Гагарина, не могли стать способом «совершенного уничтожения рабства», так как принцип добровольного освобождения крестьян не соответствовал «образу мыслей наших помещиков, чтоб все единогласно на таковые сделки попустились» [Гагарин, с. 66].

Содержательно тезис о неготовности дворянства к освобождению крепостных крестьян был неразрывно связан с широко распространенным суждением о том, что степень жестокости «рабства» напрямую зависит от нравственных качеств помещика. Отражением этого являются публикации в российских журналах различных материалов, прямо или косвенно призывавших помещиков помнить, что «крестьяне их точно такие же люди, как и они сами» [Доброй помещик, с. 284]. Подобная постановка вопроса подразумевала наряду с безусловно очевидной необходимостью «просвещения» крестьян и то, что уничтожение рабства возможно только в случае изменения отношения душевладельцев к своим крепостным людям.

Не менее важным препятствием на пути к искоренению рабства российские авторы называли процесс «размывания» потомственного дворянства лицами, получавшими дворянское достоинство за службу. Например, адмирал П. В. Чичагов, отмечая отсутствие у таких помещиков необходимых нравственных качеств, высказывал уверенность в том, что «грязнейшее гнездо рабства находится в так называемом дворянстве» [цит по: Предтеченский, с. 90].

Одновременно с размыванием дворянства важным фактором, усугублявшим рабство крестьян, современники считали многократное дробление дворянских имений, прямым следствием которого была невозможность достижения даже минимальной рентабельности, что неизбежно приводило к ужесточению эксплуатации. О существовании прямой зависимости между «тяжестью рабства» и уровнем благосостояния «душевладельцев» писал К. Арсеньев. Признавая, что в России вообще «права крепостных крестьян весьма мало важны и почти ничтожны», он описывал положение людей, находившихся в распоряжении мелкопоместных дворян: «крестьяне, таковым владельцам принадлежащие, имеют еще менее средств к своему благосостоянию, и суть истинные рабы не по названию, а по существу своему» [Начертание статистики..., с. 91, 93]. В данном контексте одним из способов смягчения рабства, который на первый взгляд противоречил поставленной цели, считалось улучшение материального положения потомственных дворян. Так, например, в 1816 г. П. Д. Киселев в качестве одной из мер «постепенного уничтожения рабства» предлагал «дозволить дворянству основать майораты...», что, по его словам, неизбежно «...уменьшит со временем число мелкопоместных дворян, которые от скудности и невежества отягощают непомерным образом состояние рабов, им принадлежащих» [Киселев, с. 93].

Таким образом, в текстах российских авторов первой четверти XIX в. отчетливо прослеживается два тесно взаимосвязанных подхода к решению проблемы рабства крестьян в России. Во-первых, перспектива смягчения или ликвидации «рабства» рассматривалась как комплекс мер, направленных на улучшение «благосостояния» поместных дворян, а во-вторых, как целенаправленная политика государства по «просвещению» крестьян и помещиков.

Необходимым условием решения крепостной проблемы в обозримом будущем называлось изменение сознания крестьян и помещиков. Первым шагом в этом направлении могло быть придание крестьянам статуса субъекта правоотношений. В идеале правительству следовало «признать за необходимое постепенное распространение гражданских прав на крепостных земледельцев и в обратной соразмерности — таковое же ограничение власти, помещикам незаконно присвоенной» [Киселев, с. 92]. Только так, «...мало-помалу уменьшая права властвующим и распространяя оныя на поработанных... каждому даровав право трудолюбием достигнуть до независимого существования, — писал П. Киселев, — правительство постепенно водворит законную свободу, и рабство значительной части народа русского само собою и без потрясения государства уничтожится» [Там же, с. 94]. Сформулированный таким образом алгоритм предполагал, что освобождение крестьян должно было происходить постепенно, «без потрясений» и при активном участии государства.

Не менее эффективным способом «смягчения нравов», а следовательно, и постепенной отмены «рабства» современники считали формально-юридическую регламентацию взаимоотношений крестьян и помещиков, необходимость «обеспечить существование помещичьих крестьян, поставив пределы их зависимости». Формализация отношений между помещиками и крестьянами, по мнению современников, могла способствовать улучшению нравственности «состояний, называемых последними» и отвратить крестьян от своеволия, пития и других пороков. Заметное повышение интереса к идее установления договорных отношений между крестьянами и землевладельцами произошло после издания Указа от 20 февраля 1803 г.

С этого времени и до середины 1820-х гг. рассуждения о целесообразности заключения договоров между крепостными крестьянами и помещиками были неотъемлемой частью большинства проектов отмены крепостничества в России. Однако в большинстве случаев основное внимание в подобного рода проектах уделялось не столько механизмам защиты от злоупотреблений помещиков, сколько вопросу о порядке наделения крестьян собственностью. Данное обстоятельство позволяет говорить о существовании в сознании авторов тесной взаимосвязи понятий «свобода» и «собственность». Оба эти понятия противопоставлялись «рабству» как положению, при котором человек вынужден исполнять приказания владельца и не может по своему усмотрению распоряжаться имуществом. Но смысловая взаимосвязь понятий «свобода» и «собственность» не всегда была столь же однозначной. В отношении крестьян свобода чаще всего трактовалась как «право избирать себе владельца» и «место жительства» [ГАРФ, ф. 1165, оп. 1, ед. хр. 93, л. 6.] или возможность записываться в «новое состояние» российских подданных [РГИА, ф. 1149, оп. 1, д. 10, л. 360—375], но не всегда предполагала обязательное наделение правом собственности на землю.

В большинстве проектов «ликвидации рабства крестьян» в России прослеживается двойственность трактовки понятия «собственность». С одной стороны, признавалось, что основными способами получения собственности для крестьян, так же как и для всех остальных сословий Российской империи, были покупка или получение по наследству. В данном контексте вполне справедливым и логичным был многократно повторявшийся в проектах тезис о возможности наделения крестьян землей за денежный выкуп, который, по сути, был тождествен обычной сделке купли-продажи недвижимой собственности. Именно с этих позиций современники оценивали Указ от 12 декабря 1801 г., предоставлявший право приобретения земли государственным крестьянам [см.: ГАРФ, ф. 679, оп. 1, ед. хр. 62, л. 1—2 об.].

С другой стороны, земельная «собственность» крестьян наряду с общими для всех формальными признаками могла и должна была, в силу особенностей организации процесса производства сельскохозяйственной продукции и повседневного «быта земледельцев», отличаться от аналогичного права других российских подданных. Нередко в проектах упоминания о «собственности» крестьян сопровождалось обоснованием целесообразности предоставления «земледельцам» права коллективной, общинной собственности на землю. Так,

например, один из активных членов Союза спасения, Союза благоденствия, а с 1821 г. и Северного общества декабрист И. Д. Якушкин в составленном им для помещиков образце уведомления правительства о намерении освободить крепостных крестьян писал: «Уступая крестьянам землю, находящуюся под их селением, я не почитаю за нужное раздроблять ее на участки и делить собственность каждого особенно, а предоставляю им ее как принадлежность общую. Полагаю также за нужное, чтобы общество сих крестьян имело право приобретать покупкою землю в собственность» [Якушкин, с. 251]. И хотя сохранение общинного землевладения и имело, по мнению И. Д. Якушкина, «некоторые неудобства», однако такая форма собственности была бы выгодна самим крестьянам, так как «общие имущества... предохраняют от разорения частного и, поддерживая связь общую, могут споспешествовать общим усилиям» [Там же].

Двойственность трактовки понятия «собственность» в контексте решения проблемы рабства отчетливо просматривается также и при сопоставлении текстов российских авторов, размышлявших о корректности (или некорректности) отождествления права «собственности» помещиков на землю с правом «собственности» на крестьян. При этом одни авторы, описывая фактическое положение в стране, признавали, что «помещичьи крестьяне... составляют собственность высшего класса граждан, дворян» [Начертание..., с. 86], а другие указывали на отсутствие в России законов, закреплявших право собственности отдельного человека.

О некорректности отождествления права собственности на землю с нравственными обязательствами помещика оказывать покровительство обрабатывавшим ее крестьянам писали как представители либерально настроенной правительственной элиты и авторы учебных пособий, так и члены различных тайных обществ. Например А. П. Куницын в пособии по естественному праву сформулировал свою позицию следующим образом: «Никто не может приобрести права собственности на другого человека ни противу воли, ни с его согласия; ибо право личности состоит в свободе располагать самим собою, следовательно, произвольное завладение человеком противно праву, согласие же лица не может служить предлогом завладения, ибо право личности неотчуждаемо» [Куницын, с. 86].

В период с 1801 по 1820 г. Н. С. Мордвинов, М. М. Сперанский, А. Р. Воронцов, Н. П. Румянцев, А. Б. Куракин, О. П. Козодавлев, В. П. Кочубей неоднократно говорили о том, что собственность на вещи является естественным и неотъемлемым правом, которое могло и должно быть закреплено законодательно, а сформированную веками практику обладания людьми следовало рассматривать лишь как исторически сложившуюся форму межличностных взаимоотношений крестьян и помещиков. В большинстве исследуемых текстов некорректность отождествления крестьянина с «собственностью» не вызывала у авторов сколько-нибудь серьезных возражений. Данный тезис в равной степени использовался и сторонниками упразднения личной зависимости крестьян, и их оппонентами, которые, повторяя тот же самый постулат, писали о том, что большинство российских помещиков отличается искренней заботой о крестьянах. В такой трактовке крестьянин был уже не «бездушной соб-

ственностью» помещика, а «домочадцем», который в силу исторически сложившихся обстоятельств находится под покровительством землевладельца.

Существовавшая в сознании представителей образованной части российского общества смысловая взаимосвязь понятий «рабство», «свобода» и «собственность» оказала заметное влияние на процесс формирования представлений о стратегии и тактике решения крепостной проблемы в России первой четверти XIX в. Современники безоговорочно отрицали «рабство» как не соответствующее духу времени явление, которое не только прямо противоречило нормам христианской морали, но оказывало негативное влияние на развитие экономики и способствовало «общему падению нравов». С этих позиций «рабству» противопоставлялись права личности на свободу и собственность, провозглашавшиеся важнейшими условиями достижения «общего блага». Однако если на уровне теоретических размышлений российские авторы достаточно часто воспроизводили заимствованные из сочинений европейских мыслителей либеральные принципы, то при описании возможных сценариев освобождения крестьян в России происходила их корректировка.

Во-первых, перспектива искоренения рабства в России представлялась как комплекс мер правительства, направленных на юридическую регламентацию взаимоотношений крестьян с помещиками и одновременно на улучшение материального благосостояния мелкопоместных дворян, которые чаще других проявляли жестокость в отношении к крепостным людям. Признавая личную зависимость крестьян исторически сложившимся обычаем, российские авторы подчеркивали, что ликвидация «рабства крестьян» возможна только при объединении усилий государства и наиболее просвещенной части общества. В идеале результатом совместной работы должно было бы стать «просвещение» крестьян и жестоких помещиков, а также совершенствование законодательства о собственности.

Во-вторых, «свобода» для крестьян нередко трактовалась как возможность перехода на земли других помещиков с обязательным заключением между ними договора или предоставлением им права приобретения земельных участков. Однако и в том и в другом случае наряду с общими для всех сословий признаками «свобода» и «собственность» крестьян на землю могли быть ограничены различными дополнительными условиями. Наличие таких особенных условий, на мой взгляд, свидетельствует о происходившей в рамках поиска оптимальных способов решения крепостной проблемы корректировки значений понятий «свобода» и «собственность». На протяжении всей первой четверти XIX в. либеральная трактовка прав личности на «свободу» и «собственность» как естественных и всеобщих прав была дополнена утверждениями о необходимости учитывать степень «просвещения» и функциональное назначение различных сословий российского общества.

Восстание декабристов : документы и материалы. Т. 7. М. ; Л., 1958.

Гагарин И. А. Об облегчении рабства в России посредством уничтожения дворовых людей (1814—1815 гг.) // Дворянские проекты решения крестьянского вопроса в России в конце XVIII — первой четверти XIX в. : сб. документов / подгот. материала, введ. ст. и ред. А. Н. Долгих. Липецк, 2003. 59—67.

ГАРФ. Ф. 109, 679, 1165.

Давыдовский Л. Рассуждение о истинном человеческом благе, выведенное и доказанное из самой человеческой природы. М., 1782.

Доброй помещик // Вестн. Европы. 1807. Ч. 35, № 20. С. 284—287.

Дружинин Н. М. Революционное движение в России в XIX веке. М., 1986.

Киселев П. Д. О постепенном уничтожении рабства в России (1816 г.) // Дворянские проекты решения крестьянского вопроса в России в конце XVIII — первой четверти XIX в. Липецк, 2003.

Козодавлев О. П. Рассуждение о постепенном освобождении крестьян из-под рабства и о способах, коими безопасно можно ввести между ими гражданскую свободу (около 1818 г.) // Дворянские проекты решения крестьянского вопроса в России в конце XVIII — первой четверти XIX в. Липецк, 2003. С. 145—157.

Краткое руководство к систематическому познанию гражданского частного права России, начертанное профессором Григорием Терлаичем. Ч. 1. СПб., 1810.

Куницын А. П. Право естественное. Ч. 1. СПб., 1818.

Лопухин И. В. Отрывок сочинения одного старинного судии и его же замечания на известную книгу Руссову: du Contract Social. М., 1809.

Малиновский А. Ф. Рассуждение о начале и основании гражданских общежитий. М., 1787.

Медушевский А. Н. Проекты аграрных реформ в России, XVIII — начало XXI века. М., 2005.

Начертание статистики Российского государства, составленное главного педагогического института адъюнкт-профессором Константином Арсеньевым. Ч. 2. СПб., 1819.

Об узаконении для блага евреев, обитающих в Империи Всероссийской // Вестн. Европы. 1805. Ч. 20, № 10. С. 135—141.

ПСЗРИ. СПб., 1830.

Предтеченский А. В. Англomania // Анатолий Васильевич Предтеченский: из творческого наследия. СПб., 1999. С. 40—100.

РГИА. Ф. 1149; 1167.

ПСЗ РИ. Т. 16, 18, 26.

Словарь Академии Российской. Ч. 5 : от Р до Т. СПб., 1794.

Тимофеев Д. В. Европейские идеи в России: восприятие либерализма правительственной элитой в первой четверти XIX века. Челябинск, 2006.

Тургенев Н. И. Опыт теории налогов. СПб., 1818.

Тургенев Н. И. Россия и русские. М., 2001.

Шильдер Н. К. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Т. 2. СПб., 1897.

Якушкин И. Д. Мнение смоленского помещика об освобождении крестьян от крепостной зависимости (1819—1820 гг.) // Дворянские проекты решения крестьянского вопроса в России в конце XVIII — первой четверти XIX в. Липецк, 2003. С. 249—252.

Статья поступила в редакцию 21.01.2011 г.

УДК 622.3(470.5) + 347.2/.3 + 332.012.324

Е. Г. Неклюдов

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ РЕФОРМА ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПОСЕССИИ: ПРИЧИНЫ, ПРОЕКТЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ*

Исследуется малоизученный феномен посессионного права, который сохранялся в уральской горнозаводской промышленности до конца имперского периода. Определяется основное содержание этого права, прослеживаются его влияние на развитие промышленности и динамика численности посессионных округов во второй половине XIX — начале XX в. Основное внимание уделяется подготовке реформирования посессионного права, изменению позиции государства, заводчиков и горнозаводского населения, анализируются и оцениваются проекты ликвидации и причины незавершенности процесса.

К л ю ч е в ы е с л о в а: Урал; горнозаводская промышленность; посессионное право.

Посессионное право как система правовых норм сформировалось в России на рубеже XVIII—XIX вв. Его появление было отдаленным следствием исторически сложившихся обстоятельств развития горнозаводской промышленности на начальном этапе ее становления в XVIII в., когда государство активно помогало предпринимателям разного происхождения в организации столь важной для страны отрасли экономики. Предоставляя им пособия в виде земель, лесов, руд и рабочей силы, государство «положило основание тому особому виду частного владения, из которого возникло и развилось посессионное право с его условиями и обязанностями» [см. об этом: Удинцев, 1896; Митинский; Туган-Барановский; Рыбаков].

Наиболее широкое распространение практика казенных пособий получила при строительстве горных заводов на Урале, где ускоренными темпами создавался новый металлургический район. Здесь и возникли наиболее крупные посессионные имения заводчиков Демидовых (Нижнетагильские, Ревдинские, Суксунские заводы), Яковлевых (Невьянские, Алапаевские, Верх-Исетские заводы), Турчаниновых (Сысертские заводы) и др. Эти имения представляли собой масштабные (3,6 тыс. — 845 тыс. десятин) многоотраслевые территориально-хозяйственные комплексы — горнозаводские округа с характерными для них системными признаками самообеспеченности и самодостаточности [см.: Гуськова, 1995; 2004]. Как правило, окружное хозяйство включало группу взаимосвязанных основных и вспомогательных металлургических заводов (случалось, и один завод), обслуживавшие их сырьевые отрасли (рудная, топливная), транспортные коммуникации и прикрепленное к заводам население. Заводчикам было предоставлено право монопольного пользования разнообразными ресурсами этих комплексов для развития промышленности. В период формирования округов государство не спешило реализовать свое право на переданные

* Публикуется в рамках исследования, проведенного при поддержке гранта РГНФ-Урал № 10-01-83101 а/У.

заводчикам ресурсы. Это произошло лишь в конце XVIII в., вслед за признанием в 1782 г. права собственности на недра и леса частных земель. После указа от 23 июня 1794 г., разделившего заводы на две группы, посессионными были оставлены около половины частных горнозаводских округов Урала, где выплавлялось тогда 67 % чугуна и 38 % меди. Остальные приобрели статус владельческих, или вотчинных, округов, хозяева которых организовали их на собственной земле без помощи казны и распоряжались «во всем пространстве прав полной собственности».

В отличие от вотчинных округов, статус посессионеров не был четко определен в законодательстве. Он включал право собственности на заводы и их продукцию и условное право на полученные от казны ресурсы (это могли быть земли, леса, руды, а также люди). Ими заводчик мог пользоваться лишь под контролем казенного горного ведомства (выражавшимся, в частности, в санкции на открытие или закрытие заводов, на увеличение или сокращение их производительности, в утверждении годовых смет на вырубку заводских лесов, в наблюдении за «правильной разработкой» металлических руд и за использованием рабочих только в заводском хозяйстве и в соответствии с установленными штатными нормативами) и до тех пор, пока действуют заводы. Как владелец посессионер имел возможность наследовать и завещать, продавать и закладывать горнозаводский округ. В целом, его право на горнозаводское хозяйство как «нераздробимую» совокупность предприятий и ресурсов не поддается однозначной трактовке и может быть охарактеризовано как сочетание в одном субъекте черт собственника, владельца и пользователя. Право казны заключалось не только в контроле, но и в сборе горной подати с выработанных металлов, которая была в полтора раза выше по сравнению с владельческими заводами.

Таким образом, на рубеже XVIII–XIX вв. в России была создана беспрецедентная ситуация, когда на одном «экономическом пространстве» параллельно действовали и развивались две модели частной промышленности, различавшиеся степенью правоспособности владельцев в распоряжении заводами и ресурсами. Одна из них, представленная владельческими округами, существовала в условиях относительно свободного хозяйствования, другая, состоящая из посессионных округов, — в ограниченных законами условиях «казенной опеки». Права вотчинников и посессионеров были закреплены в первом своде российского горнозаводского законодательства — Проекте Горного положения 1806 г., распространявшем свое действие на все заводы Урала вплоть до издания в 1832 г. Горного устава. Последующие две редакции Устава (1842, 1857) включили текущее законодательство, зафиксировав его состояние на начало эпохи Великих реформ.

Параллельно формированию посессионного права, по мере того как стало «выясняться... его более или менее важное стеснение в хозяйственных соображениях и расчетах заводчика» (см. письмо управляющего Нижнетагильским округом П. Н. Шиленкова 1857 г. [РГАДА, ф. 1267, оп. 8, д. 1760, л. 22—22 об.]), началась и борьба заводчиков против посессии. В первой половине XIX в. она выражалась как в их индивидуальных действиях по переводу неко-

торых заводов в разряд владельческих (что приводило, как правило, к появлению округов, в составе которых находились и посессионные, и владельческие заводы), так и в коллективных жалобах по поводу отмены отдельных «посессионных ограничений», касавшихся в первую очередь рабочей силы. Но эта борьба, не будучи особо активной по причине еще сохранявшейся тогда конкурентоспособности посессионных заводов, не привела ни к сокращению их доли, ни к изменению основ посессионного права. В ходе организованной в 1830–1850-е гг. кампании «по разбору прав» заводчиков Горному департаменту удалось даже расширить группу посессионных округов за счет «перечисления» в нее трех небольших владельческих хозяйств. В результате к 1861 г. на Урале насчитывалось 23 посессионных округа (из 42), где концентрировалось 63–65 % всего металлургического производства. Общая площадь посессионных земель, расчлененных по территории Пермской, Вятской и отчасти Оренбургской и Вологодской губерний, составляла тогда около 4,4 млн десятин [см.: Неклюдов, 2004, с. 42–73; 2008].

Под влиянием индустриальной революции в середине XIX в. практики заводского дела усилили критику «существующих в законах ограничений для заводов, получивших некогда от казны пособие в лесах и землях». Выражая мнение уральских посессионеров, представитель крупнейшего Верх-Исетского округа Д. А. Огородзинский утверждал, что посессионное право и сопряженный с ним «специальный казенный надзор», закрепленный в Горном уставе, находится «в прямом противоречии с твердо установившимися понятиями о процветании каждой отрасли народной промышленности при возможно большей свободе действий и при возможно меньшей регламентации со стороны государства» [ГАСО, ф. 72, оп. 1, д. 3958, л. 132–140]. По примеру начавшегося в России «освобождения крестьян» заводчики рассматривали отмену посессий как равнозначный процесс «освобождения заводов».

Понимание необходимости этого не только заводчиками, но и либерально настроенными деятелями Великих реформ привело к тому, что вместе с Горным уставом вопрос о «горнозаводской посессии» в 1863 г. был передан на рассмотрение Горной комиссии Министерства финансов, которой предстояло подготовить общую реформу горнозаводского законодательства. Уральские посессионеры, среди которых наиболее активными были крупнейшие заводчики Яковлевы и Демидовы, пытались через прессу повлиять на решение чиновников, входивших в эту комиссию. Доказывая свое право «ограниченной собственности» на посессионные земли, они добивались распространения на уральские округа тех условий, какие были предоставлены в 1861 и 1863 гг. владельцам «фабрично-заводских» посессионных предприятий России, т. е. отмены ограничений и повышенной подати вместе с безвозмездной передачей земель и лесов в собственность владельцев. Однако достичь им этого не удалось в силу огромных территорий и природных богатств посессионных округов, которые правительство не решалось так же легко отдать заводчикам, как передало небольшие по размерам земельные участки фабрикантам [см.: ПСЗ-II, т. 36. № 36739; т. 38, № 39675; Труды Комиссии..., с. 191–192; Удинцев, 1909, с. 284–285].

По ходатайству нескольких посессионеров на комиссии был поднят вопрос об округах, пользовавшихся лишь одним пособием «в людях», которое после отмены крепостного права утратило свое значение. Важнейшим результатом деятельности Горной комиссии стала подготовка утвержденного 9 декабря 1863 г. мнения Государственного совета о переводе таких округов в состав владельческих. Властями и заводчиками этот закон рассматривался в качестве первого шага на пути решения посессионной проблемы в целом. Кампания по «разбору прав» таких заводчиков затянулась до 1878 г. Она привела к утверждению владельческого статуса четырех бывших посессионных горнозаводских округов Урала (Жыштымского, Сергинско-Уфалейского, Кагинского и Авзяно-Петровского) [см.: ПСЗ-II, т. 38, № 40358; ГАСО, ф. 24, оп. 23, д. 6097].

В отношении остальных округов, имевших пособия «в землях, лесах и рудах», Горная комиссия в 1866 г. предложила в качестве второго шага проект выкупа посессий владельцами у казны посредством «капитализации добавочной подати, ежегодно причитающейся с имения». Именно эта разница в величине горной подати за чугун, медь, золото и платину между владельческими и посессионными заводами была признана тогда единственным «существенным выражением посессионного права» для правительства. Выкупная сумма вычислялась по средней подати за несколько прошедших лет, капитализированной из 5 %. Средняя цена «выкупной десятины» по такому расчету составила 1,7 р., хотя существенно колебалась по отдельным округам (от 0,34 до 6,56 р.). Выкупная сумма с 17 округов, числившихся к тому времени в составе посессионных (Святочудовский завод был закрыт, а Богословский селитренный исключен из горного ведомства), достигала 4,7 млн рублей [см.: ГАСО, ф. 72, оп. 1, д. 3958, л. 222–223].

На окончательную редакцию проект был внесен в Податную комиссию. С целью повлиять на позицию властей заводчики добились участия своих представителей в ее заседаниях. Не найдя поддержки прежних предложений, эти представители были вынуждены согласиться с вариантом выкупа как отвечающим идее «взаимной выгоды казны и заводчиков». Но им удалось склонить выделенную из состава Податной Особую комиссию по посессионному вопросу во главе с Н. М. Лейхтенбергским к принятию скорректированного варианта расчета выкупной суммы за счет исключения добавочной подати за золото и платину и уменьшения подати за медь как «предметов слишком непостоянных отраслей горного дела». Средняя цена десятины в итоге снизилась до 1 р., хотя все еще заметно различалась по округам (от 0,12 до 2,69 р.). Общая выкупная сумма уменьшилась до 2,7 млн р., уплата которых была возможна в рассрочку [см.: ГАСО, ф. 72, оп. 1, д. 3958, л. 132–140, 188–223; ф. 24, оп. 2, д. 1228, л. 1].

В 1868 г. итоговый проект Податной комиссии был направлен для обсуждения в заинтересованные ведомства и все заводууправления посессионных округов. Хотя в нем были выявлены некоторые недостатки, не они стали главной преградой на пути его реализации: ею оказались жалобы «заводских крестьян», которые с этого времени также включились в решение посессионной проблемы и обратились к министру финансов с просьбой «принять во внимание прежде допущения выкупа посессий на обеспеченность их быта». В ходе реализации

реформы 1861 г. по договоренности с заводчиками в собственность горнозаводскому населению передавались, как правило, только усадьбы, а покосы, выгоны и небольшие по размерам пашни — в бессрочное пользование без выкупа. Спустя десятилетие такое «обеспечение быта» было признано недостаточным не только самими «крестьянами», но и высшими государственными чиновниками, особенно в условиях, когда многие уральские заводы закрывались или могли закрыться в перспективе. В результате Особое совещание при Министерстве финансов под председательством А. К. Гирса, работавшее четыре года, в 1872 г. «нашло необходимым приостановиться выкупом посессий до разрешения общего вопроса о мерах к обеспечению быта приписанного к горным заводам населения» [см.: ГАСО, ф. 72, оп. 1, д. 3958, л. 14, 31—40, 85—130, 188—213]. Этим решением реформа горнозаводской посессии была отложена на неопределенный срок — до решения не менее сложной проблемы наделения земель горнозаводского населения.

Когда в 1876 и 1877 гг. были составлены инструкции о землеустройстве бывших казенных крестьян, проживавших в посессионных «дачах», заводчики посчитали возможным применить их к горнозаводскому населению и вновь обратились с просьбой к министру. П. А. Валуев «разделил убеждение» посессионеров и дал санкцию на составление нового проекта правил о выкупе посессий, главными целями которого должны были стать «большее обеспечение быта горнозаводского населения посессионных заводов и большая равномерность тяжести выкупа для отдельных заводских округов». Для этого была выработана новая «формула» расчета, согласно которой выкупная сумма определялась путем капитализации добавочной подати, соответствующей тому гипотетическому размеру ежегодного производства, который «допускался количеством и родом приписанных к данному заводу от казны лесов». Основываясь на таких представлениях, в 1878 г. Министерство госимуществ, которому был придан Горный департамент, подготовило проект новых Правил о выкупе посессионных горнозаводских имений в собственность их владельцев, по именам его главных идеологов получивший название Проекта Валуева — Штофа.

По предварительному расчету выкупная сумма с 14 посессионных округов (к тому времени закрылись мелкие Ольгинско-Уинские, Шильвинский и Мешинский заводы) была уменьшена до 2,5 млн р. и более равномерно распределена между ними (средняя цена десятины установилась в пределах 0,9—1,2 р.). Но, в отличие от предыдущих, с этим проектом заводчики не были ознакомлены, поскольку в 1879 г. Государственный совет отложил его обсуждение до завершения землеустройства горнозаводского населения, разработка проекта которого поручалась тому же Министерству госимуществ. Кроме того, члены Госсовета рекомендовали дождаться последствий постройки Уральской железной дороги, которая, по замыслу создателей, должна была соединить крупнейшие зауральские заводы с приуральскими месторождениями каменного угля. Предполагалось, что это изменит древесно-угольный профиль уральской металлургии и сократит ее потребность в лесных материалах и обширных заводских дачах, которые и составляли основную имущественную часть посессии [см.: ГАСО, ф. 72, оп. 1, д. 3958, л. 132—140, 146—148, 188—213, 280—282].

Законодательно установленная в 1879 г. зависимость вопроса о выкупе посессий от «окончательного устройства быта заводского населения» вновь надолго отвлекла от него внимание государства и заводчиков, сосредоточившихся на выработке взаимоприемлемого варианта землеустройства бывших крепостных. Заводчики согласились увеличить земельные наделы населения до размера «фактического землепользования», сохранив за ним право пользования лесом из заводских дач («лесной сервитут»). Но они продолжали воспринимать в единстве процесс «наделения мастеровых» с «наделением заводов», как они трактовали выкуп посессий. В этой связи в 1887 г. посессионеры вновь попытались поднять вопрос о выкупе, решив, что уже определены основные условия землеустройства населения и стало понятно, что открытая в 1878 г. Уральская железная дорога не решила кардинально топливной проблемы.

Горный департамент был согласен «не медлить [с] возобновлением дела о выкупе», но считал необходимым «по прошествии многих лет и при новых обстоятельствах» скорректировать прежний министерский проект. К обсуждению вопроса на этот раз были подключены посессионеры. Они в целом одобрили проект Валуева — Штофа (с которым десятилетие спустя были впервые ознакомлены) как вариант выкупа своих «дополнительных до частной собственности прав на посессии» за приемлемую для них цену. Но, несмотря на это, никаких иных шагов со стороны горных властей предпринято не было, поскольку они не могли нарушить мнение Госсовета 1879 г. о предварительном «устройстве быта населения», которое никто не отменял [см.: ГАСО, ф. 72, оп. 1, д. 3958, л. 14—20, 162—179 об., 180—187, 280—282]. Когда же в 1893 г. были наконец изданы согласованные с заводчиками Правила о землеустройстве населения посессионных округов, а также Горный устав в новой редакции, сохранившей прежние посессионные ограничения, заводчики вновь обратились к властям. Их коллективные прошения повлияли на создание в 1897 г. Особой комиссии при Горном департаменте, которая должна была в очередной раз «рассмотреть вопрос о выкупе посессионных имений в собственность их владельцев».

Вопреки ожиданиям заводчиков, эта комиссия решительно отвергла прежнюю методику расчета выкупа исходя только из величины добавочной горной подати, которую теперь сочли «недостаточно выражающей существо посессии». Не придя к единому мнению, члены комиссии сформулировали два «предположения». Одно предлагало вовсе не составлять общего для всех заводчиков проекта, а «произвести оценку каждой посессионной дачи через особую комиссию из представителей казны и владельца». Второе было внесено тем же влиятельным членом Горного совета А. А. Штофом, считавшимся автором проекта 1878 г. Под влиянием демократически настроенной интеллигенции он изменил свой прежний взгляд на посессионную проблему и предложил совершенно иной подход, отвергавший идею выкупа и предусматривавший изъятие из владения посессионеров лесов и перевод их на арендные отношения с государством. Ознакомленные с подготовленным на этом основании проектом «разверстания посессионных имений», заводчики восприняли его как способ «экспроприации посессий» и категорически отказались

его рассматривать. При отсутствии рынка древесного угля и каких-либо гарантий со стороны казенного лесного ведомства «отделение лесов от заводов», по их убеждению, неизбежно привело бы к остановке всех предприятий [см.: ГАСО, ф. 72, оп. 1, д. 3958, л. 21–22; д. 4691, л. 24–29 об.; Штоф]. В этом, между прочим, они нашли поддержку Ученой комиссии Д. И. Менделеева, работавшей на Урале в 1899 г. Среди первоочередных мер по выводу уральской металлургии из застоя ученые предлагали заводчиков-посессионеров поскорее «сделать полными владельцами своих земель путем выкупа... через капитализацию добавочной горной подати» [Уральская железная промышленность..., с. 841–857].

Между тем посессионная проблема существенно обострилась в условиях глубокого экономического кризиса начала XX в., особенно болезненно отразившегося на деятельности посессионных округов. К этому времени некоторые из них выбыли из состава группы по инициативе горных властей и с санкции императора. В 1880–1890-е гг. три округа (Суксунский, Юго-Кнауфский, Шурминско-Залазнинский, или Мосоловский), находившиеся в казенном управлении из-за финансовой несостоятельности владельцев, и один (Ревдинско-Рождественский) под управлением кредиторов были проданы с публичных торгов при условии изменения формы владения. В начале XX в. путем покупки владельцами части бывшей заводской дачи была прекращена посессия давно уже бездействовавшего Бемьшевского завода. В результате в группе посессионных осталось всего 9 крупных горнозаводских хозяйств (Нижнетагильский, Верх-Исетский, Алапаевский, Невьянский, Сысертский, Шайтанский, Холуницкий, Омутнинский и Кажимский округа), производивших в 1900 г. около 32,5 % чугуна всех частных заводов Урала. К концу кризиса доля их продукции уменьшилась уже до 28,5 % [см.: РГИА, ф. 37, оп. 65, д. 1403, л. 143–146]. Посессионный сектор уральской промышленности не только сократился, но и явно проигрывал по производительности более динамично развивавшимся владельческим заводам. Сами посессионеры жаловались тогда, что, в отличие от вотчинников, они затруднялись в привлечении паевых капиталов и ипотечных кредитов под залог не принадлежавших им земель и были ограничены в распоряжении сырьевыми ресурсами своих имений. Принцип «нераздробности» округов препятствовал их «разгораживанию» по отраслевому признаку и не позволял заводчикам обмениваться лесными дачами для более рационального ведения хозяйства. Даже после того, как в 1898 и 1901 гг. подать за медь, чугун, золото и платину была заменена промысловым налогом, посессионные заводы по-прежнему платили в казну «добавочную горную подать» [см.: ПСЗ-III, т. 18, № 15601; т. 21, № 20572; Сапоговская, 2008, с. 36–43]. Все эти «ограничения» существенно сокращали оперативные возможности посессионеров для преодоления финансовых трудностей и предопределяли снижение конкурентоспособности посессионных заводов по сравнению с владельческими.

Особенно пострадали от кризиса старейшие — Невьянские и Холуницкие — заводы, поставленные на грань финансового банкротства и закрытия. Реализуя один из ранее предложенных вариантов решения посессионной проблемы путем создания «частных проектов», Горный департамент в 1905 г. образовал специальные инстанции в отношении этих заводов. Комиссия по Холуницким

заводам впервые попыталась создать методику вычисления выкупной суммы, учитывавшую потерю казной не только горной подати, но и права собственности на посессионные леса и земли. Однако предложенный ею вариант настолько повысил цену этих заводов, что сделал нереальной их продажу с публичных торгов. Казне пришлось самой сначала выкупить заводы, тем самым выведя их из разряда посессионных, и затем уже передать по частям в аренду [см.: Материалы по вопросу о выкупе..., 1906, с. 15–19; 1907, с. 171–174; Особые журналы..., с. 72–77].

Инициаторами создания Особого совещания по Невьянским заводам выступили сами владельцы, ходатайствовавшие о выкупе небольшой лесной дачи округа за 50 тыс. рублей. Поскольку использованная владельцами методика подсчета выкупной суммы по схеме Валуева — Штофа считалась уже устаревшей и не отвечавшей интересам казны, совещание оценило предложенную сумму как существенно заниженную и к тому же не учитывавшую подати с добываемого в Невьянском округе золота. После пересчета общая сумма выкупа возросла почти в четыре раза, но и в этом случае реализация проекта была отложена до завершения землеустройства населения округа [см.: Материалы по вопросу о выкупе..., 1906, с. 1–11, 19–32; 1907, с. 125–126; РГИА, ф. 37, оп. 65, д. 1518, л. 5–21 об.].

Тем не менее частные дела по Холуницким и Невьянским заводам подвигли как заводчиков, так и власти вновь обратить внимание на общую проблему посессионного права. По инициативе заводладельцев в начале 1906 г. приступило к работе Особое межведомственное совещание с участием представителей от Министерства торговли и промышленности и от входившего тогда в его структуру Горного департамента, а также от Министерства финансов, Государственного контроля, Государственного управления земледелия и землеустройства, Совета съездов горнопромышленников Урала и от всех управлений посессионных округов (всего 37 участников). Руководителем этого совещания, которому вменялась в обязанность выработка окончательного варианта ликвидации посессионного права, вновь оказался А. А. Штоф, занимавший в то время должность товарища министра.

На ход совещания решающее влияние оказала принятая его участниками установка на «факультативность» (необязательность) для посессионера выработанный вариант решения посессионной проблемы. Из-за категоричной позиции представителей заводчиков она сразу исключила из обсуждения предложенные чиновниками проекты «разверстания посессионных имений между казной и владельцами». В результате тщательному изучению подвергся вариант выкупа посессий, на котором настаивали посессионеры, но в расширенном виде, установленном еще Особой комиссией 1897 г. На совещании было одобрено предложение А. А. Штофа о «расчленении» посессионной горной подати (2/5 — за руду и 3/5 — за лес) для удобства расчета выкупной суммы по тем округам, которые пользовались покупным горючим, было составлено несколько вариантов капитализации подати за те металлы, которые ею облагались (чугун, медь, золото и платина), а также принято решение о необходимости учета в общей выкупной сумме приобретаемого заводчиками права на природные ресурсы, не

облагаемые горной податью (строевой лес и «побочные ископаемые»). Острая полемика развернулась по смежному вопросу о «достаточности обеспечения быта» населения посессионных округов по закону 1893 г. Ориентируясь на общественные настроения и растущие требования населения, некоторые участники совещания настаивали на изменении закона в сторону расширения наделов и включения в них леса в расчете не на ревизские, а на «наличные души». Для согласования мнений и сбора статистических данных о ходе землеустройства из состава Особого совещания была выделена Комиссия во главе с членом Горного совета А. А. Сорокиным, которая летом 1906 г. выезжала на Урал, а после возвращения занялась систематизацией данных и подготовкой общих предложений для Особого совещания [см.: Материалы по вопросу о выкупе..., 1906; 1907; 1908; РГИА, ф. 37, оп. 67, д. 394, л. 3].

Работа находилась на завершающем этапе, когда ознакомиться с посессионной проблемой выразил желание министр торговли и промышленности Д. А. Философов во время своей поездки на Урал. Видимо, его решение было вызвано далеко не однозначной общественной реакцией на подготовку проекта выкупа посессий, усилившейся в период революции и нашедшей отражение в запросах российских парламентариев и в поступавших в Совет министров прошениях от сельских обществ нескольких посессионных заводов. В этих прошениях, в частности, выражалось опасение, что власти келейно разрешат заводчикам выкупить леса и земли до завершения землеустройства населения и в ущерб «общественным интересам» [см.: Материалы по вопросу о выкупе..., 1908, с. 57—107; РГИА, ф. 37, оп. 65, д. 1403, л. 1—4, 92—97].

Эти настроения и понимание сложности в такой ситуации провести проект через Государственную думу заставили посессионеров изменить свою тактику. На совещании с министром, которое состоялось в сентябре 1907 г. в Нижнем Тагиле, представители заводууправлений не стали настаивать на скорейшем решении проблемы в целом. Они добились от министра первоочередного освобождения заводов от таких посессионных ограничений (запрет на продажу металлических руд, «побочных ископаемых» и строевого леса), которые могли быть сняты «в порядке административного распоряжения или в порядке Верховного управления» [см.: Материалы по вопросу о выкупе..., 1908, с. 3—10]. Однако одобренные решения не были утверждены надлежащим образом по причине смерти министра всего через два месяца после завершения этого важного совещания.

При министрах И. П. Шипове и В. И. Тимирязеве курировать посессионный вопрос было поручено их товарищу Д. П. Коновалову. Скорее всего, опасаясь обвинений в адрес министерства, «идущего на поводу у посессионеров», он отверг вариант пошаговой отмены посессионных ограничений и предпочел вернуться к общему проекту, который бы целиком проходил утверждение в законодательных органах. После нескольких просьб посессионеров им было предложено «представить конкретные пожелания... о способе ликвидации посессионного права». Составленные и поданные в министерство в 1908 г. Главные основания проекта перечисления посессионных горнозаводских округов базировались на договоренностях, которых удалось достичь в ходе работы Особого межведомственного совещания.

Этим проектом заводчики показали пример соединения собственных интересов с выгодами казны и с требованиями горнозаводского населения. Они согласились со многими положениями, от которых прежде отказывались. Выкупная сумма значительно повышалась вследствие включения в ее состав капитализированной подати не только за чугун, но и за медь, золото и платину. По предварительным расчетам общая сумма с восемью оставшихся посессионных округов (их площадь не превышала уже 1,3 млн десятин) могла достигнуть 3,4–3,6 млн р., а средняя цена десятины возрастала до 2,8 рубля. Был также признан дополнительный выкуп за леса и «побочные ископаемые» посессионных дач. Заводчики согласились и на дополнительный лесной надел для населения в расчете на «наличную душу» вместо существующего лесного сервитута [см.: Материалы по вопросу о выкупе..., 1908, с. 11–35, 46–48]. Все это говорило о готовности посессионеров пойти на компромисс при наличии такого же желания у других «заинтересованных сторон». Однако на созванном при министерстве совещании под председательством Д. П. Коновалова власти вновь выдвинули отвергнутый прежде вариант «отделения лесов от заводов». Посессионеры потребовали прекратить работу министерского совещания и передать рассмотрение посессионного вопроса в Особое межведомственное совещание, которое официально никто не распускал [см.: РГИА, ф. 37, оп. 65, д. 1403, л. 136–139; д. 1520, л. 47–53]. Но возобновление его деятельности при таком настрое властей было совершенно нереальным. Как и все предыдущие совещания и комиссии по посессионной проблеме, Особое совещание 1906–1907 гг. не завершилось реформой.

Высшие чины министерства считали опасным безвозвратно отчуждать в частные руки значительные территории «ввиду возможной в будущем нужды государства в земельном фонде, могущем удовлетворить требованиям населения в земле». Незавершенность землеустройства в посессионных округах и все возраставшие требования населения, у которого появились серьезные защитники в лице демократических партий и их фракций в Государственной думе, не могли не влиять на позицию государственных чиновников, особенно после революционных потрясений начала XX в. [см.: Алеврас]. Порой и сами заводладельцы давали повод для ужесточения отношения к ним со стороны горных властей. Так, в 1909–1912 гг. из-за остановки металлургического производства на Невьянских заводах было начато дело «об отобрании посессии» у их владельцев, прекращенное лишь с передачей управления от акционерной компании в руки особой администрации, состоявшей из представителей крупнейших российских банков [см.: ГАСО, ф. 24, оп. 19, д. 1282, л. 64–79, 86, 88; РГИА, ф. 37, оп. 65, д. 1518, л. 5–21 об., 31, 42–49, 51–57, 70]. В 1909 г. на грани банкротства оказались Нижнетагильские заводы, переставшие выплачивать не только проценты по ссудам, но и государственные подати. Со стороны властей тогда прозвучали предложения продать заводы с публичных торгов или взять их в казенное управление. Благодаря новым займам владельцам удалось не только избежать продажи, но и сохранить заводы в своем владении до акционирования в 1917 г. [см.: Буранов, Бугаева, с. 100–104; Гуськова, 2007, с. 118–123].

В результате всех этих причин в условиях предвоенного промышленного подъема власти предпочли не спешить с решением общего вопроса об отмене посессионного права. Они избрали тактику реагирования на конкретные проблемы развития отдельных округов, разрешая им от случая к случаю получать займы или продавать природные ресурсы. Пользуясь этими «частными льготами», посессионеры, тем не менее, не отказались от давления на власти, считая, что «льготная практика» Министерства торговли и промышленности лишь в незначительной мере ослабляла «неблагоприятное влияние устаревших и стеснительных правил посессионного права и не могла оправдать отсрочку разрешения посессионного вопроса во всей его полноте». Действуя через укрепившую к тому времени свой авторитет отраслевую организацию — Совет съездов горнопромышленников Урала, в составе которого было образовано особое Бюро посессионных заводов, в 1912 г. заводчики составили и распространили Памятную записку о ликвидации посессионного права. В ней содержалось прямое обвинение властей в бездеятельности и констатировалось, что «все старания заводчиков изменить существующее положение не увенчались успехом, ибо органы Правительства до сего времени не находят возможности рассмотреть этот весьма важный вопрос» [РГИА, ф. 56, оп. 1, д. 21, л. 30—33 об.].

Новая записка с усиленной аргументацией была составлена от лица Совета съездов сразу после начала Первой мировой войны — в августе 1914 г. Тогда посессионеры полагали, что в условиях военного времени государство, нуждавшееся в поддержке крупного бизнеса, наконец-то пойдет им навстречу. Но резолюция министра С. И. Тимашева («При современном напряжении всех сил государства ставить... столь сложные проблемы совершенно невозможно») оказалась, видимо, последней точкой в продвижении дела о «горнозаводской посессии» [РГИА, ф. 37, оп. 65, д. 1403, л. 143—146]. В результате правовой институт, который официально был признан устаревшим еще в середине XIX в., выдержав испытание десяти специальных правительственных комиссий и совещаний, подготовивших пять проектов его ликвидации, сохранился до конца имперского периода и, по признанию современников, существенно тормозил развитие многих крупных горнозаводских хозяйств Урала.

Однако борьбу заводчиков за ликвидацию посессий нельзя считать совсем безрезультатной. В направлении освобождения от посессионных ограничений заводчики добились если не полного их устранения, то снятия частными распоряжениями властей. Это расширяло оперативные возможности посессионеров и позволяло развивать не только металлургическое производство, но и вспомогательные отрасли хозяйства. Кроме того, действующие посессионные ограничения вовсе не являлись всеобъемлющими. Они оставляли владельцам значительные возможности в распоряжении округами и не стали серьезным препятствием для многих охвативших уральскую промышленность новейших процессов капиталистической модернизации. В начале XX в. посессионные округа были акционированы, хотя и с некоторым отставанием по сравнению с владельческими. Они вступили в тесные контакты с крупнейшими российскими, а отдельные округа и с иностранными коммерческими банками. Вероятно, из-за статусных ограничений хозяйственной деятельности, интенсивность

этих связей у посессионных округов была даже несколько выше, чем у владельческих. Они активно участвовали в отраслевых синдикатах «Кровля», «Медь», «Асбест» и др. [см.: Буранов; Сапоговская, 2007 (подсчеты интенсивности связей с банками наши)]. Но наиболее существенные результаты были достигнуты заводчиками все-таки по другому направлению борьбы — переводу посессионных округов в разряд владельческих. В уменьшении их числа (с 23 до 8) и заключался главный практический результат действий казны и заводчиков по ликвидации посессий во второй половине XIX — начале XX в. «Территория» действия посессионного права значительно изменилась за этот период, сократившись с 4,4 до 1,3 млн десятин уральской земли. Тем не менее посессионными оставались несколько крупнейших горнозаводских округов (Нижнетагильский, Алапаевский, Верх-Исетский, Сысертский, Омутнинский), доля металлургического производства которых достигала 1/3 общеуральской.

Еще в 1876 г. известный юрист Д. А. Огородзинский писал: «Почти четверть века тому назад в первый раз высказана была Правительством мысль о том, что посессионное право должно подлежать отмене. В продолжение этого времени Правительство не затруднилось привести в исполнение громадные экономические реформы, обновившие весь строй народного хозяйства и имевшие общегосударственное значение, а вместе с тем всесторонне обсужденный, самым тщательным образом выработанный проект о выкупе посессий остается без движения» [ГАСО, ф. 72, оп. 1, д. 3958, л. 140—145]. Отметим, что эти слова можно было бы с полным правом произнести спустя еще 40 лет, присокупив, что такая же участь постигла и проект разверстания посессий.

Судя по всему, основным виновником незавершенности реформы оказалось само посессионное право как исторический феномен. Его специфика заключалась не только в исключительности посессионного права в сравнении с законодательством европейских стран, а также сложности регулируемых им экономических отношений. В нем настолько прочно переплелись существенные (а для некоторых участников и жизненно важные) и мущественные интересы казны, заводчиков и горнозаводского населения, что их оказалось крайне трудно разделить на практике. На это указывал и главный деятель реформы горнозаводской посессии, автор двух ее альтернативных проектов А. А. Штоф. «Еще с 60-х гг. прошлого столетия, — писал он в материалах ко всеподданнейшему докладу 1906 г., — вопрос о посессионном праве рассматривался в разных правительственных совещаниях и комиссиях, не пришедших, однако, к положительно определенным выводам о способах прекращения посессий, главным образом вследствие крайней сложности сего вопроса, затрагивающего интересы как заводчиков, так и казны и, сверх того, местного населения, экономическое благосостояние которого тесно связано не только с существованием заводов, но и с теми или иными условиями их деятельности» [РГИА, ф. 37, оп. 65, д. 1366, л. 5—6 об.].

В XVIII в. посессии как пособия от казны стимулировали быстрое развитие частной горнозаводской промышленности, столь необходимое в эпоху ранней модернизации России. В первой половине XIX в. пользование разнообразными посессиями было вполне закономерно оформлено государством в особое

посессионное право, включившее существенные ограничения свободы предпринимательской деятельности. Во второй половине XIX — начале XX в. оно стало одним из факторов, затруднявших развитие многих заводов, вследствие чего было признано необходимым устранить эти ограничения вместе с самим посессионным правом. Но «конфликт интересов» основных участников посессионных отношений осложнил и затянул этот процесс, несмотря на общее желание казны, заводчиков и горнозаводского населения освободиться от них. Усугубляли процесс и придавали ему еще большую противоречивость меняющаяся политическая ситуация в стране и экономическая конъюнктура на Урале. Результатом действия совокупности причин и факторов стало сохранение этого архаичного правового института, «затаившегося» на Урале до конца имперского периода. С одной стороны, это свидетельствует о вполне очевидной незавершенности реформирования институциональных основ предпринимательской деятельности в России в соответствии с принципами либерализма; с другой — говорит о сложной динамике модернизационного процесса в стране, на который оказывали тормозящее влияние специфические правовые институты, возникшие и укоренившиеся еще на доиндустриальной стадии.

Алеврас Н. Н. Аграрная политика правительства на горнозаводском Урале в начале XX в. Челябинск, 1996.

Буранов Ю. А. Акционирование горнозаводской промышленности Урала (1861—1917). М., 1982.

Буранов Ю. А., Бугаева С. Я. К истории акционирования горнозаводской промышленности на Урале (на примере Нижнетагильского горного округа) // *Вопр. истории Урала.* Сб. 13. Свердловск, 1975.

ГАСО. Ф. 24 (Уральское Горное управление); Ф. 72 (Главное управление Верх-Исетских горных заводов).

Гуськова Т. К. Нижнетагильский горнозаводский округ Демидовых во второй половине XIX — начале XX в. Заводы. Рабочие. Н. Тагил, 2007.

Гуськова Т. К. Заводское хозяйство Демидовых в первой половине XIX в. Челябинск, 1995.

Гуськова Т. К. Востребовано временем // *Социально-экономическое и политическое развитие Урала в XIX—XX вв. : к 90-летию со дня рождения В. В. Адамова.* Екатеринбург, 2004. С. 34—46.

Материалы по вопросу о выкупе посессионных заводов с журналами Особого совещания, образованного в 1905 г. для рассмотрения этого вопроса. Ч. 1. СПб., 1906; Ч. 2. СПб., 1907; Ч. 3, вып. 1, 2. СПб., 1908.

Митинский А. Н. Посессионное право. СПб., 1907.

Неклюдов Е. Г. Уральские заводчики в первой половине XIX в.: владельцы и владения. Н. Тагил, 2004.

Неклюдов Е. Г. Правовые «модели» развития промышленности: владельческие и посессионные заводы Урала в первой половине XIX в. // *Экономическая история России XVII—XX вв.: динамика и институционально-социокультурная среда.* Екатеринбург, 2008. С. 129—146.

Особые журналы Совета министров царской России. 1908 г. Т. 1. М., 1988.

ПСЗ-II — Полное собрание законов Российской империи. 2-е изд. СПб., 1825—1881.

ПСЗ-III — Полное собрание законов Российской империи. 3-е изд. СПб., 1881—1913.

РГАДА. Ф. 1267 (Демидовы).

РГИА. Ф. 37 (Горный департамент); Ф. 56 (Акционерное общество Верх-Исетских горных заводов).

Рыбаков Ю. Я. Промышленное законодательство России первой половины XIX в. : (источниковедческие очерки). М., 1986.

Сапоговская Л. В. Горнозаводская промышленность Урала на рубеже XIX—XX вв. Екатеринбург, 2007.

Сапоговская Л. В. Национальная золотопромышленная политика XVIII—XX вв., или Нужно ли России золото? Екатеринбург, 2008.

Труды Комиссии, Высочайше учрежденной для пересмотра системы податей и сборов. Т. 3, ч. 4. СПб., 1868.

Туган-Барановский М. И. Русская фабрика в прошлом и настоящем М. ; Л., 1934.

Удильцев В. А. Посессионное право. Киев, 1896.

Удильцев В. А. Русское горноземельное право. Киев, 1909.

Уральская железная промышленность в 1898 г. / под ред. Д. И. Менделеева. Екатеринбург, 2006.

Штоф А. А. Горное право. Сравнительное изложение горных законов, действующих в России и главнейших горнопромышленных государствах Западной Европы. СПб., 1896.

Статья поступила в редакцию 07.02.2011 г.

УДК 070.133 + 351.751.5 + 94(470)“16/18”

Е. Н. Ефремова

«ФАЛЬШИВОЕ ТОРЖЕСТВО КВАСНОГО ПАТРИОТИЗМА...»: УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА 1911 г. ОБ ОТМЕНЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА

Рассматривается освещение празднования 50-летнего юбилея отмены крепостного права в уральской периодике, а также цензурные ограничения, связанные с обращением к этой теме.

К л ю ч е в ы е с л о в а: крепостное право; Великие реформы; цензура крестьянского вопроса; уральская пресса.

Освещение в российской прессе вопросов, связанных с крепостным правом, всегда было очень проблематично, особенно в середине XIX в., накануне Великих реформ. В докладе министра народного просвещения (21 апреля 1850 г.), где излагались правила цензуры книг для простого народа, было сформулировано правило, по которому запрещалось печатать любую информацию, так или иначе затрагивающую проблему крепостного права: «Сочинения, в которых изъясняется сожаление о состоянии крепостных крестьян, описываются злоупотребления помещиков или доказываются, что перемена в отношениях первых к последним принесла бы пользу, не должны быть вообще разрешаемы к печатанию, а тем более в книгах, предназначенных для чтения простого народа» [Сборник постановлений, с. 265]. Только в конце 1850-х гг. правительство признало возможным обсуждение крестьянского вопроса в печати, однако ог-

раничения, изложенные в распоряжении от 16 января 1858 г., фактически запрещали любую форму обсуждения положения крестьян не только на страницах периодической печати, но и в художественном и научном изложении. В Распоряжении от 16 января 1858 г. говорилось:

Для руководства внутренней цензуры при рассмотрении и пропуске к напечатанию статей, относящихся до предпринятого ныне освобождения крепостного состояния, предписываются следующие правила: а) статей, где будут разбирать, осуждать и критиковать распоряжения правительства по этому делу, к напечатанию не допускать; б) не позволять печатать тех статей, преимущественно литературного содержания, где в форме рассказа или какой-нибудь другой помещаются события или суждения, могущие возбудить крестьян против помещиков; в) затем все сочинения и статьи, чисто ученые, теоретические, исторические и статистические, где будут разбираться и рассматриваться вопросы хозяйственные о теперешнем и будущем устройстве помещичьих крестьян, позволять печатать как отдельными книжками, так и во всех периодических изданиях с тем только: а) чтобы при этом не было допускаемо рассуждений и толкований о главных началах, высочайшими рескриптами предписанных в руководство комитетам, по губерниям учрежденным; б) чтобы при пропуске всех подобного рода статей и сочинений в точности соблюдались общие правила, цензурным уставом предписанные; в) чтобы обращено было особое внимание на дух и благонамеренность сочинения и г) статьи, писанные в духе правительства, допускать к печатанию во всех журналах [Сборник постановлений, с. 423—424].

28 февраля 1858 г. вышло распоряжение, предписывающее Московскому цензурному комитету «наистрожайше запретить... допускать в печать все, что переносит настоящий крестьянский у нас вопрос на политическую почву, удерживая писателей по этому предмету в тех границах, которые правительством указаны» [Там же, с. 426]. Указом от 15 апреля 1858 г. было запрещено печатать статьи «об устройстве быта помещичьих крестьян», в которых «будет излагаться мнение о принадлежащем будто бы им праве собственности на землю владельцев, которою они пользуются» [Там же, с. 427]. В Распоряжении от 22 апреля 1858 г. вновь говорилось, что «цензура должна позволять к напечатанию только те... сочинения и статьи, где обсуживаются исключительно предметы сельского хозяйства и благоустройства, статьи, не противные духу и направлению означенной программы, не вдаваясь отнюдь в суждения о предметах будущего устройства крестьян в окончательном периоде предпринятого правительством преобразования», в то же время «в отдельных листках, продаваемых на улицах и перекрестках, не должно быть вовсе допускаемо суждений и статей, вообще до крестьянского вопроса относящихся» [Там же, с. 428—429]. В соответствии с циркуляром от 22 января 1859 г. цензоры должны были представлять статьи о положении крестьян не только в Министерство внутренних дел, но и «всех тех министерств и управлений, до ведомства коих находятся предметы, в статье обсуждаемы», причем «пропуск статей в министерствах нисколько не освобождает их, цензоров, ни от обязанности строгого с их стороны рассмотрения статей, ни от ответственности за пропуск тех из них, кои по цензурным правилам не должны быть дозволяемы к печатанию» [Там же, с. 440—441].

Неудивительно, что после подобных циркуляров и распоряжений цензоры боялись любого упоминания о крестьянах в просматриваемых ими текстах. А. М. Скабичевский, посвятивший отдельную главу в «Очерках истории русской цензуры» изучению влияния цензуры на освещение в прессе крестьянского вопроса, отмечает, что «из Москвы, из редакций “Сельского благоустройства”, “Русского вестника” и “Русской беседы” присылались целые кипы рукописей, и большая часть устранима была от печати. Так, однажды (в 1859 г.) было прислано 14 статей, из них одобрено было всего 4 статьи, в другой раз из 12 — тоже всего 4, в третий раз из 9 — 3» [Скабичевский, с. 425]. Некоторые редакции сами отказывались от освещения крестьянского вопроса на страницах своих изданий. В апреле 1858 г. редакция журнала «Русский вестник» закрыла заведенный ею особый раздел, напечатав вместо него объявление, начинающееся со слов: «Редакция “Русского вестника” по некоторым обстоятельствам отлагает в этом номере, а может быть, и в следующем продолжение открытого ею отдела под заглавием “Крестьянский вопрос”...» [Цит. по: Там же, с. 422]. В 1859 г. перестал выходить журнал «Сельское благоустройство», полностью посвященный рассмотрению современных проблем, связанных с положением российского крестьянства. Его редактор Кошелев в последнем номере напечатал следующее объявление:

Выпуская наконец в апреле февральский номер «Сельского благоустройства», мы вместе с тем объявляем, что решились прекратить наше издание. Журнал, имеющий исключительно предметом крестьянское дело, так быстро у нас развивающееся, должен выходить своевременно: статьи запоздалые неминуемо утрачивают свое значение. Не имея возможности по причинам, совершенно от редакции не зависящим, выпускать книжки в срок и в надлежащем составе, мы предпочитаем отказаться от издания, чем представлять нашим читателям статьи не полные по содержанию и ослабленные поздним появлением... [цит. по: Скабичевский, с. 425].

Только за 4 дня до отмены крепостного права, 14 февраля 1861 г., появился циркуляр, который должен был решить бюрократическую проблему и сократить время рассмотрения предназначенных для печати материалов по крестьянскому вопросу. В соответствии с этим циркуляром предписывалось все статьи и сочинения «прежде пропуска их к напечатанию общей цензурой передавать на предварительное рассмотрение не Министерства внутренних дел, как это было до сих пор, но государственной канцелярии и пропускать к напечатанию только тогда, когда статьи сии будут одобрены государственным секретарем или тем из чиновников государственной канцелярии, который для этого будет им назначен» [Сборник постановлений, с. 457].

Отмена крепостного права не повлияла на степень свободы в обсуждении этого вопроса. В приложении к «Временным правилам по цензуре», утвержденным 12 мая 1862 г., особо оговаривались требования к цензуре статей по крестьянскому вопросу. Цензоры должны были «не допускать никакого порицания... высочайше утвержденных положений 19 февраля 1861 г....»; не допускать статьи, содержание которых переносит «разрешение крестьянского вопроса с сельскохозяйственной на политическую арену», и статьи, в которых «изла-

гаются мнения о принадлежащем будто бы крестьянам праве собственности на землю...» [Сборник постановлений, с. 472–473]. Кроме того, цензоры были обязаны «не допускать никаких резких и язвительных отзывов о настоящих отношениях между помещиками и их служителями, или бывшими крестьянами, и вообще не разрешать к печати никаких статей и рассуждений, которые могли бы возбуждать неудовольствие и раздражение одного сословия против другого» [Там же]. Делая обзор проблем крепостного права в отечественной и зарубежной историографии, В. С. Коновалов приходит к справедливому выводу, что «в дореволюционной историографии преобладают позитивные оценки, согласно которым на протяжении целых столетий у нас не было более важного акта, чем реформа 1861 г.» [Коновалов, с. 323]. Учитывая все законодательные акты и циркуляры, регламентирующие освещение в печати проблем крепостного права, можно с уверенностью утверждать, что подобное положительное мнение отечественных дореволюционных историков о реформах 1860-х гг. сложилось не без влияния цензуры.

О том, как влияла цензура на освещение в прессе проблем, связанных с крепостным правом, можно судить по воспоминаниям журналистов и редакторов, работавших в то время. В. Г. Короленко вспоминал эпизод, связанный с празднованием 25-летия отмены крепостного права. Накануне юбилея он заходил в редакцию «Русских ведомостей», сотрудники которой готовили материал, посвященный этому знаменательному событию, однако на следующий день, 19 февраля, газета не вышла. От сотрудников редакции В. Г. Короленко узнал, что, когда номер был сдан в набор и частично сверстан, в типографию сообщили требование князя Долгорукова ничего не писать о годовщине реформы. После личного визита к князю редактор «Русских ведомостей» В. М. Соболевский решил отказаться от выпуска газеты без статей о реформе, несмотря на предупреждение князя Долгорукого о том, что «невыпуск газеты он будет рассматривать как антиправительственную агитацию» [Цензура в России..., с. 189]. 19 февраля «только и было разговоров в интеллигентской московской среде, что о безмолвном юбилее и “невыходе” “Русских ведомостей”», — вспоминал Короленко [Там же, с. 190].

Иногда бдительность цензоров в отношении крестьянского вопроса приводила к курьезам. И. И. Ясинский вспоминал о том, как проходил через цензуру его роман «На заре новой жизни», в котором были изображены годы, предшествовавшие освобождению крестьян. Цензор Фрейман мотивировал запрет тем, что в романе выражается отрицательное отношение автора к крепостному праву, хотя и тридцати лет не прошло со времени его отмены. «По моему мнению, оно [крепостное право] не сегодня-завтра будет возобновлено. <...> Одним словом, я настолько убежден в этом, что не могу пропустить роман, который мне самому нравится. Имейте в виду, что я не крепостник по своим убеждениям, но я цензор», — заявил в беседе с автором Фрейман [Цензура в России, с. 135]. Инцидент был исчерпан, когда Ясинский обратился в цензурный комитет, где ему объяснили, что цензору Фрейману осталось всего полгода до пенсии, и если автор заберет свою жалобу, то роман будет напечатан. Описанный Ясинским эпизод — еще одно доказательство того, насколько

прочно закреплялся в сознании цензоров страх, связанный с упоминанием крепостного права.

Пятидесятилетний юбилей крестьянской реформы праздновало поколение людей, чье мировоззрение сформировалось уже после отмены крепостного права. В уральской прессе подробно освещался процесс подготовки и само празднование в России и на Урале. В февральских номерах газеты «Уральский край» сообщалось, что в Петербурге «городская дума постановила в память 19 февраля наименовать Михайловскую площадь и дворцовый мост площадью и мостом Царя-Освободителя» [Уральский край 1911, 15 февр.]; в Москве «выборные от купеческого сословия постановили в память 19 февраля учредить среднюю школу преимущественно для крестьян в купеческом доме и поставить бюст Царя-Освободителя» [Там же, 12 февр.]; в Екатеринославле «поставить памятник Царю-Освободителю и открыть ремесленное училище на 100 учеников» [Там же]; в Александровске (Екатеринославской губернии) «открыть двухклассное училище имени Царя-Освободителя с ремесленными классами» [Там же, 8 февр.]. 22 февраля в «Уральском крае» были опубликованы телеграммы петербургского агентства от 18, 19 и 20 февраля 1911 г., в которых освещались мероприятия, прошедшие в связи с празднованием юбилея в столице и других городах России. В Петербурге в Казанском соборе состоялось торжественное богослужение, а в круглом зале Таврического дворца — открытие памятника Александру II, сооруженного на средства 65 крестьян, членов городской думы. Кроме того, были напечатаны телеграммы, полученные из разных населенных пунктов России: «в Борисоглебске дума пожертвовала 500 р. комитету беспризорных детей и учредила две стипендии в гимназиях имени Царя-Освободителя, сложила часть недоимок»; «в Оренбурге дума постановила открыть училище»; «в Новгороде дума постановила учредить девять стипендий для детей крестьян в средних и городских школах»; «в Кунгуре дума решила открыть исторический музей на средства Летунова»; «в Киеве совершена торжественная закладка памятника царю-освободителю» и т. п. [Там же, 22 февр.]. Нужно отметить, что все новости посвящены описанию торжественных праздничных мероприятий: панихиды, закладка памятников, открытие новых музеев, учебных заведений и домов призрения, учреждение стипендий. Единственное исключение — заметка о том, как печатался в синодальной типографии манифест. Но и она основана на перечислении цифр и фактов: количество потраченной бумаги, использованных шрифтов, отпечатанных экземпляров и т. п. Никаких материалов, связанных с осмыслением крестьянской реформы, в прессе не появилось.

В местной хронике, размещенной на страницах февральских номеров «Уральского края», также освещались события, связанные с подготовкой и самим празднованием 50-летия отмены крепостного права: в Екатеринбурге «городская управа приступила к украшению памятника императору Александру II по рисунку художника Парамонова» [Там же, 16 февр.]; в Невьянске, Шадринске и в селе Бобровском было решено открыть памятник царю-освободителю Александру II [Там же, 15 и 19 февр.]; режевское общество постановило в этот день «отслужить в здании режевского волостного правления благодарствен-

ный молебен и панихиду по в бозе почившем царе-освободителе; приобрести... портрет императора Александра II для волостного правления и построить при православном кладбище дом для престарелых...» [Уральский край, 1911, 2 февр.]. Наиболее полный перечень запланированных мероприятий в виде открытия памятников, новых учебных заведений и учреждения стипендий и т. п. представлен в статье «Краевые заметки» [Там же, 19 февр.]. Местная хроника о праздновании 50-летнего юбилея в «Уральском крае» от 22 февраля была посвящена описанию мероприятий, проведенных в учебных заведениях: в основном это были торжественные богослужения и декламирование стихов, предполагаемая раздача учащимся книг и брошюр не состоялась.

Напечатанные в «Уральском крае» заметки позволяют сравнить, как планировалось празднование и что из этого удалось реализовать. Так, например, в январе 1911 г. Екатеринбургская городская управа предложила «учредить 10 стипендий для уроженцев города в будущем политехникуме, построить дома с дешевыми квартирами для вдов и сирот города и организовать в самый день пятидесятилетия народные чтения о сущности и значении Великой реформы 19 февраля 1861 года» [Там же]. Затем специально созданная для подготовки к празднику комиссия предложила начать торжество с молебна у памятника Александру II, потом провести в разных местах города народные чтения, украсить общественные и частные здания зеленью и флагами, приобрести для городских школ бюсты царя, раздать учащимся книги и брошюры [Там же]. Для ознаменования этого дня «чем-либо постоянным» было предложено «ассигновать на постройку здания для музея Уральского общества любителей естествознания 5000 рублей» [Там же]. Заканчивается статья «Как готовился Екатеринбург к чествованию пятидесятилетия 19 февраля 1861 года» словами: «Предполагалось чествование дня пятидесятилетия различными общественными организациями — музыкальным кружком, комиссией по устройству народных чтений при попечительстве о народной трезвости, обществом попечения о начальном образовании и проч.; предполагалось торжественное заседание думы с речами и рефератами. Но все это оставлено» [Там же].

Причины, по которым не удалось реализовать все планы, можно узнать из статьи «Соединенное заседание по вопросу о чествовании со дня 19 февраля 1861 года», напечатанной в «Уральском крае» за 13 февраля 1911 г. 11 февраля городской голова на объединенном заседании городской управы и учрежденных при ней организационной и лекторской комиссий доложил, что «чтения для народа могут быть разрешены не иначе как по представлении программ и рефератов уездному комитету по организации празднования и по одобрении этих программ как комитетом, так и начальником губернии» [Там же, 13 февр.]. При этом большая часть лекторов отказалась от участия в чтениях «вследствие стеснительных цензурных условий» [Там же]. Пока обсуждался вопрос, «можно ли читать готовые брошюры, статьи, стихотворения и прочее», на имя городского головы поступили от председателя уездного комитета два отношения: «Вследствие распоряжения г. пермского губернатора и согласно журнального постановления уездного комитета имею честь уведомить городскую управу, что брошюры Тулупова и Шестакова к раздаче и для чтения по

ним воспрещены»; «Согласно постановления уездного комитета имею честь просить сообщить мне для доклада комитету в заседании 13 сего февраля сведения о празднованиях городским самоуправлением 19 сего февраля дня пятидесятилетия освобождения крестьян от крепостной зависимости с приложением программ, а равно и брошюр и картин, предложенных к раздаче, а также о том, кто будет ответственным лицом по торжествам в каждом отдельном пункте» [Уральский край 1911, 13 февр.]. После прочтения этих документов было принято решение отказаться от проведения народных чтений, а также выполнения программы торжественного заседания городской думы 19 февраля в том виде, в каком оно планировалось изначально. В статье «Заседание городской думы» сообщалось, что 19 февраля в 7 часов 45 минут состоялось экстренное заседание городской думы под председательством городского головы А. Е. Обухова. Итогом этого совещания, на котором обсуждался только вопрос «об ознаменовании пятидесятилетия», стало постановление думы «ассигновать в ознаменование пятидесятилетия на содержание 10 кроватей в богадельне для хроников бывших городских мастеровых и их потомков, не имеющих средств и приписанных мещанскому обществу без приемных общественных приговоров» [Там же, 22 февр.]. Кроме того, 19 февраля состоялось торжественное заседание земского собрания, на котором было принято предложение городской управы «учредить кустарно-промышленный музей уездного земства в Екатеринбург» и «приветствовать деятеля освобождения крестьян от крепостного права графа Милютина телеграммой» [Там же, 23 февр.].

Также не были осуществлены планы по празднованию 50-летия отмены крепостного права в Музыкально-драматическом обществе г. Челябинска: «При представлении программы субботника на разрешение г. уездному исправнику Новоселецкому разрешение на чтение рефератов не последовало до предоставления текстов таковых, одобренных главным управлением по делам печати, и предложено было пропеть в начале празднования народный гимн, а также и другие патриотические песни и стихотворения» [Там же, 19 февр.]. Правление Музыкально-драматического общества предпочло отказаться от празднования юбилея вообще.

Из всех материалов, посвященных празднованию 50-летия отмены крепостного права, наибольший интерес представляет статья «Краевые заметки», в которой очень явно выражена позиция автора по отношению к описываемым торжествам [Там же, 19 февр.]. Перечислив все мероприятия, запланированные для празднования юбилея земскими учреждениями Пермской губернии, он дает оценку всему происходящему: «Молебны, панихиды, торжественные шествия при участии “истинно-русских” кликуш с их пресловутыми стягами, чтения по преподанной властью программе, парады, колокольный звон. В общем, фальшивое торжество квасного патриотизма, торжество исправников, приставов, околоточных, жандармов и пр. всех чинов и рангов прихлебателей бюрократии» [Там же]. Переходя от земских учреждений к описанию торжеств, запланированных в образовательной сфере, автор не перестает иронизировать: «Для учебных заведений, как, вероятно, помнят читатели, министерством затемнения выработана программа торжеств» [Там же]. В отличие от других коррес-

пондентов, автор этой статьи не забывает и о главном виновнике торжества — российском крестьянстве. На вопрос «Как празднует сегодняшний юбилей деревня?» он дает не менее ироничный ответ: «Вернее всего, деревня проведет юбилей так же, как проводит незначительные праздники. Она не волновалась, не ломала головы над решением вопроса о формах празднества, не готовилась к нему. Деревня дальновидна: она знает, что благопопечительное начальство позаботится о ней. И не ошиблась» [Уральский край 1911, 19 февр.]. В словах: «Народного торжества в деревне не может быть. Но зато деревня ставит памятники в ознаменование юбилея. Здесь она не скована в железные путы бюрократией», — автору удалось очень емко и точно выразить политику государства по отношению к проведению 50-летнего юбилея: пышные торжества без какой-либо рефлексии по поводу крестьянской реформы.

Празднование 50-летия со дня отмены крепостного права ознаменовалось на страницах уральской прессы публикацией художественных текстов, посвященных этому знаменательному событию. В «Екатеринбургских епархиальных ведомостях» было напечатано стихотворение священника Михаила Троицкого «Памяти Царя-Освободителя», в котором прославлялись все реформы, проведенные Александром II [Екатеринбургские епархиальные ведомости 1911, 19 февр.]. В «Уральском крае» появился отрывок из романа Д. Н. Мамина-Сибиряка «Три конца» — «Первый день свободы в Ключевском заводе» [Уральский край 1911, 19 февр.]. Редакция газеты «Заря жизни» разместила на своих страницах реферативный обзор опубликованных на страницах российских журналов произведений, в которых воспроизводятся сцены из жизни крепостных: воспоминания крепостной девушки, опубликованные в январском номере «Русской старины», воспоминания П. П. Гнедича о Д. В. Григоровиче, А. А. Потехине, П. И. Вейнберге и А. П. Чехове, напечатанные в январском номере «Исторического вестника», воспоминания Соломина о Н. С. Бобрищеве-Пушкине, размещенные в декабрьском номере «Исторического вестника» [Заря жизни 1911, 22 янв.].

Несмотря на то что крестьянский вопрос всегда был под пристальным контролем цензурных органов как до, так и после отмены крепостного права, именно в 50-летний юбилей его отмены это событие наиболее масштабно освещалось на страницах периодических изданий. По прошествии полувека живых свидетелей событий 19 февраля 1861 г. осталось очень мало, но в то же время воспоминания о жизни при крепостном праве еще передавались от поколения к поколению. П. А. Голубев, хорошо известный в конце XIX — начале XX в. публицист, автор статистических и исторических работ по Пермскому краю, в предисловии к рассказу «Введение воли», в основу которого легли записанные им истории очевидцев введения воли в Омутнинском заводе Вятской губернии, писал: «Исполняется 50 лет отмены крепостного права. Тяжелое это время со всеми ужасами произвола, истязаний и насилий отходит от нас вглубь истории. Этому нужно, конечно, только радоваться, но не нужно и забывать, что эти ужасы тяготели над нашими отцами и матерями, память о страдании и долготерпении которых для нас должна быть священна. Поэтому, радуясь отходу в вечность страшного кошмара, мы должны сохранить о нем для истории

и для назидания потомству рассказы очевидцев и свидетелей» [Голубев, с. 1]. Именно поэтому власть предпочла не замалчивать юбилей, как это произошло с 25-летием, а сделать из него масштабный национальный праздник. Об этом свидетельствуют выбранные правительством способы сохранения исторической памяти о проведенной в 1861 г. реформе: церковные службы и благотворительные акции в виде открытия музеев, учебных заведений, домов призрения и учреждения стипендий для учащихся — все, что вызывает чувство благодарности, но при этом не способствует критическому осмыслению прошлого. Именно эти мероприятия освещались на страницах российской и уральской прессы. В то же время проведение «народных чтений» по вопросам крепостного права хотя и не было запрещено, но должно было пройти через такой строгий предварительный цензурный контроль, что лекторы и организаторы заранее отказывались от проведения подобных мероприятий. Таким образом формировалось «правильное» отношение народа к своей истории, той истории, которая еще не стала далеким прошлым и вызывала в обществе бурные дискуссии. Когда наступило время 100-летнего юбилея со дня отмены крепостного права, в советских уральских газетах и журналах не появилось ни одного упоминания об этой дате. В качестве событий, достойных памяти современников, в Календаре журнала «Уральский следопыт», например, было предложено вспомнить первый номер вышедшего в Екатеринбурге сатирического журнала «Гном» (18 февраля 1906 г.), издание указа В. Н. Татищева об устройстве на Уктусе школы (25 февраля 1721 г.) и другие события, не имеющие никакого отношения к 1861 г. [Уральский следопыт, 1961, № 3, с. 78]. С одной стороны, вспоминать «ужасы крепостного права» и радоваться его отмене было уже некому, с другой — обращение к этой странице прошлого могло вызвать у проницательного советского читателя, привыкшего читать между строк, ненужные ассоциации с положением крестьян в СССР.

Голубев П. А. Введение воли. Рассказ заводского крепостного. Вятка, 1911. 28 с.
Заря жизни. 1911. 22 янв.

Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1911, 19 февр.

Уральский следопыт. 1961. № 3.

Коновалов В. С. Проблемы крепостного права в отечественной и зарубежной историографии : (обзор) // Реформа 1861 г. В истории России : (к 150-летию отмены крепостного права) : сб. обзоров и рефератов. М., 2011. С. 280–326.

Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб., 1862. 482 с.

Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры (1700–1863). СПб., 1892. 495 с.
Уральский край. 1911. [Февраль].

Цензура в России в конце XIX — начале XX века : сб. воспоминаний. СПб., 2003. 368 с.

Статья поступила в редакцию 12.05.2011 г.

РЕЦЕНЗИИ

А. С. Козлов

НОВОЕ ПОПУЛЯРНОЕ АМЕРИКАНСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ИСТОРИИ ПАДЕНИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Рец. на кн.: *Eratinger, J. W. The Decline and Fall of the Roman Empire / J. W. Eratinger. — Westport: Greenwood Press, 2004. — XXVI, 187 p. (Greenwood Guides to Historic Events of the Ancient World).*

Джеймс Уильям Эратинджер, профессор истории государственного университета штата Миссури (Southeast Missouri State University) известен прежде всего как автор недавно вышедших, весьма доступных широкому читателю работ о повседневной жизни ранних христиан: «Daily Life of Christians in Ancient Rome» (2007); «Daily Life in the New Testament» (2008), а также исследователь экономических реформ Диоклетиана, монографию о которых опубликовал в 1996 г. Рецензируемый труд — это не специальное научное изыскание, а скорее популярное пособие, попытка введения в историю поздней Античности, адресованная как для учебной аудитории (учащихся колледжей и студентов университетов), так и для иной публики, тем более что, как говорится в аннотации, помещенной на обложке книги, «an examination of this time is critical to anyone interested in politics and history». Об уровне предполагаемого адресата говорит и тот факт, что на первых же страницах, правильно констатируя понимание Рима его современниками не только как государства, империи, гражданской общины, но и как неразрывной целостности гражданской культуры и социально-политического идеала, Эратинджер апеллирует к взглядам главного героя фильма Ридли Скотта «Гладиатор» (2000) и к образу Марка Лициния Красса, блестяще сыгранного Лоуренсом Оливье в фильме «Спартак» (1960). Полагаю такой прием весьма неудачным, ибо даже оценка, даваемая Риму Крассом в указанной ленте («вечная мечта, ниспосланная богами»), слишком

спекулятивна, расплывчата и актуализирована мощью в 50–60-е гг. XX в. «американской мечты», включающей в себя «заботу» Америки об остальном мире.

Если учитывать этот факт, то понятен и заголовок книги Эратинджера (кстати говоря, довольно распространенный в разных своих вариациях в соответствующей подобному сюжету англо-американской научной и популярной литературе со времен Эдуарда Гиббона). В западноевропейском антиковедении последних лет, по моему мнению, преобладает подход к рассмотрению позднеантичной цивилизации в амбивалентном виде — как завершения, «поздней осени» того, что именовали *aureum saeculum*, и одновременно как становления нового, увертюры *dark ages*, где континуитет присутствовал наряду с дисконтинуитетом [см. об этом, в частности: Brandt, p. 7–8]. В современных англоязычных (прежде всего — американских) книгах акцент делается на процессах распада, нарастания слабостей цивилизационного иммунитета, важной стороной которых был рост импотенции вооруженных сил, наиболее способствующий угасанию Imperium Romanum. Сравнений такого рода процессов с актуальными проявлениями трудностей у тех современных политических сил, которые претендуют на конструирование однополярного мира, очень много как в политической публицистике, так и в историко-политологических изысканиях. В методологическом плане большинство таких исследований и суждений следуют социологизированной историософии, ярчайшим образцом которой в последнее время являются работы Пола Кеннеди [см.: Kennedy, 1989]. «Американскую империю ждет судьба Римской?» — задается, например, вопросом Пирс Брендон в «The New York Times» за 25 февраля 2010 г. «США сегодня являются зеркальным отражением Римской империи в период хаоса. Виновны ли в этом наше обрюзгшее правительство, жадная элита или летаргическое население, схожесть двух ситуаций предвещает ужасное будущее», — пишет 1 апреля 2010 г. на сайте Bloomberg.com Марк Фишер, автор книги «Логический трейдер», основатель MBF Asset Management LLC. Есть, однако, по данному сюжету размышления и совсем иного рода. В резюме на обложке нашумевшей работы К. Мерфи ««Рим мы или не Рим? Падение империи и судьба Америки» говорится: «Сегодня мы меньше сосредоточиваемся на Римской республике, чем на империи, которая заняла ее место. В зависимости от того, кто ведет речь, история Рима подается либо как триумфальный призыв к действию, либо как жуткий разогрев неизбежного краха». Дж. Эсенбэч в рецензии на эту книгу в «The Washington Post» от 2 сентября 2007 г., следуя за пафосом автора, отмечает: «Американцам повезло иметь сильную конституцию, разнообразие культур, обильные ресурсы и открытое общество. Я считаю, что мы можем решать наши проблемы. Так же считает и Мерфи, размышления которого о Риме и Америке заканчиваются на оптимистичной ноте. Он пишет, что главной характеристикой Америки является вера в то, что улучшения возможны». Действительно, по мнению Мерфи, «Америку совсем не обязательно ждет судьба Рима. Благодаря спасительному умению самообновляться, она вряд ли дойдет до той степени застоя, который постиг Римскую империю. Гений Америки в том, что она способна добавить в комплект своих планов даже перспективу падения. Америка — это непрерывный про-

цесс, который, помимо всего прочего, сознательно включает в себя элементы революционных перемен» [Murphy, p. 256].

Сказанное частично помогает понять рост жгучего интереса в англоязычном антиковедении именно к поздней Античности (особенно в условиях мирового экономического кризиса, актуализировавшего работы типа П. Кеннеди или К. Мерфи) и пафос (а также содержание) собственно работы Эратинджера, чья идейная составляющая, на мой взгляд, весьма сопрягается с идеями Мерфи.

Собственно обзор факторов, которые в совокупности составляли ткань упадка позднеантичной цивилизации, конца империи на Западе и изменений ее позднеантичной структуры на Востоке, составляет в книге Эратинджера около 90 страниц (включая введение, обосновывающее значимость избранной тематики и структуру книги), причем порядок основных пяти глав-эссе выдержан вполне в позитивистской методике («Позднеримская культура», «Общество и экономика поздней Античности», «Религиозный конфликт в христианском Риме», «Враги Рима», «Почему и когда пал Рим»). При этом обнаруживаются содержательные нестыковки. Констатация факторов позднеантичного упадка начинается с финала династии Северов (с чем, в принципе, можно согласиться), но завершается началом правления Юстиниана I (с чем согласиться трудно, ибо внутреннее развитие Средиземноморья при Юстиниане, включая тупиковость экспансии на Запад, истощившей силы империи, и особенно многие конкретные нюансы внутренней политики этого императора являются классическими показателями кризиса и упадка античной цивилизации). Рамки же главы о позднеримской культуре (понимаемой как маркер, основа цивилизации, область деятельности, главный смысл которой — самовыражение человека, проявление его субъектности, прежде всего в творчестве и повседневной практике, что также можно принять) — 250–500 гг. (р. 1–16).

Но дело не только в этом. Эратинджер делает акценты на ряде знаковых событий, которые явно имели разный смысл в бытии поздней Античности. Если, например, поражение Валента под Адрианополем, взятие Рима вестготами и смещение Ромула Августула — безусловные показатели распада империи, то вступление на престол Диоклетиана и основание первой тетрархии — скорее признаки успешного преодоления кризисных явлений. Что же касается победы Константина в битве у Мульвийского моста и кровавой бани, устроенной Константином II для членов собственной фамилии, то увязать их с процессами *decline and fall*, на мой взгляд, весьма затруднительно.

Не менее спорно подчеркивание значимости событий 324 г. (или, как пишет автор, «несколько более ранних») для приведения в движение сил, ведущих к упадку империи (р. XXIV). Конечно, роль христианизации как фактора, разъедающего структуру античной цивилизации, со времен Гиббона то и дело фиксируется западной исторической мыслью. Но, полагаю, на сегодняшний день уже достаточно исследований, чтобы отказаться от тезиса об эпохальности Миланского эдикта или капитуляции Лициния в 324 г., ибо ничего принципиального для процессов упадка империи эти события не внесли [см., например: Barnes, p. 71–73, 76; Van Dam, p. 11 ff.].

В этом отношении, конечно, можно только приветствовать корректность составления Эратинджером комментированного перечня наиболее значимых для позднеантичной цивилизации персоналий (р.75 – 106), что, конечно, вполне выполнимо для англоязычного автора, располагающего таким великолепным изданием как «The Prosopography of the Later Roman Empire» А. Джонса, Дж. Мартиндейла, Дж. Морриса. Упущение таких личностей, как папа Лев I, Одоакр и ряд других (особенно из интеллектуальной, писательской или богословской сферы), достижению целей книги не мешает, ибо принципиальные фигуры имперской истории эпохи заката все же налицо. Не менее корректно выполнены глоссарий избранных терминов и индекс. Весьма репрезентативна для работы такого рода и аннотированная библиография – естественно, англоязычная, где труды Э. Гиббона и его последователей занимают почетное место (р. 167–182).

Что, однако, весьма показательно для методики Эратинджера, так это «Primary documents illustrating Late Rome» – своего рода хрестоматия, призванная, с одной стороны, документально подтвердить высказанные им выше тезисы, а с другой – продемонстрировать историко-антропологическую составляющую социальной, политической и религиозной жизни позднеантичного мира (р. 107–158). Чем страдают наши российские хрестоматии по античной истории и уж тем более по такому ее разделу, как поздняя Античность, так это очень слабым удельным весом документации, показывающей человека в контексте эпохи. Среди представленных Эратинджером отрывков из эпистолярного комплекса, церковных документов и извлечений из церковных и светских авторов, юридических эксцерптов и прочих весьма ожидаемых материалов почти не встретишь привычных для российского студента или специалиста постановлений из Кодекса Феодосия или из Кодекса и Дигест Юстиниана о разных категориях рабов, колонов, куриалов и пр. Зато, например, из ряда документов, извлеченных из оксиринских папирусов, можно прочесть об отношении некоторых должностных лиц в 323 г. к гимнастическим состязаниям или о реалиях частной сельской жизни (р. 119 ff.). Из материалов «Варий» Кассиодора можно прочесть письмо короля Теодориха к префекту претория Фавсту об организации цирковых состязаний. Целый раздел документов посвящен гонениям на христиан и иных инакомыслящих. Поэтому удивляешься сдержанности автора в объеме представления живых свидетельств такого явления, как Christianity (р. 125–128), тем более что последующий раздел («The Church's Supremacy») его органически не совсем продолжает, будучи посвящен вопросам организации церкви и противоречиям внутри нее (р. 129 и след.). Документы даны в переводах на английский, выполненных в разное время (в том числе и на рубеже XIX–XX вв.) и помещенных в таких изданиях, как «Readings in European History» Дж. Х. Робинсона, «Documents Illustrative of the History of the Church» Б. Дж. Кидда, «Readings in Ancient History» В. С. Дэвиса и т. п. Иначе говоря, комплектация такого рода материала по самому своему способу весьма напоминает приемы составления наших отечественных хрестоматий.

- Brandt H.* Das Ende der Antike. Geschichte des spätrömischen Reiches. München, 2007.
Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. N. Y., 1989.
Murphy C. Are We Rome ? : The Fall of an Empire and the Fate of America. Boston, 2007.
Van Dam R. The Roman Revolution of Constantin. Cambridge, 2007.

Рецензия поступила в редакцию 27.12.2010 г.

О. В. Зырянов

ЭСТЕТИКА СЛОВЕСНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ГЛАЗАМИ ДОНЕЦКОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Рец. на кн.: Кравченко О. А. Категория возвышенного: эстетика и поэтика : монография / О. А. Кравченко. — Донецк : Изд-во ДонНУ, 2011. — 344 с.

Еще в 1924 г. в рукописи своей программной статьи «К вопросам методологии эстетики словесного творчества» М. М. Бахтин утверждал: «Поэтика, лишенная базы систематико-философской эстетики, становится зыбкой и случайной в самых основах своих. Поэтика, определяемая систематически, должна быть эстетикой словесного художественного творчества. Это определение подчеркивает ее зависимость от общей эстетики» [Бахтин, с. 268–269]. Приведенное высказывание известнейшего ученого порождено историческим контекстом полемики с формальным методом в искусствознании и филологии, который, по мнению Бахтина, не проводил различия между композиционными и архитектурными формами, тем самым серьезно редуцируя природу эстетического объекта, по сути, сводя его к тексту как «материальному произведению». Заметим, что бахтинское утверждение до сих пор не потеряло своей актуальности: и в современной филологической науке продолжают конкурировать, с одной стороны, направления структурно-семиотического исследования с их явной установкой на лингвоцентризм, а с другой — опыты семиоэстетического анализа (В. И. Тюпа), в том числе и онтологической поэтики, успешно разрабатываемой учеными донецкой филологической школы.

В том, что такая научная школа существует и имеет «лица не общее выражение», убеждает целый ряд обстоятельств: образование в Донецком университете еще в 1966 г. кафедры теории литературы, наличие бессменных научных лидеров (М. М. Гиршман, В. В. Федоров) и творческого коллектива единомышленников, осуществляющих связь поколений; внушительный корпус теоретико-методологических и историко-литературных работ, крупнейшее число проведенных научных конференций и защищенных диссертаций. В пользу особого статуса Донецкой филологической школы свидетельствует и сама ее история, ставшая предметом научно-критической рефлексии в целом ряде

очерков настоящего «летописца» данной школы — А. А. Кораблева [см.: Кораблев, 1997; 1999; 2000; 2006; 2007].

Показательно, что, развиваясь в тесных и дружеских контактах с Институтом мировой литературы РАН (Москва) и сибирской школой исторической и теоретической поэтики (Кемерово, Новосибирск), донецкая филологическая школа всегда демонстрировала некую избирательность в отношении того или иного комплекса научных идей и теоретико-методологических парадигм. Так кажется не случайным, что «идея “исторической эстетики”, вдохновлявшая сибиряков, на донецкой почве не прижилась» [Кораблев, 2008, с. 209]. Донецкий филологический «топос», как можно предположить, изначально был запрограммирован на другой комплекс идей, инспирированный прежде всего его отцами-основателями.

Во-первых, это теория художественной целостности М. М. Гиршмана, активного приверженца принципов гегелевской диалектики, выражающего пафос устойчивых и равновесных начал, сочетающих эстетику и поэтику в некое гармоническое единство. Во-вторых, это «филология общего дела» В. В. Федорова с его провоцирующим испытанием (или «оправданием») самих пределов филологической науки и предпринимаемым сверхусилием по трансцендированию в сферу чистой философской онтологии. Можно сказать, что именно между этими двумя «полюсами» — как между крайностями аполлонического и дионисического начал — залегает научно-теоретическое поле донецкой филологической школы, всякий раз получающее от этих указанных полюсов свою энергетическую подпитку. Не удивительно, что все современные достижения школы несут на себе, как родимые пятна, печать указанных интеллектуальных «полюсов», неизгладимые свидетельства их идейно-кровного родства. На фоне вышедших в последнее десятилетие замечательных книг донецких ученых [см., например: Гиршман, 2002, 2007; Кораблев, 2001, 2008; Домашенко; Федоров] не стало исключением и новейшее исследование О. А. Кравченко, выполненное в лучших традициях донецкой филологической школы.

Предпринятая в монографии О. А. Кравченко теоретическая концептуализация возвышенного осуществляется «в перспективе встречного движения эстетики и поэтики» (с. 6). От онтологии возвышенного к вырастающей на ее основе поэтике — так можно было бы определить концептуальную логику рецензируемой работы, для которой в качестве важнейшего методологического ориентира принята эстетика словесного творчества М. М. Бахтина с ее принципами транспонирования эстетической проблематики в поэтические закономерности архитектурно-композиционных форм.

Книга О. А. Кравченко уже при самом первом, приблизительном знакомстве с ней обнаруживает наглядное родство с проблемно-теоретическим комплексом донецкой филологии. Так, заявленный автором во введении онтологический вектор в осмыслении категории возвышенного самым последовательным образом выдерживается на протяжении всего дальнейшего хода монографии. В содержательной композиции книги успешно используется принцип диалектической триады (три основные главы, по три параграфа в каждой главе), что столь показательно, например, для научного редактора книги

М. М. Гиршмана. Если говорить о самой трактовке категории возвышенного, то она — почти совсем в федоровском духе — репрезентируется как «уникальный поэтический опыт духовного самопревышения» (с. 9). Напомним, что в «эстетике трансцендирования» В. В. Федорова субъект творческого бытия претерпевает «высокие степени интенсивности и напряжения», тем самым повышая и «свой онтологический статус» [Федоров, с. 26].

Положение категории возвышенного в системе других, более традиционных, эстетических категорий (прекрасное, гармоническое, трагическое, ироническое и т. п.) всегда отличалось своей нестандартностью, если не сказать больше — парадоксальностью. Как справедливо отмечает О. А. Кравченко, в отличие от других эстетических категорий (более частного порядка) возвышенное входит сразу же в состав всех архитектурных форм, выступая по отношению к ним как *метакатегория*, содержащая в себе сам принцип эстетического бытия, т. е. возвышения жизненной реальности до реальности внежизненной, или сферы абсолютных ценностей. В этом-то плане возвышенное как раз и обуславливается уникальным «опытом духовного самопревышения» личности художника-творца, что заставляет само произведение, понятое как эстетический объект, рассматривать в качестве «манифестации возвышенного» (с. 7).

Автор рецензируемой монографии исходит из философско-эстетического контекста, акцентирующего востребованность проблемы возвышенного в современных условиях. С точки зрения О. А. Кравченко, актуальность обращения к данной категории в эстетике кризисного XX столетия продиктована целым рядом обстоятельств, но, пожалуй, важнейшее из них — признание возвышенного, по сути, «единственно возможным модусом существования искусства на фоне гуманитарных катастроф» (с. 5). Как справедливо показывает автор, «ренессанс» возвышенного в новоевропейской эстетике был подготовлен травматическим опытом Второй мировой войны и вытекающим из него разочарованием в гармонизирующем потенциале искусства.

Принятый исследователем еще во введении оригинальный ракурс в рассмотрении категории возвышенного в дальнейшем (что демонстрирует содержание 1-й главы) открывает свободную дорогу систематическому освоению этого эстетического феномена, но, как ни странно, с конца — с искусства «после Освенцима», с проблематики возвышенного в философии Т. В. Адорно и Ж.-Ф. Лиотара. «Негативная диалектика» Теодора Адорно привлекла исследователя, надо полагать, прежде всего своей провокативной силой. Чего стоит хотя бы один столь часто цитируемый афоризм мыслителя: «После Освенцима нельзя писать музыку». Конечно, его не стоит понимать в том смысле, как это, может быть, пророчески прозвучало в тревожном предупреждении Гоголя из сборника «Арабески»: «Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?» Скорее, смысл приведенного афоризма заключается в том, что самый катастрофизм бытия только усиливает «духовную тягу» искусства, необходимость гармонического жизнеутверждения.

Развитие заявленной Т. Адорно философско-онтологической проблематики, своего рода имплицитной философии возвышенного прослеживается дальше на материале «нерепрезентативной эстетики» Жана-Франсуа Лиотара. Само

название лиотаровской эстетики, фиксирующей, может быть, основной парадокс возвышенного, получает здесь свое подтверждение в том, что «возвышенное направляет сознание на нечто абсолютное, следовательно, отрицает саму возможность представлять, связывать и соотносить» (с. 34). Значение Лиотара, как показывает О. А. Кравченко, как раз и состоит в том, что он кардинально повернул эстетику возвышенного с путей греко-европейской рациональности на путь еврейского аффектированного пафоса, осуществил переоценку самой сущности искусства, заключающейся в освобождении от задач подражания (мимесиса) и усилении смысла душевного волнения, своего рода «духовного чувства». В этом следовании концепции возвышенного Эдмунда Бёрка (в противовес устоявшемуся влиянию И. Канта), в своего рода переориентации с Канта на Бёрка и открывается, по Лиотару, путь к художественным экспериментам эпохи авангарда (об этом еще придется вспомнить в связи с разговором о творчестве Гоголя и его осмыслении в художественной культуре модернизма).

Произведенная Лиотаром актуализация современных смыслов в категории возвышенного приводит к тому, что в основу эстетического (как ведущая тенденция его понимания) кладется идея внечувственного бессознательного аффекта, принцип актуализации проблематики непредставимого в ситуации «после Освенцима». Вместе с тем задается и единственно правильный вектор понимания эволюции возвышенного. В этом контексте уже не кажется странной логика движения исследовательской мысли от эстетики катастрофического XX столетия к ее прямым и непосредственным истокам, обнажающим фундаментальные различия греко-римской и еврейской (ближневосточной) культур, кардинальное противостояние поэтике классического айтесиса — возвышенной аффектации анестетики (с. 45). С опорой на работы С. С. Аверинцева, М. Л. Гаспарова и других устанавливается, что греческой «участи» противопоставит библейская стихия постоянно длежащегося вопрошания, «мировая незавершенность и человеческая непредрежденность», лежащие в основе «напряженного библейского психологизма» (с. 51). Отсюда становится понятно, что возвышенное вообще не имеет коррелятивной пары ни с одной из эстетических категорий античной эстетики: мера, симметрия, гармония, мимесис, катарсис и пр. не образуют с возвышенным ни положительных, ни отрицательных коннотаций.

Как справедливо отмечает О. А. Кравченко, возвышенное как эстетическая категория возникает в ситуации встречи греческого космологизма и ближневосточного историзма, что, к примеру, наглядно демонстрирует трактат Псевдо-Лонгина «О возвышенном», отразивший закономерности греко-иудейского культурного взаимодействия и потому занимающий достаточно уникальное место в истории европейской поэтики и эстетики. Сфера страсти, экстатического состояния как духовного напряжения и потрясения входит в состав возвышенного как негреческое по своей природе содержание. Именно духовные источники, питающие возвышенное и утверждающие пафос в значении духовного порыва, переводят категорию возвышенного за пределы риторической системы. По словам О. А. Кравченко, «возвышенность образа для Псевдо-Лонгина задается его безмерностью, а значит, не-наглядностью, не-представи-

мостью и несоизмеримостью с человеческим масштабом» (с. 70), иначе говоря, «переводом жизненной реальности в аспект вселенских масштабов и сверхжизненных смыслов» (с. 73). В целом значение трактата Псевдо-Лонгина усматривается в синтезе ветхозаветной и античной культур — с одной стороны, и риторической и эстетической проблематики возвышенного — с другой. В этом, собственно говоря, и состоит его неумирающее значение, проясняющее как истоки всех современных концепций возвышенного, так и логику его дальнейшего развития в работах Н. Буало, Э. Бёрка, А. Баумгартена, И. Винкельмана, Ф. Шиллера, И. Канта, В.-Ф. Шеллинга, Н. Гартмана и др. Практически у всех вышеперечисленных эстетиков в концепции возвышенного просматривается определенная степень апофатизма, а само возвышенное выступает как «особое состояние субъекта» (с. 91), которому «чуткие души» даже отдают предпочтение перед простым наслаждением прекрасным.

Вторая глава («Метапоэтическая перспектива исследований возвышенного») может рассматриваться как центральная и основополагающая для данного монографического труда. Осуществленный в ней анализ структуры эстетического объекта с опорой на классический трактат Бродера Христиансена «Философия искусства» позволил О. А. Кравченко сделать вполне обоснованный вывод о возвышенном как реализации эстетического объекта. Искусство, по мнению Б. Христиансена, это «самооткровение абсолютного в человеке», поэтому истинное призвание художника состоит в открытии для человека внежизненного плана его существования, в освобождении его личности от подчиненности жизненному инстинкту. В таком случае возвышенное напрямую «соотносимо со смыслом искусства как таковым, всякое великое и серьезное искусство осуществляется в этой категории» (с. 125).

Как показывает О. А. Кравченко, реализацией «живой связи» с эстетическим «пратекстом» Б. Христиансена становится теоретико-литературный трактат М. М. Бахтина «К вопросам методологии словесного творчества» (1924), цитатой из которого мы позволили себе начать нашу рецензию. Акцентированный Христиансеном онтологический потенциал возвышенного позволил Бахтину обосновать принцип «божественности художника — в его приобщенности вненаходимости высшей» и тем самым подтвердить, что «бытийственно возвышенный уровень... представляет собой проблемную сферу современного литературоведения» (с. 136). Использование новейшей терминологии «метахудожественности» (Н. К. Гей), представляющей «от целостности бытия в слове» и тем самым определяющей природу творческого сознания художника, позволило О. А. Кравченко существенно уточнить задачи онтологической поэтики, или, иначе говоря, такой сферы возвышенного в литературоведении, которая «и есть реализация “мета-” как принципа превышения поэтики аристотелевского типа» (с. 146).

Таким образом, поэтика возвышенного, по словам автора рецензируемого труда, становится «“пробным камнем” нового, “неклассического” литературоведения» (с. 164), той метапоэтики, которая успешно преодолевает императив сциентистской установки, обуславливая саму природу композиционно-архитектонических форм, представляя едино-смысловой характер онтологии

«последнего целого». Но как раз в этой области триединого синтеза онтологии, эстетики и поэтики филолога поджидают самые неожиданные затруднения. Вопрос о реализации возвышенного в конкретных поэтических произведениях, о том, как возвышенное «входит» в эстетический объект, а значит, при помощи какого инструментария может быть уловлено, так до конца остается непроясненным. По мнению О. А. Кравченко, актуализация литературоведческой проблематики возвышенного «порождает не только множественность поэтических реализаций этой категории, но и плюрализм в понимании его смыслового ядра» (с. 151); «поэтика возвышенного в его метакатегориальной онтологичности, т. е. в аспекте метахудожественном, продолжает оставаться сферой, представление о которой соотносимо лишь с видимой частью айсберга» (с. 164). Осложняет положение дел и господствующая в современной филологии ситуация методологической нестабильности, «растворения» поэтики в смежных контекстах культуры, что нередко переводит разговор об онтологической поэтике из области конкретно-практического анализа в сферу субъективной эссеистики или абстрактно-философских спекуляций.

Демонстрацией оригинального опыта метапоэтики возвышенного в творчестве Н. В. Гоголя предстает третья (заключительная) глава исследования. Выбор классического писателя, который своим неповторимым положением между классикой и авангардом predetermined неклассические доминанты последующего литературного развития и интенсивно-плодотворные формы «символистской» рецепции собственного творчества, представляется далеко не случайным¹. «Негативная эстетика» Гоголя — поистине воплощенный парадокс: при том, что предмет его творчества, как известно, «пошлость пошлого человека» (А. С. Пушкин), сам писатель являет собой ярко выраженный тип «поэта возвышенного». В этом плане возвышенное у Гоголя может быть понято как «непостижимая ни внешними, ни внутренними чувствами трансцендентность» (с. 177). Даже сама апокалиптичность гоголевской «поэтики отрицательного» находит свое, пожалуй единственное, объяснение в присутствующей данному художнику «жажде возвышенного». Опираясь на достижения современных российских и зарубежных гоголеведов (С. Бочаров, М. Вайскопф, Ю. Манн, В. Маркович, С. Шпикер, С. Франк, С. Фуссо, М. Ямпольский и др.), О. А. Кравченко удается уточнить эстетическую природу возвышенного у Гоголя, обобщить ее в цельную литературоведческую концепцию. Так, архетип гоголевского возвышенного возводится ею к «лестнице в небеса, генетически восходящей к библейскому образу видения Иакова» (с. 187); в своем предельном выражении возвышенное предстает как «парализующая человеческие чувства явленность божества» (с. 188). Попутно обнаруживается связь возвышен-

¹ Насколько важны правильно выбранные эстетические критерии и онтологические ориентиры в практике конкретных историко-литературных и поэтологических штудий, свидетельствует изданный в Донецке литературоведческий сборник «Так как же сделана “Шинель” Н. В. Гоголя?», посвященный 200-летию со дня рождения писателя и объединивший в своем составе многочисленные работы филологов из Украины и России. Редактором сборника выступила О. А. Кравченко [см.: Литературоведческий сборник].

ного с демоническим началом, а также с «ситуацией онтологического возвышения человека» (с. 218), что находит свое объяснение во внутреннем дуализме собственно возвышенной страсти. В качестве закономерного вывода в работе О. А. Кравченко следует тезис о «внутренней конфликтности» проблематики возвышенного у Гоголя, вызванной метапоэтическим содержанием оппозиции *пафос* — *парентис*, или *истинного* и *ложного* возвышенного. Прикрепленность человеческой страсти к высокому или низменному предмету актуализирует сюжет «духовного роста героя» в произведениях Гоголя, формирует присущую данному автору «стратегию утверждения высшей ценности как влекущей героя страсти» (с. 224).

Осуществленное в следующих параграфах главы обращение О. А. Кравченко к опыту символистской рецепции творчества Гоголя — через призму гоголевских работ Андрея Белого и Вяч. Иванова — призвано подчеркнуть важную для концептуальной логики исследования динамику — движение от произведения как эстетического объекта к стилю и культуре. При этом онтология стиля в контексте монографии А. Белого «Мастерство Гоголя» понимается как реализация возвышенного, а проблематика зиждущей формы (*forma formans* в отличие от *forma formata* у Вяч. Иванова) напрямую соотносится с задачами эстетической метафизики (ср. у Вяч. Иванова: «Сочетаются двое третьим и высшим»), в свете которой возвышенное предстает как «символическая лестница, сочетающая в высшем» (с. 312).

Однако осмысление зиждущей формы как возвышающего пафоса, порождающего произведение, как воплощения возвышенного на метапоэтическом уровне в конечном счете подтверждает несостоятельность самой идеи «имманентной поэтики возвышенного»: «Подобно тому, как символ не может быть инструментом “эмпиризма”, возвышенное (как соборность) не может иметь стабильных поэтологических соответствий» (с. 311). Отсюда вытекает и радикальный вывод итогового характера, граничащий с апофатизмом: «Метапоэтический уровень изучения возвышенного... ориентирован на “целое” как чувственно не конкретизируемую бытийную первичность. В то же время он актуализирует онтологическую составляющую современного литературоведения. Метапоэтика — это не “школа” и не методика с готовым инструментарием. Речь идет о фундаментальном единстве разных концепций, концентрирующихся не на однозначности “мертвого теста”, а на бытийном импульсе “живого слова»» (с. 321). Таким образом, подтверждается, что возвышенное — это прежде всего метакатегория, не имеющая поэтических конкретизаций, но серьезно проблематизирующая границы (или пределы) самого искусства.

Как видим, в столь решительно демонстрируемой О. А. Кравченко приверженности онтологической проблематике и одновременно установке на синтез поэтики и эстетики проявляется уже знакомая нам по опыту донецкой филологической школы дихотомия разнонаправленных тенденций. Первая из них — тенденция к *имманентизации*, или установка на собственно поэтологический анализ, решение задач имманентной поэтики, тогда как вторая — тенденция к *трансцендированию*, или выход в область метапоэтики, в сферу чистой философской онтологии. Именно в драматической ситуации

противоборства указанных сил, в индуктивном поле, образуемом этими двумя крайними полюсами, разыгрывается сценарий занимательной филологической задачи, решаемой О. А. Кравченко. Ориентация на предельные возможности филологии (позиция «мета-»), что вообще типично для духа донецкой филологической школы, выдает исконное устремление исследователя к созданию своего рода «поэтической» футурологии, или литературоведения особого типа — онтологической, метафизической, метахудожественной поэтики, содержательные критерии которой удивительным образом сближаются с целями и задачами религиозной филологии (см.: Кораблев, 2002).

Не случайно возвышенное у О. А. Кравченко сближается с категорией соборного. Оправдывает это и особый стиль научного изложения, предпринятый в рецензируемой монографии: принцип реферативного освещения материала (один только список использованной литературы насчитывает 234 позиции) удачно дополняется критической авторефлексией, что открывает совершенно новые перспективы исследовательской мысли. Пожалуй, в этом и заключается соборность филологического труда, обеспечивающая возделанный путь к теоретико-литературной объективности, но сама достигаемая исключительной ответственностью каждого здесь и сейчас работающего литературоведа. Лучше всех об этом поведал миру основоположник донецкой филологической школы, словами которого вполне правомерно завершить нашу рецензию: «Внутренняя установка на ответственность единственной личности лицом к лицу с другой, такой же единственной, и многими другими на основе единства — множественности — единственности человеческой жизни, определяет то “место”, тот реальный опыт, в котором “собираются” и проясняются взаимосвязи диалогических идей — литературного произведения — литературоведческой деятельности» [Гиршман, 2002, с. 518—519].

Бахтин М. М. К вопросам методологии эстетики словесного творчества // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1 : Философская эстетика 1920-х годов. М., 2003.

Гиршман М. М. Путь к объективности // Гиршман М. М. Литературное произведение: теория художественной целостности. М., 2002.

Гиршман М. Очерки философии и филологии диалога. Донецк, 2007.

Домашенко А. В. Интерпретация и толкование. Донецк, 2000.

Кораблев А. А. Донецкая филологическая школа. Опыт полифонического осмысления. Донецк, 1997.

Кораблев А. А. Донецкая филологическая школа. Пушкинский выпуск. Донецк, 1999. Вып. 2.

Кораблев А. А. Донецкая филологическая школа. Традиции и рефлексии. Донецк, 2000. Вып. 3.

Кораблев А. А. Донецкая филологическая школа. Контакты и контексты. Горловка, 2006. Вып. 4.

Кораблев А. А. Донецкая филологическая школа. Ретроспекции. Горловка, 2007. Вып. 5.

Кораблев А. А. Поэтика словесного творчества. Системология целостности. Донецк, 2001.

Кораблев А. А. О религиозности и научности филологического знания // Литературоведческий сборник. Вып. 11. Донецк, 2002. С. 9—26.

Кораблев А. А. Пределы филологии. Новосибирск, 2008.

Литературоведческий сборник. Вып. 37/38 : Так как же сделана «Шинель» Н. В. Гоголя. Донецк, 2009.

Федоров В. В. Оправдание филологии. Донецк, 2005.

Рецензия поступила в редакцию 13.06.2011 г.

И. А. Семухина

ЛИТЕРАТУРА УРАЛА СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОЙ ЖАНРОЛОГИИ

Рец. на кн.: Эволюция жанров в литературе Урала XVII–XX вв. в контексте общероссийских процессов / О. В. Зырянов, Т. А. Снигирева, Е. К. Созина [и др.]. – Екатеринбург : Изд-во УрО РАН, 2010. – 552 с.

Исследование художественной специфики и эволюции литературы Урала является предметом научных изысканий уральских ученых не одно десятилетие: в течение двадцати лет на базе Уральского государственного университета и Института истории и археологии УрО РАН проводится научная конференция «Дергачевские чтения. Русская литература: общенациональное развитие и региональные особенности»; вот уже семь лет реализует свою работу конференция «Литература Урала: история и современность», нацеленная на создание академической истории уральской литературы; материалы конференций отражены в серии научных сборников. Предлагаемое новое исследование осуществлено в рамках интеграционного проекта УрО РАН – СО РАН «Эволюция жанров русской литературы XVII–XX вв. и региональные традиции Урала и Сибири».

Новый коллективный труд уральских ученых представляет особый интерес. И связано это не только с освещением малоизученного или открытием совсем неизученного художественного материала. Одна из важнейших задач регионального литературоведения последних лет заключалась в поиске единой методологической базы, исследовательского инструментария, который бы позволил сформировать целостный взгляд на литературу Урала. Основную цель представляемого монографического исследования авторы введения (Т. А. Снигирева и Е. К. Созина) видят в стремлении «проследить эволюцию жанров русской литературы периода ее бытования на Урале и частично в Сибири в XVII–XX вв., выявить специфику развития жанров формирующейся региональной литературы и по возможности определить ее место и роль в жанровой системе общерусской литературы» (с. 7).

Жанровый аспект отнюдь не случаен для коллектива авторов рассматриваемого издания, что доказывает рассмотренная А. А. *Кораблевым* в рамках специальной главы история научных школ региональной жанрологии Урала и

Сибири. Так, история сибирской жанрологии отмечена последовательным перемещением теоретического центра (Томск — «круг Ф. З. Кануновой», Кемерово, Новосибирск — «круг Е. К. Ромодановской»). Основным центром уральской жанрологии ученый признает Екатеринбург («круг Дергачева» и «круг Лейдермана»). Жанровый вектор описания эволюции литературной эпохи обеспечивает монографии единство концепции (изучение регионального литературного процесса с точки зрения жанровых стратегий и практик) и научного сюжета — «Проблема взаимодействия жанровых систем региона в их соотносительности с общероссийским литературным процессом» (с. 548). Концептуальное единство отразилось уже в стройной монографической структуре книги, включающей теоретическую часть и разделы, освещающие жанровую динамику регионального историко-литературного процесса с момента его зарождения на Урале до наших дней.

Целесообразность теоретического раздела в рамках данного издания продиктована потребностью в систематизации накопленного современного научного опыта (в том числе и регионального) в области типологии жанров отечественной литературы. Методологической базой коллективной работы стали научные изыскания представителей уральской (О. В. Зырянов) и донецкой (А. А. Кораблев, Б. П. Иванюк) филологических школ.

Отмечая, что в отечественном исследовании категории жанра давно сформировалось «аксиоматическое поле» теоретических и историко-литературных понятий, «определяющих факторы и параметры типологического и генеалогического изучения литературы», А. А. *Кораблев* справедливо подчеркивает, что «в теории жанра не может быть поставлена последняя точка». Проблемы жанра все время актуализируются, «осмысливаются как исторически обусловленные (в центре исследовательского внимания оказываются жанровые трансформации и модификации, “историческая подвижность” жанров в границах самоидентичности и др.)» (с. 14). Наряду с устойчивостью существующих продуктивных идей ученый видит наметившиеся сегодня две исследовательские перспективы: «целостное осмысление сложившейся жанрологической аксиоматики» и «проблематизация отдельных жанрологических аксиом» (с. 13). Предложенное *Б. П. Иванюком* описание основных жанрологических понятий дополняет и конкретизирует теоретический раздел. Автор не только обобщает представление об устоявшейся терминологии, без которой невозможно обращение к жанровым вопросам изучения литературы (жанровый канон, «память жанра», жанровая доминанта, жанровая система, жанровый синтез, метажанр и т. д.), но и ставит вопрос о словарном статусе таких достаточно новых понятий, как «жанровая валентность», «жанровая диффузия», «жанровая парафраза», «жанровая аллюзия» и других (с. 47).

Концептуальное значение для данной монографии имеет теоретическая глава «Историческое развитие жанров в контексте литературы региона», написанная *О. В. Зыряновым*. В качестве важнейшего фактора исторической жанровой динамики обоснованно утверждается национально-территориальный аспект, в связи с чем не только углубляется общетеоретическое представление о механизмах жанрового развития и расставляются новые акценты (приоритет феноменоло-

гии в постижении исторической изменчивости жанра в условиях современной эстетической практики), но и утверждается особый «феномен региональной словесности», которая соотносится, «с одной стороны, с высокой книжной литературой общероссийского масштаба, а с другой — с этническим фольклором, “низовой” культурой города и села» (с. 75). Представленная О. В. Зыряновым структура феномена региональной литературы включает в себя напластование нескольких «слоев»: первый — «элитарный культурный слой, ориентированный на столичную литературу, жанровые модели высокого искусства»; второй («средний») слой — «достаточно качественная беллетристика, предполагающая следование популярным литературным образцам и типовым жанровым моделям»; третий («низовой») слой — «массово-поточное производство литературной продукции, стандартизация исходных жанровых моделей, активное использование фольклорных и утилитарных жанров письменности в обход устоявшейся системы новой литературы, так называемой изящной словесности» (с. 77). Важным становится авторский тезис о том, что однородность картины взаимодействия региона и центра может неожиданно усложняться явлениями, когда писатель «среднего» слоя попадает в число «классиков», занимая место в «элитарном культурном слое». Исторически упорядочивая жанровую картину региональной (уральской) литературы, начиная с момента ее возникновения и заканчивая выходом в большой общероссийский контекст, О. В. Зырянов видит завершение культурного самоопределения края «в художественно совершенной образно-символической форме» (с. 83).

Историко-литературные разделы монографии представлены работами екатеринбургских, пермских, ижевских, сыктывкарских ученых, коллективные усилия которых позволили выявить магистральные тенденции развития региональной литературы в классическую и современную эпохи.

Раздел, посвященный проблеме эволюции жанров в литературе Урала классической эпохи, открывается работой Е. К. Ромодановской «Роль переводных памятников XVII в. в становлении новой жанровой системы русской литературы». Рассматривая переход от средневековой литературной системы к литературе Нового времени в аспекте объединения художественного опыта местной традиции и западноевропейской книжности, исследователь предлагает оригинальную типологию переводов и переложений. Каждый из характеризуемых типов, несомненно, играет важную роль в формировании жанровой картины переходной и последующей эпох (например, новые формы переводного романа, активизирующие процесс «энциклопедизации сюжета», или фацеции как образец сборника беллетристического типа), в том числе и в региональном изводе.

В блоке, объединившем исследования жанровых процессов в региональной поэзии в период смены художественных парадигм, в первую очередь, обращают на себя внимание параграфы, написанные О. В. Зыряновым и Е. К. Созиной. В системе лирических жанров Урало-Сибирского региона в переходную эпоху крайне востребованной становится ода. Предпринятый О. В. Зыряновым скрупулезный анализ малоисследованного, но репрезентативного материала убедительно доказывает, что в региональной поэзии находят свое воплощение

практически все разновидности этого жанра: ода торжественно-панегирическая, духовная, философско-медитативная, смешанная ода (И. Трунин, И. И. Бахтин П. П. Сумароков П. А. Словцов, Г. С. Батеньков). К выводу об актуальности одического жанра для уральской литературы также и на протяжении первой трети XIX в. приводит обращение исследователя к самобытному творчеству пермского поэта В. Т. Феонова, автора од различной жанрово-тематической направленности — от ученически добросовестного соблюдения жанрового канона оды торжественной («Ода, сочиненная и читанная 5 дня 1816 года при торжественном собрании императорского Казанского университета...») до усложнения одической структуры посредством юмористического модуса художественности («К деньгам», 1833). Логика исследования эволюции одического жанра ведет к пониманию сложности взаимодействия региональной литературы с общерусской, поскольку уральские поэты не только усваивали уроки великих предшественников/современников-одописцев, но и полемизировали с ними. Эта мысль косвенным образом подкрепляется благодаря и общерусскому контексту, возникающему при изучении Е. Е. Приказчиковой становления одического жанра в творчестве Г. Р. Державина (на материале «Читалагайских од»).

Неправомерность аксиоматичного суждения о том, что региональная литература всегда закономерно отстает от общенациональной, становится еще более очевидной в исследовании Е. К. Созиной романтических поэм (именуемых «повестями») оренбургского поэта П. М. Кудряшева. Ученый не только раскрывает характер взаимосвязи Кудряшева с традицией байронической поэмы Пушкина, но и доказывает образцовость «восточных повестей» оренбургского поэта для целого ряда провинциальных и даже столичных авторов 1820-х гг. Новаторство Кудряшева, по наблюдениям Е. К. Созиной, обнаруживается в сочетании «литературного романтизма и интуитивно нащупываемой струи достоверного повествования», в тяготении повестей, выполненных по закону романтической поэмы, к эпической форме, что позволяет считать писателя одним из предшественников прозы А. А. Бестужева-Марлинского (с. 155). Более того, исследователь убежден, что процесс деканонизации жанра, его романизации в творчестве писателя (особенно в поздних повестях «Абдрияш» и «Искак») открывал перспективы большой русской литературе всего XIX в.

Центром главы, выстраивающей логику трансформации прозаических жанров в литературе Урала второй половины XIX в., по праву являются параграфы, посвященные феномену творческих личностей Ф. М. Решетникова и Д. Н. Мамина-Сибиряка, «чьи романы для современной им литературы стали настоящим “прорывом”, в том числе и в жанровом отношении» (с. 548). Чутко уловив ориентацию реализма 1860-х гг. на «фотографическую» народность (с. 187), сделав установку на роман «из народной жизни», уроженец Перми Ф. М. Решетников очень быстро проходит жанровый путь «очерк — повесть — роман». Именно Решетникову, как полагает Е. К. Созина, «удалось извлечь из этнографического элемента идею если не всей романной концепции, то, по крайней мере, ее важного составляющего звена», что произошло естественным образом — «на волне личной причастности писателя к той “черноземной” полу-Руси, полу-чуди, к тому сомнительному плебейскому слою, за изображение

которого его так ругали в печати правого лагеря» (с. 195). Открытием исследователя стало обнаружение уже в повести «Подлиповцы» всех «п р и з н а к о в романа, и романа нового», хотя и не все они были впоследствии развиты самим писателем (с. 211). Свидетельством того, что вклад писателя в развитие русской литературы, в том числе и в становление жанров, носит очевидный не региональный, а всероссийский характер, явлена и соответствующая логике эпохи эволюция его романа: от «семейно-бытового» («Горнорабочие», «Глумовы») — к «общественному» («Где лучше?»). Современный взгляд ученого разрушает стереотип как социологической интерпретации творчества регионального писателя, так и представления о его месте в общенациональной литературе: социальное в романах Решетникова поддерживается и укрепляется экзистенциальным, которое зачастую «камуфлируется социальным, но именно экзистенциальный слой сюжетики высвечивает общечеловеческое начало в маргинальных, нередко прямо асоциальных способах жизни его героев и позволяет увидеть в них, как и в самой форме романа писателя, будущее...» (с. 221).

Сращение социального и экзистенциального в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка, создавшего оригинальные жанровые образования романа (в кризисный для этого жанра период 1890-х гг.) становится не менее очевидным для читателя благодаря предлагаемым изысканиям *Л. М. Митрофановой*. Наряду с укоренившейся в практике маминоведения традиционной типологией романов (уральские романы и романы об интеллигенции) исследователь предлагает выделить в романистике писателя с опорой на известные культурные свехтексты, два цикла — уралосибирский и петербургский. Одним из вершинных романов уралосибирского цикла *Л. М. Митрофанова* считает «Приваловские миллионы», где отражается «столкновение традиционных механизмов социального мифотворчества с жесткой логикой новой (капиталистической) действительности» (с. 245), а смеховое, комическое начало, пронизывающее роман «в самых разных его проявлениях», становится «особым феноменом авторского, а по сути — национального русского сознания и бытия» (с. 246). Наряду с привычным представлением о жанровой синтетичности романа «Черты из жизни Пепко» (автобиографический, философский, социально-психологический) предлагается свежее любопытное прочтение произведения, которое, по мысли *Л. М. Митрофановой*, органично вписывается в метаструктуру «петербургского текста».

Наблюдения *В. А. Лимеровой* над активизацией путевых жанров коми-зырянской словесности в середине столетия, а также *Л. Н. Житковой* и *Н. В. Пращерук* над уральской прозой уже начала XX в. приводят к закономерным общим выводам о соответствии жанровой картины региона общелитературным тенденциям: в первом случае это взаимосвязь с общелитературной популярностью жанра путешествия «как свидетельства пробуждения общественного интереса к внутренним землям России» (с. 180); во втором — преобладание малых форм (рассказ, очерк, эскиз, этюд), «стремление к синтезированию разножанровых элементов» (с. 283). Разговор о жанровой специфике путешествия в региональном локусе, очевидно, не завершен, поэтому преждевременно ожидать на данном этапе исследования, например, точных определений разновидностей

путешествия коми словесности, тем более что сам автор подчеркивает «предварительный характер» предлагаемых выводов (с. 181). Наряду с уже отмеченной выше структурной стройностью монографии у читателя все же может возникнуть некоторое недоумение по поводу презентации материала о А. Туркине, И. Колотовкине и Б. Тимофееве в разделе, посвященном «классической эпохе». Поскольку уральская словесность в данном случае вписана в контекст «большой литературы» М. Горького, И. Бунина, И. Шмелева, М. Пришвина, Е. Замятина и др., то ее исследование вполне отвечает задачам следующей главы — «Жанровая картина уральской литературы на рубеже веков», расширяя представление о жанровом поле указанного периода прозаическими формами.

Заглавия фрагментов третьего раздела «Жанры и жанровые процессы в литературе Урала XX в.», указывают на преимущественно не персональный, а хронологически-типологический подход в анализе художественного материала (что объясняется характером самой историко-литературной эпохи, значительным расширением спектра литературных имен) и подчеркивают обусловленность жанровой картины литературы Урала конца XIX—XX вв. бурным развитием периодической печати. Единая исследовательская стратегия коллектива авторов позволяет увидеть, что бытование уральской поэзии на страницах периодических изданий формирует пеструю картину жанрового развития как на рубеже веков, так и в кризисную эпоху революционных потрясений и в последующие десятилетия. Например, предпринятый *И. В. Козловым* обзор периодики рубежа веков показал, что уральская поэзия (Г. Попов, П. Селиванов, Ф. Филимонов, Г. Олесов и др.), с одной стороны, «обнаруживает явную зависимость от канонических жанров», с другой — «демонстрирует способность к освоению достаточно широкого спектра: от элегии до поэмы, от баллады и идиллии до <...> стихотворного фельетона» (с. 318). Газетный стихотворный фельетон, характеризуемый *Е. Г. Власовой* как один из самых массовых поэтических жанров уральской литературы конца XIX — начала XX в. (В. Я. Кричевский, С. А. Ильин, А. Н. Скугарев, В. П. Чекин, Е. Гадмер и др.) «спонтанно проявил ставшие вполне актуальными и для “высокой” литературы начала века тенденции»: «игра с живым языком повседневности», «стилистическая смесь», «демократизация литературного поля» (с. 306—307).

Несмотря на то, что уральская «стихотворная продукция» в эпоху 1917 г. и Гражданской войны носила «массовый самодеятельный характер» (с. 358), исследователи *И. Е. Васильев* и *Ю. С. Подлубнова* обнаружили, что развивалась она все же в широких жанровых рамках: с одной стороны, — гражданская лирика с «публицистическими митингово-ораторскими, пафосно-патетическими и сатирическими жанрами» (с. 369), но с другой — разновидности «камерной, интимной лирики», пейзажные стихи, варианты идиллий и элегий, а также символично-аллегорические жанровые конструкции, восходящие к мифопоэтике» (с. 380). На фоне этого многообразия в литературе Урала 1920—1930 гг., по наблюдениям исследователей, сохраняются лишь те поэтические жанры, которые вписываются в единое идеологическое дискурсивное поле, соответствуют агитационно-пропагандистским целям, доминирующей производственной тематике (апеллятивные, панегирические, сатирические жанры, утопии, стихот-

ворная новеллистика, полижанровый материал «живгазет»). Общей теме стремительного роста социалистического Урала подчинялись и жанры оды, песни, послания, баллады, даже любовная лирика.

Среди множества имен уральской литературы рубежа веков *О. В. Зырянов* обращает особое внимание на творческую индивидуальность *Е. Гадмер* как автора нескольких поэтических, стихопрозаических и прозаических книг. С теоретико-методологической основательностью исследователь прослеживает творческую эволюцию писательницы от стихотворного сборника к книге стихов «Вечерний звон» (1911), примыкающей к серии «итоговых» стихотворных книг «второй волны». Аргументацией в атрибуции жанра послужила не только поэтика заглавия, но и «архитектоническая целостность цикла и наличествующий в ней инвариантный сюжет» (с. 325), что стало предметом подробного анализа исследователя. Среди множества глубоких наблюдений над стихопрозаическими и сугубо прозаическими книгами, в которых, по наблюдениям *О. В. Зырянова*, *Е. Гадмер* раскрывается с совершенно иной стороны, выделим отмеченную важность феномена детского сознания в акте читательской рецепции и сочетание этнографического колорита с «установкой на оригинальное мифотворчество» (последнее оказывается родственным эстетике символизма). Ученый приходит к оригинальному утверждению: в «Уральских легендах» *Е. Гадмер* уже закладываются «основы самобытной мифологии края», придавая Уральскому региону «поистине символический статус» (с. 341), что открывает прямую дорогу к сказам *П. П. Бажова*.

Жанровая пестрота характеризует и эволюцию уральской прозы эпохи 1917—1930 гг., что доказывает предлагаемый *Ю. С. Подлубновой* сюжетно-тематический анализ широкого диапазона текстов, не становившихся ранее объектом серьезного литературоведческого изучения. Рассмотрение иных конструктивных уровней текста, как и более строгая дифференциация жанров в каждой из выделенных рубрик, вероятно, станет предметом дальнейшего исследования. Научная ценность раздела «Жанровая система творчества *П. П. Бажова*», написанного *М. А. Литовской*, заключается не в жанровой инвентаризации творческого наследия одного из главных прозаиков литературы Урала (что уже было осуществлено целым рядом исследователей), а в выявлении «жанрообразующих факторов бажовского творчества, порождающих создание специфической жанровой системы» (с. 435). Ученый отталкивается от идеи «внутренней цельности всего творческого наследия *П. П. Бажова*, в основе которого лежит выношенная мировоззренческая установка зрелого человека, вполне определившегося к моменту начала систематического литературного творчества свои этические и эстетические приоритеты» (с. 435). Именно выявление факторов бажовского творчества, его сложных взаимосвязей с новой формирующейся советской реальностью и «советским вариантом истории», взгляд на *Бажова* как «историка-фольклориста-писателя» выстраивает логику жанровой динамики — «от фольклорных записей к очеркам и статьям, затем к сказам — и снова... к очеркам, статьям, докладам», причем все бажовские «тексты прочно сцеплены содержательностью внутренних межжанровых связей» (450). Безусловно, «старшим жанром» в художественной системе *Бажова* признается сказ,

тот «жанровый образ мира и миропереживания, в котором наиболее адекватно отражается бажовское мироощущение» (с. 451). М. А. Литовская достаточно много места уделяет анализу субъектной организации сказа, так как этот жанр «возводит субъективность рассказчика в основной формообразующий принцип» (с. 445). Анализ основ бажовского творчества, оригинальной жанровой системы писателя помогает понять, почему именно этому писателю удалось создать «своего рода авторский эпос горного Урала», воспроизведя «естественно» сформированный, а потому «легко воспринятый образ региона» (с. 451).

На первый взгляд в рецензируемом издании несколько неожиданным выглядит непосредственный переход от творчества Бажова к производственной прозе 1970–1980 гг., но этот хронологический «пробел» вполне компенсируется анализом традиции производственного романа / повести, берущего свое начало в 1920-е гг., закрепляющего жанровые признаки к концу 1930-х гг. и трансформирующегося в последующие десятилетия. Поскольку «рабочая тема» закономерно становится «профильной» для Уральского региона, именно жанр производственного романа в сочетании с очеркистикой занимает ведущее место в журнале «Урал». Сосредоточенность Т. А. Глебович и М. А. Литовской на анализе наиболее репрезентативных текстов (повести Т. Чекасиной «Чистый бор», романа К. Лагунова «Больно берег крут» и очерка К. Александрова «Тюменский счет») приводит к глубоким обобщающим выводам как о трансформации производственного романа / повести («производственный материал становится фундаментом для постановки “вечных”... вопросов человеческого бытия»), так и о рождении в уральской прозе тандема «роман — очерк» с единой «аналитико-художественной картиной мира» (с. 467, 469).

Безусловной исследовательской находкой авторов можно считать обозначенный в качестве «мостика» региональный журнал «Урал», литературно-художественное поле которого связывает два столетия. Сохранивший в кризисную эпоху нового рубежа веков статус «толстого» журнала «Урал» отражает как общую социокультурную ситуацию, так и жанровые процессы в современной региональной словесности, тесно связанные с «большой» литературой. В исследовании современного состояния феномена «толстого» журнала Е. В. Гарник и Т. А. Снигирева сочетают методологию системно-структурного, историко-генетического и историко-функционального анализа. «Внутренний сюжет» журнала, в частности жанровое наполнение традиционных разделов, становится не только выражением определенной политики редакции, но и «знаком состояния литературного процесса региона» (с. 480). Так, во-первых, замечено, что «Урал» — практически единственный «толстый» журнал, активно публикующий драматургические произведения, что, безусловно, связано с личностью главного редактора — Н. Коляды, повлиявшего на развитие «уральской драматургической школы» (В. Сигарев, О. Богаев, П. Казанцев и др.). Во-вторых, поэзия «дает поколенческий срез, характерный для всей литературы Урала начала XXI в.» (с. 486): «старшее» поколение поэтов (М. Найдич, Н. Мережников, М. Никулина), чаще придерживающееся традиционной жанровой системы; «среднее» поколение (Ю. Казарин, Е. Касимов, Б. Рыжий и др.), чьи жанрово-стилевые предпочтения определились временем «лидерством постмо-

дернизма, с одной стороны, и официальным господством соцреализма, с другой» (с. 487); «интерактивная» поэзия поколения, дебютировавшего в период редакторства Н. Коляды (В. Чепелев, Т. Трофимов). В-третьих, в широком спектре прозы различных направлений — «от социально-психологического реализма до постмодернизма» — региональная специфика с «особой интенсивностью и художественной оправданностью» «осуществляет себя в жанре очерка» (с. 482), в частности в такой его специфичной модификации, как «экологический очерк» (С. Парфенов, О. Капорейко). Актуализация в современной литературной ситуации жанра очерка замечена и *Е. Г. Власовой* в обзоре художественно-публицистической прозы Перми.

Очень символичным, на наш взгляд, выглядит завершение раздела, представляющее портреты двух современных писателей — Ю. Казарина и В. Шихова, в творческой практике которых, по наблюдениям *Т. А. Снигиревой* и *М. В. Серовой*, особое место занимает жанр «книги». Структурно-смысловая открытость финала издания диктуется и историко-литературной ситуацией переходности, и литературоведческими перспективами дальнейшего освоения жанровой специфики региональной литературы.

В создании монографии принимали участие более двадцати ученых, представляющих разные географические локусы и научные школы Урало-Сибирского региона, но единый вектор исследования жанровых систем и процессов в уральской литературе позволил коллективу авторов, отойдя от описательно-эпизодического рассмотрения явлений литературы Урала, увидеть внутренние закономерности ее развития. Типологическое обобщение ведущих тенденций уральской литературы различных эпох в их глубинной взаимосвязи с общероссийским литературным процессом приводит к выводу о том, что жанровая коммуникация региональной словесности с «большой» литературой не ограничивается традиционно отмечаемыми ранее в качестве базовых «ученичеством» или «запаздыванием». Авторы убеждены, что в данном случае уместнее говорить о процессе взаимодействия, поскольку уральские писатели «в некотором отношении... могли опережать соответствующие линии движения центральной литературы» (с. 548), что особенно отчетливо явлено в феномене творческих личностей *Ф. Решетникова*, *Д. Мамина-Сибиряка* и *П. Бажова*.

Конечно, представители разных научных школ могут не соглашаться с представленными трактовками отдельных произведений, частными типологиями, но нет сомнений в том, что перед нами самое фундаментальное на сегодняшний день академическое исследование жанровых процессов в литературе Урала, открывшее множество новых литературных имен, предлагающее нетрадиционные повороты в осмыслении «традиционных» произведений уральской классики, выстраивающее единый сюжет жанровой динамики уральской литературы. Кроме того, новая книга — это еще и увлекательное чтение, представляющее интерес как для теоретиков, историков литературы, учителей, так и для всех интересующихся культурой родного края.

Рецензия поступила в редакцию 13.06.2011 г.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

КОНФЕРЕНЦИИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Международная научно-практическая конференция

Объединенный музей писателей Урала при поддержке Управления культуры администрации г. Екатеринбурга совместно с Уральским государственным университетом им. А. М. Горького, Институтом истории и археологии УрО РАН, Екатеринбургской академией современного искусства (ЕАСИ) 19–20 мая 2011 г. провели Международную научно-практическую конференцию *«Литературный музей в современном мире»*, посвященную 65-летию музея. Конференция подобного уровня проводилась музеем впервые. Мы рады, что такой опыт удался и по заверению коллег, приехавших к нам из других городов, совместные встречи музейщиков необходимы и востребованы особенно в последний год. Спектр обсуждаемых вопросов оказался очень широким, а коллегиальное общение стало насыщенным и очень важным. Объединенный музей писателей Урала фактически выступил как научно-методический центр для региональных литературных музеев. На подведении итогов конференции прозвучало пожелание о регулярном проведении конференций, посвященных деятельности литературных музеев, потому что подобные научные форумы необходимы для практической работы музеев.

Работа конференции проводилась по следующим направлениям:

- *Роль литературных музеев в формировании образа региона* (музей как генератор культуры; новый язык литературного музея и проблемы рецепции; литературный музей в пространстве современного города).

- *Проблемы культурно-образовательной деятельности литературного музея* (музейная педагогика, специфика создания и реализации музейных образовательных программ; социография современной музейной аудитории; музей и театр).

- *Взаимодействие музея с другими культурными и образовательными учреждениями в России и за рубежом.*

- *Современные интерпретации произведений русских писателей* (киноверсии, театральные постановки, иллюстрации, живопись по мотивам литературного творчества, литературная экспозиция как вид интерпретации; роль музея в развитии научных знаний).

В начале *пленарного заседания* прозвучали слова о том, что не случайно юбилей музея начинается с открытия Международной научно-практической конференции. К дате

65-летия музея скромный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка преобразовался в целый Литературный квартал (так в городе давно называют Музей писателей Урала). По словам *Владимира Юрьевича Дукельского*, одного из ведущих экспертов музейного проектирования, Литературный квартал — это лучшее, что есть в городе Екатеринбурге, и другие города только мечтают о таком. На развитие проекта музея, его продвижение в межкультурное коммуникационное пространство была нацелена и тема нашей конференции, и темы секций.

Следует отметить, что все доклады участников конференции имели практически ориентированный характер. Так, *Т. В. Куприна*, профессор РАЕ, доцент Уральского федерального университета, обратила внимание на литературно-художественную и музейную деятельность как на основу формирования положительного имиджа не только региона, но и страны в целом. *А. А. Щербакова*, как музейный проектировщик, осветила историю положения дел с литературным музейным и культурным потенциалом и его использованием в различных регионах страны. *А. А. Журавлева* рассказала о проекте освоения ближайшей территории музеем-заповедником А. П. Чехова «Мелихово» и вписывании музея в культурную политику Подмосковья. Профессор *В. В. Блажес* в своем докладе рассказал о давнем научном сотрудничестве музея и УрГУ, об участии науки в создании музея, о воспитании кадров для литературного музея филологическим факультетом университета, что не особенно часто встречается в пределах нашей страны. Международный статус конференции придало выступление доктора филологии, возглавляющего музейный комплекс города Будиевицы (Южная Чехия), господина *Пана Любомира*. Он говорил о поиске Чехией европейской идентичности, о поиске самосознания чешским народом, о том, что в исторический период глобализации систему идентификации выработывают все народы нашей планеты. Работа конференции состоялась в трех секциях.

- Первая секция **«Роль литературных музеев в формировании образа региона»** включила часть докладов по организации новых музеев и новых экспозиций (*Н. С. Запорожцева*, *З. С. Антипина*, *Ю. С. Подлубнова*, *Р. Л. Исхаков*, *В. Б. Королева*), часть докладов по исследованию коллекций и архивного наследия Д. Н. Мамина-Сибиряка (*В. Н. Ожегова*, *В. Н. Оносова*, *Л. С. Соболева*), доклад об издательской деятельности литературного музея (*А. В. Броднева*), обобщающие концептуальные доклады о типологии событий культурной жизни (*Е. В. Харитонова*) и гениях места и формах их мемориализации (*М. А. Литовская*)

- Вторая секция включила доклады на тему взаимодействия литературного музея с другими учреждениями культуры и культурно-образовательной деятельности музея. Здесь прозвучал опыт сотрудничества музея писателей Урала с ГАСО (*О. А. Бухаркина*), с Альянс Франсез в Екатеринбурге (*М. В. Толкачева*), с библиотеками города (*Т. А. Махалина*) и доклады об образовательных музейных программах (*Ю. В. Прокочук*, *А. В. Печерских*, *Т. Я. Каменецкая*, *И. Б. Майбурова*)

- Третья секция осветила в докладах работу музейщиков и ученых-филологов по интерпретации произведений писателей Урала в живописи (*Катаева Л. А.*), в исследовательском тексте (*И. В. Артемова*, *Н. В. Мосеева*, *Т. А. Арсенова*), в издательском варианте (*Е. С. Зашихин*) и проблемы совместной работы музея и университета в системе филологического образования (*О. В. Зырянов*)

В рамках работы конференции состоялся **круглый стол** на тему «Место литературного музея в современном мире». Обсуждение на круглом столе и подведение итогов конференции провели *Леонид Петрович Быков*, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русской литературы XX в. УрГУ, и *Мария Аркадьевна Литовская*, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы XX в. УрГУ.

Экспертами круглого стола выступили *Анна Александровна Щербакова*, специалист по музейному проектированию и литературным музеям (Москва), *А. А. Журавлева*, заместитель директора по научной работе музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» (Москва). В обсуждении участники круглого стола затронули проблемы анализа и активации литературно-культурного потенциала территории, необходимости смешения музейных экспозиций в рамках одной просветительской программы или одного проекта. Формула успешности музея обозначилась в нескольких составляющих: количество посетителей, количество упоминаний в прессе. Из этой формулы вытекают проблемы, стоящие перед литературными музеями, которые стремятся быть современными: музею необходимо знать современного посетителя, его притязания и ожидания, знать, для чего создается экспозиция, взаимодействовать с современным литературоведением.

Проблема взаимодействия и тесного сотрудничества нашего музея и университета решена, и совместная работа, надеемся, будет продолжена. В решении конференции со стороны музея прописана необходимость участия Объединенного музея писателей Урала в осуществлении работы по музейной практике студентов-филологов и в системе подготовки филологических кадров.

Смеем надеяться, что первый опыт проведения международной конференции не станет единственным, и приглашаем к сотрудничеству заинтересованную общественность и специалистов, обладающих багажом гуманитарно-культурологических и филологических знаний.

В. Б. Королева,
ученый секретарь Объединенного музея писателей Урала

ИНФОРМАЦИЯ

О работе диссертационных советов Д 212.286.03 и Д. 212.286.11 в 2010 г.

В диссертационном совете Д 212.286.03 в 2010 г. были защищены две докторские и три кандидатские диссертации по специальностям 1 0101 «Русская литература» и 100201 «Русский язык».

• В докторской диссертации *Елены Евгеньевны Приказчиковой* «**Культурные мифы и утопии в мемуарно-эпистолярной литературе русского Просвещения**» исследованы мемуарно-эпистолярные произведения более двухсот авторов XVIII в.; уточнено содержание понятия «альтернативная литература» и описаны ее основные составляющие; определено место мемуарно-автобиографической, эпистолярной прозы и «литературы путешествий» в общем литературном процессе русского Просвещения; выделены основные типы утопий, находящие отражение в мемуарно-эпистолярной литературе; описаны складывающиеся в систему культурные мифы XVIII в., наиболее отчетливо проявляющие себя в мемуарно-эпистолярных текстах; выявлено своеобразие механизма культурного мифотворчества; предложено решение проблемы взаимоотношений утопий и культурных мифов. Представленный в диссертации системный анализ культурных мифов и утопий эпохи Просвещения открывает перспективу нового прочтения

текстов русской литературы XVIII в., вносит вклад в решение проблемы единства литературного процесса эпохи Просвещения.

• В докторской диссертации *Ирины Владимировны Шалиной* «**Уральское городское просторечие как лингвокультурный феномен**» осуществлен лингвокультурологический анализ уральского городского просторечия. Автором диссертации собраны и расшифрованы аудиозаписи устной некодифицированной речи горожан-уральцев, систематизированы тексты разных жанров, в том числе дружеских бесед и прекословных разговоров, разговоров по душам и застольных речей, дневниковых записей, писем и т. п.; осуществлено описание уральского просторечия как регионального варианта общерусского городского просторечия; подтверждены социолингвистические наблюдения о функционировании двух разновидностей городского просторечия — просторечия-1 и просторечия-2; доказано, что целостная характеристика лингвокультуры может быть осуществлена на основе исследовательской позиции изнутри, а не извне; с помощью реконструкции культурных сценариев, их звеньев и фрагментов выявлены демонстрирующие специфику народной городской картины мира составляющие когнитивной базы просторечия как особой лингвокультуры: презумпции, базовые концепты, стереотипы, ценностные предпочтения, коммуникативно-этические константы, нормативно-ценностные установки; описаны речеведческие практики носителей просторечия; поставлен вопрос о персонологии лингвокультуры; выделены и описаны ментально-специфические лингвокультурные типажи.

• В кандидатской диссертации *Людмилы Николаевны Тихомировой* «**«Ночная» поэзия в русской романтической традиции: генезис, онтология, поэтика**» предложен методологический подход к «ночной» поэзии как особой структурно-содержательной целостности в едином ряду с локальными и персональными свертками, что позволило выявить философско-онтологическую природу исследуемого пласта русской лирики, предложить модель историко-литературной интерпретации русской классической «ночной» поэзии; охарактеризовать индивидуально-авторские модификации «ночного» текста в границах художественной традиции романтизма.

• В кандидатской диссертации *Екатерины Александровны Четвертных* «**Элизийский текст в русской поэзии XIX—XX вв.**» автором выявлены основы моделирования элизийского текста, прослежены истоки и основные тенденции развития мифа об элизуме в русской поэзии, обозначены основные этапы эволюции элизийского мифа в русской лирике (от К. Батюшкова и В. Жуковского к А. Пушкину, Е. Боратынскому, Ф. Тютчеву и далее — к поэзии XX столетия); охарактеризованы особенности функционирования элизийского мифа в индивидуальной поэтической мифологии Е. Боратынского, Ф. Тютчева, Вяч. Иванова, М. Цветаевой.

• В кандидатской диссертации *Ольги Владимировны Климовой* «**Лексика предметной области PR в современном газетном тексте и обыденной речи**» на материале федеральной и региональной уральской прессы осуществлено лингвостатистическое исследование PR-лексики; экспериментально установлена специфика отражения терминов, предтерминов, профессионализмов и номенов в сознании носителей современного языка; выявлена частотность употребления лексики PR в СМИ, обыденной речи и речи профессиональной.

М. А. Литовская

Диссертационный совет по филологическим наукам Д. 212.286.11 утвержден при ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А. М. Горького» 30.05.2008 г. Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации по специальностям

100103 «Литература народов стран зарубежья» (западноевропейская литература);
101902 «Теория языка».

В 2010 г. на заседаниях совета были рассмотрены семь кандидатских диссертаций. Из них пять по специальности 100103 «Литература народов стран зарубежья», две по специальности 101902 «Теория языка».

• Кандидатская диссертация *Анны Александровны Лещевой* «**Природа текстовой категории «неопределенность» (на материале лирики И. Бродского)**» (специальность 101902). В диссертационном сочинении предпринята попытка всестороннего описания текстовой категории «неопределенность» с учетом языковых средств ее выражения, представленных на различных уровнях — лексическом и синтаксическом. В диссертации предложена модель аналитического рассмотрения данной категории в поэтическом тексте, основанная на противопоставлении константных и неконстантных средств ее выражения и соединении модального и референциального подходов к изучению семантической структуры художественного текста. Проведенное на материале текстов И. Бродского исследование показало, что текстовая категория «неопределенность», во-первых, отображает специфику познания мира И. Бродским; во-вторых, именно она способствует формированию особого (антропологически обусловленного) идиостиля и идиолекта поэта; с-третьих, текстовая категория «неопределенность» обуславливает наличие особой позиции автора и лирического субъекта (отстраненность) в процессе создания художественного мира (взгляд со стороны). В соответствии с разработанной моделью анализа текстовой категории был определен репертуар лексических и грамматических средств выражения неопределенности, выявлены типы неопределенности, присутствующие в поэзии И. Бродского, определены их доминанты. В результате диссертантка приходит к выводу о том, что поэт выстраивает коммуникацию таким образом, чтобы главным в сообщении был сам факт введения новой информации в текст, а не ее содержательное наполнение. Подача информации в качестве неизвестной для адресата, а зачастую и для адресанта определяет круг тем, затрагиваемых поэтом.

• Кандидатская диссертация *Виктора Викторовича Мишланова* «**Роль адвербиалий времени в выражении темпоральных значений в языках номинативного типа (на материале русского и немецкого языков)**» (специальность 101902). В диссертации рассматриваются проблемы актуализации времени в языках номинативного типа, семантики и адвербиальной валентности временных форм глагола в русском и немецком языках. Автор выявляет адвербиалии времени, характерные для определённых временных форм глагола, анализирует адвербиальные валентностные характеристики временных форм глаголов, описывает основные категориальные значения для каждой временной формы в русском и немецком языках; в диссертации показана облигаторность адвербиалий времени в структурном плане номинативного предложения.

Использование материала двух языков как единой основы для выводов дало диссертанту возможность выявить закономерности актуализации времени. Исследование позволяет продвинуться в теоретическом понимании семантики временных форм, а также определить категориальные значения для каждой временной формы глагола в русском и немецком языках исходя из их валентности с адвербиалиями времени.

• Кандидатская диссертация *Алисы Сергеевны Поршневой* «**Пространство эмиграции в романном творчестве Э. М. Ремарка**» (специальность 100103). Диссертация посвящена изучению пяти романов немецкого писателя Э. М. Ремарка, образующих, как это показано в работе, единую «эмигрантскую пенталогию» в творчестве данного автора. В работе показана взаимосвязь и преемственность между способами организации пространства эмигрантских романов Э. М. Ремарка и выявлена их единая про-

странственная модель (центробежно ориентированное и аксиологически вывернутое «пространство эмиграции»), выстроена типология эмигрантских романов с точки зрения присутствия или отсутствия в их сюжете «катарсического» элемента, проанализированы механизмы художественной обработки различных типов эмигрантского мироощущения, изучены наиболее важные символические параллели, входящие в состав образа эмиграции и эмигрантского пространства в романах Э. М. Ремарка, доказана правомерность включения незавершенного романа «Земля обетованная» в эмигрантский цикл.

К важнейшим и значимым результатам исследования можно отнести разработку и успешную реализацию диссертантом методологии анализа сюжетно-пространственного единства произведения, основанной на обнаружении в изучаемых романах особого центробежно ориентированного эмигрантского пространства, определяющего логику сюжетного движения — ценностно окрашенного перемещения героев по участкам пространства с различным аксиологическим статусом.

• Кандидатская диссертация *Лидии Ильдаровны Исаковой* «Восток и Запад в романах Джеймса Мориера о Хаджи-Бабе: особенности авторской интерпретации» (специальность 100103). Диссертационное исследование посвящено исследованию особенностей восприятия, интерпретации, репрезентации и взаимодействия восточного и западного мира в романах английского писателя Джеймса Мориера. Творчество данного автора рассмотрено в диссертации в контексте европейской, в частности английской, ориенталистики. Автором отмечено влияние на прозу Мориера романтического направления, традиций просветительской литературы и авантюрно-плутовского повествования. В ходе исследования выявлено, что романистика Дж. Мориера получает осмысление в рамках формирования колониальной литературы, что и определяет особенность мировоззренческой проблематики его прозы, а также ее эстетическую и художественную значимость, сформулировано, что образы Востока и Запада представлены сквозь призму авторского взгляда, основанного на британском имперском мышлении.

Полученные в ходе проведенного исследования результаты позволяют уточнить такие понятия, как интерпретация, ориентализм, авантюрно-плутовской хронотоп, концепты «свой» и «чужой», просветительская традиция, художественные приемы острашения и приближения, межкультурная коммуникация; определить функции художественных концептов. Материалы исследования позволяют рассмотреть проблему межкультурной коммуникации как художественную проблему в контексте господствующих идеологических и эстетических установок эпохи.

• Кандидатская диссертация *Марии Николаевны Коньковой* «Поэтика жанра рассказа в творчестве А. Байетт» (специальность 100103). Диссертационное исследование посвящено изучению специфических особенностей поэтики рассказов А. Байетт. На материале произведений, опубликованных в сборниках 1987–2003 гг., анализируются тематические, структурные, стилистические доминанты рассказов современной английской писательницы. Все рассмотренные в диссертации тексты изучены в единстве формального и содержательного аспектов. Особое внимание диссертант уделяет таким категориям художественного мира писательницы, как конфликтность, психологизм, концептуальность, преобладание внесюжетных элементов, монтажность, метафоризация.

Полученные в ходе исследования выводы позволяют вывести и описать инвариант жанровой модели рассказа, применяемый А. Байетт при создании своих произведений. Существенным результатом проведенного анализа можно также считать вклад исследовательницы в разработку проблемы дифференциации жанра рассказа как малой эпической формы, применение стратегий многоаспектного анализа прозаического текста;

введение таких терминологических понятий, как прием графического эпитафия, прием пирамиды и пр.

• Кандидатская диссертация *Кристины Владимировны Загородневой* «**Жанр эссе об искусстве в английской литературе второй половины XIX века**» (специальность 100103). Диссертационное исследование посвящено изучению жанра эссе об искусстве, сложившегося во второй половине XIX в. в английской литературе. В работе выделены и на конкретном материале раскрыты такие специфические признаки данного жанра, как экфрасис, интерпретация и многосторонний диалог субъектов творческой деятельности: художника, зрителя/читателя, критика. Проанализирована проблематика и поэтика разных вариантов эссе об искусстве, доказана высокая художественность эссеистики Дж. Рескина и У. Пейтера; рассмотрено взаимодействие экфрасиических сонетов Россетти с эссе, посвященными Джорджоне и Боттичелли; обоснована поэтичность художественной эссеистики Дж. Рескина и У. Пейтера и ее эволюция от романтизма и импрессионизма к символизму и модерну.

Важнейшим результатом проведенного исследования становится факт построения теоретической модели жанра эссе об искусстве в том виде, как он сложился в английской литературе второй половины XIX в. Кроме того, диссертант существенно дополняет, расширяет и конкретизирует тот терминологический аппарат сопоставительного литературоведения, который связан с такими категориями, как синтез искусств, интермедальность, экфрасис и т. п.

• Кандидатская диссертация *Елены Сергеевны Седовой* «**Театр У. Сомерсета Моэма в контексте развития западноевропейской драматургии конца XIX — первой трети XX в.**» (специальность 100103). В диссертационном сочинении, посвященном изучению драматургии С. Моэма, раскрыты мировоззренческие и эстетические взгляды писателя и их отражение в его драматургии. Процесс опосредованного осмысления традиций английского театра периода Реставрации рассмотрен главным образом через творчество О. Уайльда. Показано творческое переосмысление С. Моэмом в пьесах его зрелого периода драматургического опыта Г. Ибсена и Б. Шоу. В финале работы определено влияние С. Моэма на последующий этап развития английской драматургии, точнее, на творчество Дж.Б. Пристли.

Важным результатом проведенной работы стало уточнение в ней таких важных для теории драмы категорий, как комедия нравов, новая драма, драма идей, умная пьеса, а также конкретизация представления о проблеме преемственности в английском театре.

Л. А. Назарова

Новые публикации филологического факультета

Живая речь уральского города: устные диалоги и эпистолярные образцы. : хрестоматия / авт.-сост. И. В. Шалина. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2011. — 360 с.

Хрестоматия является частью работы автора по изучению и лингвокультурологическому описанию языкового быта носителей городского просторечия, жителей уральской провинции. Сбор и обработка живого разговорного монологического, диалогического и полилогического материала осуществлялись в течение десяти лет (1999—2009) способом включенного наблюдения. Переведенные в графическую форму аудиозаписи достоверно отражают традиции просторечной внутрисемейной и дружеской коммуникации, особенности общения соседей и общения внутри временных микроколлективов (разговоры в поезде, трамвае, больнице, во дворе городского дома и др.). Корпус уст-

ных текстов-разговоров дополняется эпистолярными образцами — письмами и дневниковыми записями, подтверждающими факт функционирования просторечия в письменной форме.

Тексты могут быть использованы философами, социологами, культурологами, историками. Могут быть востребованы лингвистами при исследовании комплекса проблем.

***Зарубежная литература в вузе: инновации, методика, проблемы преподавания и изучения* : сб. ст. — Екатеринбург : Изд. Дом «Ажур», 2010. — 160 с.**

В сборнике рассматриваются проблемы, связанные с рецепцией литературных произведений (одно из приоритетных направлений, разрабатываемых на сегодняшний день кафедрой зарубежной литературы УрГУ), с организацией занятия по мировой литературе, составлением программ для разнопрофильных аудиторий, выбором форм и методов контроля самостоятельной работы студентов, интерпретацией ими того или иного материала.

Книга адресована преподавателям зарубежной литературы, студентам, аспирантам и всем, кому интересна заявленная в названии проблематика.

Казарин, Ю. В. Поэзия и литература / Ю. В. Казарин. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2011. — 168 с.

Юрий Викторович Казарин — поэт, доктор филологических наук, профессор, известный исследователь поэзии, поэтического текста и языка. Его новая книга посвящена интуитивно-научному поиску и попытке определения невыразимого, ускользающего, но ощущаемого объекта филологии, поэтологии и поэзиоведения — поэзии. Автор рассматривает поэзию как загадочную, но спорадически очевидную субстанцию, сущность, как «третье вещество», осуществляющее связь и гармонию физического и метафизического вещества. Особое внимание обращается на разграничение двух явлений, функционирующих в изящной словесности, — поэзии поэзии (Н. Гоголь) и поэзии литературной, т. е. поэзии высокой, абсолютной, и стихотворчества. Книга написана своеобразным, ярким, эмоциональным, выразительно-оценочным языком. Она дважды исповедалась: это исповедь и поэта, и ученого.

Адресована всем, кто живет поэзией.

Концептосфера русского языка : ключевые концепты и их репрезентации / под общ. ред. Л. Г. Бабенко. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. — 340 с.

Эта книга является проспектом «Большого словаря ключевых концептов, формирующих концептосферу русского языка», над созданием которого в настоящее время работает коллектив лексикографов, представляющих уральскую семантическую школу. В первой части проспекта излагается в общем виде концепция словаря, описываются его макроструктура (общая структура словаря в целом) и микроструктура (структура словарной статьи отдельного концепта). Приводится в систематизированном виде перечень категорий разного ранга, рассматриваемых с учетом их статуса и значимости в репрезентации различных фрагментов действительности. Во вторую часть включены словарные статьи, раскрывающие ментальную сущность концепта в лексикографических параметрах.

Для широкого круга пользователей: культурологов, филологов, специалистов в области русского языка и общего языкознания, преподавателей русского языка в школе и в вузе, в том числе для преподавателей русского языка как иностранного, а также для всех тех, кого волнует судьба русского языка и культура русской речи.

Купина, Н. А. Ностальгия по советскому: субъектно-объектные связи [Электронный ресурс] // Тез. докл. межвуз. теорет. семинара, 6 апреля 2010 : сетевой журн. / Томский гос. ун-т. — Режим доступа: http://mion-journal.tomsk.ru/wp-content/uploads/2010/04/тезисы_семинар.doc. 2010.

Купина, Н. А. Веселый этикет: развитие коммуникативных способностей ребенка / Н. А. Купина, Н. Е. Богуславская. — 4-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2010. — 176 с.

Предложена интенсивная методика, обеспечивающая развитие коммуникативных способностей дошкольников и младших школьников. В книге содержится система уроков, формирующих умение свободно общаться в типовых ситуациях повседневности.

Издание адресовано воспитателям детских садов, учителям начальных классов, а также родителям.

Купина, Н. А. Массовая литература сегодня : учеб пособие / Н. А. Купина, М. А. Литовская, Н. А. Николина. — 2-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2010. — 424 с.

Пособие рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 031000 и специальности 031001 «Филология». В пособии обсуждаются вопросы, связанные с историей массовой литературы, этапами ее изучения в России и на Западе, выявляются дифференциальные признаки массовой литературы, устанавливается ее место в литературном процессе и культуре, степень влияния на читательскую аудиторию, характеризуется язык текстов массовой литературы в проекции на языковую ситуацию рубежа XX—XXI вв. Особый раздел пособия посвящен филологическому анализу детектива, романа-боевика, фантастического романа, дамского романа, историко-авантюрного романа, популярной песни и некоторых других актуальных жанров массовой литературы. Прилагаемая к основным разделам пособия система заданий позволит организовать аудиторную и самостоятельную работу студентов.

Для студентов-филологов, культурологов, социологов, бакалавров, магистров, аспирантов гуманитарных специальностей.

Матвеева, Т. В. Полный словарь лингвистических терминов / Т. В. Матвеева. — Ростов н/Д : Феникс, 2010. — 562 с.

В книге доступно разъясняется более 1 тыс. терминов современного русского языкознания и речеведения, в том числе все основные термины, на которых строится преподавание русского языка, культуры речи, стилистики, риторики в средней школе и на гуманитарных факультетах вузов. Отражена терминология новых научных направлений русистики: лингвокультурологии, лингвопрагматики и др. Термины истолкованы, систематизированы и проиллюстрированы. Во многих случаях приводятся сопоставительные понятия, демонстрируется сочетаемость термина, даются сведения о справочной литературе.

Словарь адресован студентам гуманитарных специальностей, учителям-словесникам, выпускникам средних школ и всем, кто интересуется русской речью.

Михайлова, О. А. Орфоэпический словарь для школьников: правильное ударение и произношение / О. А. Михайлова. — 2-е изд., перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2010. — 314 с.

Словарь дает информацию о современных нормах ударения и произношения слов литературного языка. В словник включены самые употребительные слова литературного языка, специальные слова, встречающиеся в школьном курсе точных, естественных и гуманитарных наук (свыше 6 тыс. слов). Словарные статьи содержат пометы рекомендательного или запретительного характера, помогающие читателю ориентироваться в выборе правильного варианта.

Словарь имеет приложение «Род имен существительных». В него включены несклоняемые существительные иноязычного происхождения, определение рода которых вызывает особые трудности, а также склоняемые существительные, род которых не

определяется по окончанию начальной формы. В словарной статье дается указание на родовую принадлежность существительного, для изменяемых существительных приводится окончание родительного падежа.

Молодые голоса [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. / под общ. ред. И. В. Шалиной. — Екатеринбург, 2011. — 100 с. — Режим доступа: <http://elar.usu.ru/handle/1234.56789/3458>.

В сборнике представлены статьи студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов кафедры риторики и стилистики русского языка УрГУ. Работы начинающих исследователей отражают свежий взгляд на актуальные проблемы лингвокультурологии, стилистики, культуры речи, лексической семантики, жанроведения, риторики, определяют перспективные направления научных исследований, осуществляемых на кафедре. Интересная проблематика статей, внимательное отношение авторов к различным сферам языка и речи, владение современными фундаментальными и прикладными методами лингвистических исследований, функциональный подход к изучаемому материалу — надежное свидетельство того, что голоса молодых ученых-филологов будут услышаны.

Для студентов, аспирантов, преподавателей, всех тех, кто интересуется проблемами лингвокультурологии, стилистики, жанроведения.

Мухин, М. Ю. Лексическая статистика и концептуальная система автора: М. Булгаков, В. Набоков, А. Платонов, М. Шолохов / М. Ю. Мухин. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. — 232 с.

В монографии предлагается модель формализованного представления концептуальной системы писателя на основании тематического анализа слов, часто встречающихся в его произведениях и не характерных для текстов других авторов. На основании модели проведен сопоставительный филологический анализ концептуальных систем М. Булгакова, В. Набокова, А. Платонова и М. Шолохова.

Для филологов, любителей русской словесности, а также всех тех, кто интересуется применением количественных методов в гуманитарных исследованиях.

Литература Урала: история и современность : сб. ст. Вып. 5 : Национальные образы мира в региональной проекции / Ин-т истории и археологии УрО РАН ; отв. ред. Е. К. Созина. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. — 562 с.

На материале произведений, созданных преимущественно в пределах Урало-Сибирского региона, исследуется национальная специфика литературы. Предлагаются анализы текстов, созданных в рамках различных национальных традиций, а также классической и современной литературы, в ракурсе взаимодействия в них традиций и новаторства, включенности словесности в широкие социальные, культурные, географические контексты. Конкретизируется представление о многообразии творческих индивидуальностей Урала.

Сборник адресован литературоведам и всем, кто любит литературу, интересуется ее историей и современным состоянием.

Литература Урала: история и современность : сб. ст. Вып. 6 : Историко-культурный ландшафт Урала: литература, этнос, власть / Ин-т истории и археологии УрО РАН ; отв. ред. Е. К. Созина. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2011. — 476 с.

Исследуется литературная география и национальная специфика литературы Урала. Предлагаются анализы текстов, написанных в рамках различных национальных традиций, принадлежащих классической и современной литературе. Словесность региона рассматривается в аспекте ее включенности в широкие социальные, культурные, политические контексты. Конкретизируется представление о многообразии творческих индивидуальностей Урала.

Сборник адресован литературоведам и всем, кто любит литературу, интересуется ее историей и современным состоянием.

Словарь синонимов русского языка / под общ. ред. Л. Г. Бабенко. — Москва : АСТ, 2011. — 688 с.

В словаре описано более 5 тыс. синонимических рядов, включающих около 30 тыс. слов-синонимов. Все синонимические ряды распределены по смыслу: выделено 15 объемных смысловых групп («неживая природа», «живая природа», «конкретная физическая деятельность», «эмоции», «интеллект» и др.), внутри которых последовательно выявлены 84 класса, 255 групп и 185 подгрупп. Каждый синонимический ряд при этом получает толкование, в котором формулируется смысл, общий для всех синонимов одного синонимического ряда. Внутри смысловой группы синонимические ряды располагаются по частям речи. Для того, чтобы было легче найти слово в составе синонимического ряда, словарь имеет алфавитный указатель.

Словарь адресован самому широкому кругу пользователей — школьникам, студентам, преподавателям русского языка (как родного, так и иностранного), журналистам, редакторам, а также всем, кто любит русский язык и стремится ярко, точно и образно выразить свои мысли.

Словарь-тезаурус русских прилагательных, распределенных по тематическим группам / под общ. ред. Л. Г. Бабенко. — Москва : Проспект, 2011. — 232 с.

Словарь-тезаурус русских прилагательных (идеографический словарь прилагательных) — принципиально новое лексикографическое издание. Впервые русские прилагательные даются в нем не по алфавиту, а по смысловым (идеографическим) группам, внутри которых они соотносятся с общим для них понятием.

В словаре описано более 15 тыс. значений прилагательных различных стилиевых пластов: нейтральные, книжные, разговорные, разговорно-сниженные, жаргонные и др.

Словарь адресован самому широкому кругу читателей — филологам, специалистам в области русского языка и общего языкознания, преподавателям русского языка, журналистам, писателям, работникам СМИ, редакторам, а также всем, кто любит русский язык и стремится использовать его неисчерпаемые богатства.

Снигирева, Т. А. Поводырь глагола: Юрий Казарин в диалогах и книгах / Т. А. Снигирева. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2010. — 153 с.

Монография посвящена исследованию поэзии и семиотики поведения Ю. Казарина, чье творчество органично вписывается в пространство отечественной литературы. Необычность книги — записи живых диалогов автора с его героем, раскрывающие мироощущение, непосредственный психологический облик, манеру мыслить и говорить Ю. Казарина.

Шалина, И. В. Городское просторечие как лингвокультурный феномен / И. В. Шалина. — Б. м. : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. — 456 с.

В монографии осуществлен опыт лингвокультурологического исследования уральского городского просторечия. Просторечие описывается как культура, для которой характерны особые ценности, стереотипы, представления, установки. Реконструкция культурных сценариев и их составляющих позволяет выявить доминантные культурные смыслы, константы просторечной культуры, рассмотреть ее как вариант культуры народной.

Книга адресована лингвистам, культурологам, социологам и всем, кто интересуется проблемами русского языка, культуры, общества.

MEMORIA

ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА ГУСЕВА (1939–2011)



6 мая 2011 г. не стало доцента кафедры русского языка и общего языкознания Людмилы Григорьевны Гусевой, почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации, кандидата филологических наук.

Людмила Григорьевна Гусева — выпускница филфака УрГУ 1961 г. Окончив университет с красным дипломом, она несколько лет работала в сельской школе. Ее ученики на всю жизнь запомнили и до сих пор с восторгом вспоминают ее уроки, организованные ею вечера и классные часы, ее заботу и готовность всегда прийти на помощь, ее доброту, свет которой согревал их не только во время учебы, но и все последующие годы, потому что связь с бывшими учениками не прерывалась.

Закончив аспирантуру и защитив в 1974 г. кандидатскую диссертацию, Людмила Григорьевна стала преподавателем родного университета и бесценно проработала в нем более 40 лет. Ее лекции по русской диалектологии, истории русского языка, древнерусскому языку, разработанные ею спецсеминары и спецкурсы по русской диалектной лексике и методике преподавания русского языка запомнились нескольким поколениям уральских филологов научной точностью, методической выверенностью, эмоциональным накалом, любовью к народному слову. Особенно велики заслуги Людмилы Григорьевны как преподавателя заочного отделения: ее терпение, душевность, стремление

понять студента обеспечивали успешность освоения заочниками преподаваемых ею курсов и определяли длительные контакты с выпускниками (особенно с теми, кто писал у нее дипломные работы, а таких не один десяток!), научные и методические консультации и просто жизненные советы продолжались, облегчая молодым специалистам вхождение в сложный процесс преподавательской работы и поддерживая их в трудные минуты.

Людмила Григорьевна Гусева стояла у истоков становления уральской ономастической школы: в студенческие годы она была участницей первого научного лингвистического кружка при кафедре и первых выездов топонимической экспедиции Уральского университета. Вернувшись после работы в школе в университет, Л. Г. Гусева активно включилась в научную проблематику кафедры: она была автором и членом редакционной коллегии Словаря русских говоров Среднего Урала, автором-составителем Словаря говоров Русского Севера, членом редакционной коллегии сборника «Вопросы ономастики», знающим и заинтересованным рецензентом многих кандидатских диссертаций. Л. Г. Гусева — автор более 60 научных и учебно-методических публикаций, постоянный участник научных конференций различного уровня. Под ее руководством велась работа по составлению Глоссария устаревшей уральской лексики, в которой активное участие принимали студенты.

Людмила Григорьевна Гусева никогда не стояла в стороне от общественной деятельности: она была руководителем и членом ряда общественных организаций университета, в последние годы активно работала в Совете ветеранов, неформально, творчески подходя к своим обязанностям.

Гражданская активность, внимание к людям, готовность помочь каждому, доброта Людмилы Григорьевны снискали ей уважение и любовь студентов и коллег при жизни и благодарную память на долгие годы.

Список сокращений

ГАРФ	Государственный архив Российской Федерации
ГАОПДКО	Государственный архив областных партийных документов Курганской области
ГАРФ	Государственный архив Российской Федерации
ГАСО	Государственный архив Свердловской области
ГРМ	Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
ГХМ АК	Государственный художественный музей Алтайского края
КСГРС	Картотека словаря говоров Русского Севера
НВФ	Научно-вспомогательный фонд
ОГАЧО	Объединенный государственный архив Челябинской области
ПермГАНИ	Пермский государственный архив новейшей истории
ПОС	Псковский областной словарь
ППЗ	Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII—XX вв.
ПРН	Даль В. И. Пословицы русского народа
ПСЗ РИ	Полное собрание законов Российской империи
РГАДА	Российский государственный архив древних актов
РГАЭ	Российский государственный архив экономики
РГИА	Российский государственный исторический архив
СГРС	Словарь говоров Русского Севера
СПГ	Словарь пермских говоров
СПП	Словарь псковских пословиц и поговорок
СРГК	Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей
СРГНП	Словарь русских говоров Низовой Печоры
СРГС	Словарь русских говоров Сибири
СРНГ	Словарь русских народных говоров
ССРЛЯ	Словарь современного русского литературного языка
ФСРГНП	Фразеологический словарь русских говоров Нижней Печоры
ЦДНАОО	Центр документации новейшей истории Оренбургской области
ЦДНИУР	Центр документации новейшей истории Удмуртской республики
ЦДООСО	Центр документации общественных организаций Свердловской области

Сведения об авторах

Береговая, Ольга Владимировна (Olga3028@mail.ru). Выпускница факультета декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Уральской государственной архитектурно-художественной академии (2003). Старший преподаватель УралГАХА (620000, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 23; (343)371-33-52; jewellery@usaaa.ru). Сфера научных интересов — прикладное искусство.

Волегов, Алексей Владимирович (alexeivolegov@mail.ru). Выпускник филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1983). Кандидат филологических наук (1991), преподаватель отделения славистики Государственного университета Ченджи (№ 64 Zhinan Rd., Sec. 2, National Chengchi University NCCU, Dept. of Slavics, Тайбэй (Тайвань); volegov2002@yahoo.com). Сфера научных интересов — анализ художественного текста.

Высоцкая, Юлия Сергеевна (filolog2004@yandex.ru). Выпускница филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (2009). Аспирант кафедры русской литературы XX века УрГУ (620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343)350-75-94; doc_office@usu.ru). Сфера научных интересов — русская литература XX в., стиль художника.

Гадицкий, Роман Васильевич (somephil@gmail.com). Выпускник Новосибирского государственного университета (2006). Аспирант НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ (г. Москва, ул. Пречистенка, 21; (495)-637-31-76). Сфера научных интересов — средневековое искусство.

Ганиев, Рустам Талгатович (rusthist@gmail.com). Выпускник исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (2002). Кандидат исторических наук (2006), доцент кафедры истории России УрГУ (620000, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; 350-27-08; doc_office@usu.ru). Сфера научных интересов — история Центральной Азии, восточных тюрков, Тюркских каганатов, политика России в отношении Центральной Азии.

Гончарик, Нина Прокопьевна (gonchari47@mail.ru). Выпускница Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1971). Старший научный сотрудник Государственного художественного музея Алтайского края (656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 88; (3852) 61-25-10; muzei@ab.ru), Заслуженный работник культуры РФ. Сфера научных интересов — народное, декоративно-прикладное искусство, творчество художников Алтая.

Горшков, Сергей Васильевич (gor120sv@mail.ru). Выпускник исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1984). Доцент кафедры истории России исторического факультета УрГУ (620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343)350-75-45; doc_office@usu.ru). Сфера научных интересов — история промышленности, социальная история.

Ефремова, Елена Николаевна (Efreмоваalena@mail.ru). Выпускница филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (2000). Кандидат филологических наук (2004), сотрудник Отдела редких книг СОУНБ им. В. Г. Белинского (620019, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15; (343)371-54-85; bibl@labrарy.uraic.ru). Сфера научных интересов — история цензуры в России.

Зырянов, Олег Васильевич (philologusu@rambler.ru). Выпускник филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1990). Доктор филологических наук (2004), профессор, зав. кафедрой русской литературы УрГУ (620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343)350-75-92; doc_office@usu.ru). Сфера научных интересов — русская литература XX в., стиль художника.

ресов — эволюция жанров русской лирики, онтология поэтических миров, религиозные аспекты классической литературы.

Каменская, Екатерина Владимировна (ekam82@yandex.ru). Выпускница исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (2004). Аспирант кафедры общей и экономической истории Уральского государственного экономического университета (620000, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62; (343)251-96-10). Сфера научных интересов — формирование общественного мнения в СССР, средства массовой информации в СССР.

Козлов, Александр Сергеевич. Выпускник исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1971). Кандидат исторических наук (1975), доцент кафедры истории Древнего мира и Средних веков исторического факультета УрГУ (620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343)350-75-38; doc_office@usu.ru). Сфера научных интересов — история Римской империи и ранней Византии, Западной и Центральной Европы V—XI вв., история средневековой исторической мысли, история раннесредневековых кочевых народов.

Кокшаров, Сергей Федорович (uniz@mail.ru). Выпускник исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1983). Кандидат исторических наук (1993), старший научный сотрудник сектора этноистории Института истории и археологии УрО РАН (620026, Екатеринбург, ул. Люксембург, 56; (343)251-65-25). Сфера научных интересов — древняя и средневековая история Урала и Западной Сибири, этнография и фольклор обских ургов.

Комлева, Юлия Евгеньевна (komleva79@mail.ru). Выпускница исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (2002). Кандидат исторических наук (2005), доцент кафедры новой и новейшей истории УрГУ (620000, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; 350-75-32; doc_office@usu.ru). Сфера научных интересов — новая история стран Западной и Центральной Европы, история Австрии и Германии, история образования в Новое время, история социальных элит в Новое время, европейское общество и культура XVII—XVIII вв.

Кутяева, Ульяна Сергеевна (suzann@e1.ru). Выпускница филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (2010). Аспирант кафедры современного русского языка УрГУ (620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343)350-75-92; doc_office@usu.ru). Сфера научных интересов — теория интертекстуальности, прецедентность, семиотика культуры, драматургия Н. В. Коляды.

Кучина, Елена Александровна (eakuchina@mail.ru). Выпускница Удмуртского государственного университета (2010). Соискатель, лаборант кафедры русской литературы XX века и фольклора Удмуртского государственного университета (426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 (корп. 2); (3412)91-61-67; ffudgu@udm.ru). Сфера научных интересов — русская литература.

Леонтьева, Татьяна Валерьевна (leotany@mail.ru). Выпускница филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1998). Кандидат филологических наук (2004), доцент кафедры русского языка и культуры речи Российского государственного профессионально-педагогического университета (620000, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11; (343) 338-43-25). Сфера научных интересов — этнолингвистика, когнитивная лингвистика.

Морженкова, Наталия Викторовна (natalia.morzhenkova@gmail.com). Выпускница Нижегородского государственного лингвистического университета (1997). Кандидат филологических наук (2002), доцент кафедры западноевропейских языков и переводоведения Института иностранных языков Московского городского педагогического университета (129226, Москва, Малый Казенный пер., д. 56; (499)607-38-57). Сфера научных интересов — зарубежная литература XX в.

Неклюдов, Евгений Георгиевич (ntplant9@mail.ru). Выпускник Нижнетагильского государственного педагогического института (1981). Доктор исторических наук (2004), главный научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН (620026, Екатеринбург, ул. Люксембург, 56; (343)251-65-25; doc_office@usu.ru). Сфера научных интересов — история Урала, экономическая история, социальная история.

Нефедов, Сергей Александрович (nsa@k66.ru). Выпускник исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1973). Доктор исторических наук (2007), ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН (620026, г. Екатеринбург, ул. Люксембург, 56; (343)251-65-25). Сфера научных интересов — экономическая история.

Писцова, Ирина Николаевна (inremii@mail.ru). Выпускница факультета искусствоведения и культурологии Уральского государственного университета им. А. М. Горького (2002). Научный сотрудник сектора «Декоративно-прикладное искусство Урала» Екатеринбургского музея изобразительных искусств (620000, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 5; (343) 371-06-26). Сфера научных интересов — декоративно-прикладное искусство.

Постникова, Алена Александровна (alina33_07_87@mail.ru). Выпускница исторического факультета Уральского государственного педагогического университета (2010). Аспирант кафедры всеобщей истории УрГПУ (620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26; (343)235-76-34; gen-hist@mail.ru). Сфера научных интересов — армия Наполеона в 1812 г.

Семухина, Ирина Александровна (slawirsem@mail.ru). Выпускница Уральского государственного педагогического университета (1995). Кандидат филологических наук (2004), доцент кафедры русской и зарубежной литературы УрГПУ (620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26; (343)336-13-45). Сфера научных интересов — проблемы романного диалогизма, поэтика русской прозы второй половины XIX в.

Скобелкин, Олег Владимирович (olegskob@mail.ru). Выпускник Воронежского государственного университета (1983). Кандидат исторических наук (1986), доцент кафедры истории России ВГУ (394006, Россия, г. Воронеж, Университетская площадь, 1; (473)220-87-55; office@main.vsu.ru). Сфера научных интересов — история России XVI—XVII вв.

Субботина, Вера Александровна (vera.museum@mail.ru). Выпускница исторического факультета Томского государственного университета (1971), факультета теории и истории искусств Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина АХ СССР (1980). Зав. отделом декоративно-прикладного искусства ГАУК Тюменской области «Музейный комплекс» (625000 г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47; 8(3452)46-93-04). Сфера научных интересов — тобольская резная кость второй половины XIX — начала XXI в.

Суржикова, Наталья Викторовна (snvplus@mail.ru). Выпускница исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1998). Кандидат исторических наук (2001), старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН (620026, Екатеринбург, ул. Люксембург, 56; (343)251-65-25). Сфера научных интересов — история России первой половины XX в.

Тимофеев, Дмитрий Владимирович (dmitrtim@yandex.ru). Выпускник Челябинского государственного университета (1997). Кандидат исторических наук (2002), доцент кафедры истории дореволюционной России ЧелГУ (454000, г. Челябинск, ул. tdv@csu.ru). Сфера научных интересов — история социально-политических понятий, история общественно-политической мысли в России первой четверти XIX в.

Тупикин, Павел Александрович (tupikin.p@yandex.ru). Выпускник исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Аспирант кафедры новой и новейшей истории УрГУ (620000, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; 350-75-32; doc_office@usu.ru). Сфера научных интересов — США в системе геополитических противоречий середины XX в., история «большой тройки».

CONTENTS

PHILOLOGY

- Leontyeva, T. V. Semantic Field of Teaching and Transfer of Experience in the Russian Linguistic and Folklore Tradition* 6
- The article puts forward a description of the concept of teaching characteristic of popular culture. The research is made with reference to Russian dialectal vocabulary as well as Russian sayings and proverbs, with the comparative approach to the analysis of the systemic linguistic data and the aforementioned folklore texts, determining the scope of the notion of teaching, its structure, figurative understanding and axiological status in the Russian linguistic worldview.
- Key words:** ethnolinguistics, linguistic axiology, Russian dialectal vocabulary, semantics, motivation, paremiology, concept of teaching.
- Kuchina, E. A. Prayer in A. S. Pushkin's Lyrical Poetry: Fellowship as Brotherhood* 19
- The article studies A.S. Pushkin's lyrical poetry through the light of the Orthodox type of spirituality as a dominant of national culture, the poetry using poetic prayer and revealing a longing for a spiritual and ascetic understanding of the world.
- Key words:** poetic prayer, fellowship, prayerful topics, service texts, spiritual and ascetic understanding of the world.
- Volegov, A. V. A. P. Chekhov's The Seagull within the Artistic Striving of the Time* 24
- The author analyzes the aesthetic innovative nature of A. Chekhov's *The Seagull* within the context of late 19th century, with artistic thinking of the time tending towards decadence, symbolism, new literature, and a new understanding of the personality in culture.
- Key words:** A. Chekhov, new art, symbolism, decadent, Western European drama.
- Vysotskaya, Yu. S. O. Mandelstam's The Fourth Prose: Stylistic Peculiarities* 30
- The author studies O. Mandelstam's individual style peculiarities with reference to a prosaic collection of his, namely, *The Fourth Prose*. The image of the world, that of man and the author are the three main categories fundamental for the complex analysis of the literary text.
- Key words:** style, metaphor, poet's prose, image of the world, image of man, image of the author.
- Kutyaeva, U. S. Precedent Texts: Functional Typology Problem (with Reference to Plays by N. Kolyada)* 42
- The author puts forward a functional typology based on precedent texts, excerpts of plays by N. Kolyada *Murlin Murlo* (1989), *Go Away, Go Away* (1995), and *Carmen Is Alive* (2002), considering both verbal and non-verbal texts.
- Key words:** precedent texts, N. Kolyada's plays, functional typology.
- Morzhenkova, N. V. Gertrude Stein's Avant-Garde Anthropology* 51
- The article analyzes the author's concept of character, it to a considerable extent conditioning the American avant-garde writer G. Stein's literary experiment. The author studies the topics of de-psychologization, and de-individualization of the concept of man in the writer's prose, and the genesis of her *simple* heroines. The author's concept of character is viewed as part of avant-garde reflection, aiming at finding new means of thinking of man.
- Key words:** Gertrude Stein, author's concept of character, de-psychologization, de-individualization, avant-garde variant of the *little man*.

HISTORY

- Koksharov, S. F.* On a Pattern in Ancient Middle Ob' Graphic Art 58
 The article studies a pattern on Barsov type ceramics, found in the Barsov Mountain tract near the town of Surgut. The analysis draws analogues with the characters depicted on the ancient vessel, establishing the basic features and manners of people's depiction in the creative work of the taiga population of Western Siberia in the Early Iron Epoch, i. e. the Iron Age.
 Key words: anthropomorphic image, zoomorphic image, face, Uralic petroglyphs, repoussé and chasing, ceramics, stylization.
- Ganiev, R. T.* China's Foreign Policy as Related to the Eastern Turks of Central Asia in the 6th—8th centuries 65
 The article studies the foreign policy methods and ways practiced by the Chinese Zhōu, Sui and Tang Dynasties in relation to their main northern neighbour, i.e. Eastern Turkic Khaganate during a 200 year period. The author studies the practice of intermarriages between the Chinese and Göktürks within the context of the two countries' foreign policy doctrines, the Chinese rulers' policy of *the split*, and presents from the either side. The author reviews the measures China took against the Turks held captive, and the *captive sons* policy.
 Key words: Eastern Turkic Khaganate, Chinese Zhōu, Sui and Tang Dynasties, China's foreign policy.
- Komleva, Yu. E.* The Role of Late Roman and Byzantine Traditions in the Social and Legal Status of 15th—18th Centuries Professors 73
 The author studies the university professors' social status in the pre-classical epoch of European university history. Having formed in imperial Rome and Byzantium, the concept of the professor's rights and privileges and the place thereof in society had a considerable influence on the formation of European university professors' social and legal status during the Late Middle Ages and early modern period.
 Key words: European university history, social elites' history, early modern period, university professors, Byzantine law.
- Skobelkin, O. V.* Foreign Authors on Western Europeans in the Russian Armies of the 2nd ½ 16th century 85
 The author analyzes the data on Western Europeans serving in Russian armies in the 2nd ½ 16th century, as reflected in the works by H. Staden, J. Horsey, and J. Fletcher.
 Key words: Western Europeans, military service, Russia, 16th century, foreign authors.
- Postnikova, A. A.* The Russian Campaign of 1812: in the Footsteps of Stendhal 96
 The author reviews Stendhal's participation in the Russian Campaign of 1812, considering the way war influenced the future writer's worldview. The article is based on the analysis of Stendhal's letters, his novels and recollections of the participants of the campaign. The majority of the materials analyzed are in French.
 Key words: Stendhal, Russian Campaign of 1812, writer's worldview, correspondence, memoirs.
- Tupikin, P. A.* Moscow-Washington Relations during the Final Stage of World War II in Eastern Europe (January — May, 1945) 103
 The article studies the evolution of relations between the White House and the Kremlin during the final stage of World War II in 1945, the role of US military and political elite in the realization of Franklin D. Roosevelt's strategy for the development of relationships with the USSR.
 Key words: World War II, military and political elite, Big Three, political strategy, *family circle* concept.
- Surzhikova, N. V.* Prisoners of War in Bogoslovsk Mining District: Statistics and Economics 110
 The article studies the multifold notion of prisoners of World War I stay in the works of Bogoslovsk Mining District, main attention being paid to the statistics and economics of the captivity. The author analyzes data of how captive enemy military men were met, housed, provided and used as labour force, as well as the institutions and practice of captivity, largely dependent on local conditions, and intricately modified by them.

Key words: prisoners of war, World War I, Bogoslovsk Mining District, statistics, economics.

Gorshkov, S. V. Capital Investments in Ural Light Industry in 1959—1965 129

With reference to archival data, the author analyzes the share light industry investments had in the region in 1959—1965, considering both its sectorial and territorial aspects, as well as the launching processes thereof. The article demonstrates the ambiguous role the local authorities played in the light industry development of the Region during the period in question.

Key words: Urals, light industry, capital investments, means, local authorities.

Kamenskaya, E. V. Socialist World Image in Sverdlovsk Regional Press (with Reference to *The Uralsky Rabochiy (Ural Worker) Newspaper* of mid-1960s—1970s) 138

The author analyzes the image of Socialist countries and transformation thereof in the mid-1960s — 1970s with reference to *The Uralsky Rabochiy (Ural Worker)* newspaper. The article reviews the basic characteristics of both single states and Socialist world as a whole, the topics of publications, tonality thereof, and the means the media employ to influence the reader.

Key words: mass-media, regional press, image of the Socialist world, USSR.

ARTS AND CULTURE STUDIES

Goncharik, N. P. Altai Ethnic Culture in G.I. Choros-Gurkin's graphics 146

The article reviews the unique ethnographic collection by the first professional Altai artist G. I. Choros-Gurkin in the Altai State Museum of Fine Arts, i.e. sketches of monuments of old, household goods, articles of shamanic rites, details of folk costumes, the art of ornament, and historic and artistic significance thereof.

Key words: ethnographics, archaeological relics, religious beliefs, mythology and epic, art of ornament, historic document, artistic phenomenon.

Pistsova, I. N. Ural Ceramic Art of the 20th — Early 21st Centuries in the Yekaterinburg Museum of Fine Arts Collection 160

The article places the collection of Ural designer ceramics of the 20th — early 21st centuries kept in the Yekaterinburg Museum of Fine Arts within the general artistic process. The author analyzes the works by Ural sculptors and ceramicists, determining the main stages of designer ceramics development in the 20th — early 21st centuries Urals.

Key words: Ural designer ceramics, decorative ceramics, metaphor, small-scale sculpture.

Subbotina, V. A. Tobolsk Bone Carving: Artistic and Stylistic Peculiarities (Late 1860s — 1917) 171

The author analyzes the history of development and formation of typology and main stylistic and design tendencies for Tobolsk bone carving during its first stages of development in the 1860s — 1917.

Key words: bone carving, artistic trade, applied goods, folk minor bone carving, machine carving.

Gaditsky, R. V. Religious Plots Visualization Peculiarities in Romance Art 177

The article studies the basic plastic techniques of religious plots visualization in Romance art, singling out the fundamental features of the Romance artistic peculiarities underlying them.

Key words: Romance art, religious art, mediaeval culture, image of man in mediaeval art, visualization.

Beregovaya, O. V. Costume Adornment: Fashion and Technology 186

The article studies the jewellery-making techniques employed in costume adornment production, establishing a connection between fashion and technology and undertaking a concrete historical analysis of new technologies development and material introduction from the ancient times until the 9th century, and their influence on fashion formation.

Key words: adornments, new jewellery-making technologies, fashion and technology interaction.

THE GREAT REFORMS: ANNIVERSARY DEBATES

- Nefedov, S. A.* On the Slavish Nature of Russian Serfdom 199
 The author studies some polemic ideas of the essence of Russian serfdom expressed by Russian and foreign historians, economists and lawyers, with reference to historic data, proving the kindred nature of the notions of *serfdom* and *slavery*, and analyzing the reasons for and consequences brought about by the historic phenomenon in question.
 Key words: Russian serfdom, slaveholding, historiography.
- Timofeev, D. V. In Search of Solutions for the Peasant Problem in the Russian Social and Political Vocabulary (1st—19th Century) 206
 The author analyzes the connection between the notions of *slavery* and *freedom* in the social and political vocabulary of educated subjects of 1st–19th century Russia. The comparative and contextual analysis serves to determine the peculiarities of the idea the people of the time had of the strategy and tactics aiming to solve the problem of serfdom.
 Key words: slavery, freedom, property, serfdom in Russia.
- Neklyudov, E. G.* Mining Dividend Entitlement: an Abandoned Reform (Reasons, Projects, and Consequences) 219
 The article describes the little-studied phenomenon of dividend entitlement practised in Ural mining industry until the end of the imperial period, determining the essence of the right, and analyzing its influence on industry development and the changes in the number of districts practising dividend entitlement in the 2nd–19th—early 20th century. The author pays his main attention to the preparations made to reform the system of dividend entitlement, position alterations in the government, factory owners and mining population, analyzing and estimating the projects and reasons for the abolition of the process.
 Key words: Urals, mining industry, dividend entitlement.
- Efremova, E. N.* “The False Triumph of Russian Jingoism...” (Ural Press on the Abolition of Serfdom, 1911) 232
 The author studies the articles on the Emancipation reform of 1861 written for the 50th anniversary of the reform in the Ural periodical publications, as well as censorship restrictions on the topic in question.
 Key words: serfdom, Great Reforms of the 1860s, censorship of the serfdom problem, Ural press.

REVIEWS

- Kozlov, A. S.* The New Popular American History Book on the Fall of the Roman Empire 241
- Zyryanov, O. V.* Verbal Creative Activity Aesthetics through the Eyes of the Donetsk Philological School 245
- Semukhina, I. A.* Literature of the Urals through the Prism of Contemporary Genre Studies 253

ACADEMIC CURRICULUM

Conferences

- A Literary Museum in the Present-Day World: an International Practical and Theoretical Conference (V. B. Korolyova) 262

Information

- On the work of D 212.286.03 (M. A. Litovskaya) and D 212.286.11 (L. A. Nazarova) Dissertation Councils in 2010 264

New publications of the faculty of Philology	268
----------------------------------------------------	-----

MEMORIA

Lyudmila Grigoryevna Guseva (1939—2011)	273
-----------------------------------------------	-----

List of Abbreviations	275
-----------------------------	-----

On the Authors	276
----------------------	-----

ИЗВЕСТИЯ
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Серия 2
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
2011. № 3 (93)

Редактор и корректор
Компьютерная верстка

Р. Н. Кислых
Л. А. Хухаревой

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-23104 от 10.10.05.
Учредитель — Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО.
620083, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.

Подписано в печать 20.09.2011. Формат 70 × 100^{1/16}.
Уч.-изд. л. 23,45. Усл. печ. л. 23,24. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman.
Печать офсетная. Тираж 300 экз. Заказ .

Издательство Уральского университета. 620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.
Отпечатано в ИПЦ «Издательство УрГУ». 620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.

ПАМЯТКА АВТОРА

Порядок приема и движения рукописи

- Серия «Гуманитарные науки» журнала «Известия Уральского государственного университета» является периодическим изданием (4 номера в год).
- Журнал включен в Перечень ведущих научных журналов ВАК и подписной каталог «Пресса России. Газеты и журналы» (т. 1), индекс 82412.
- Материалы журнала размещаются на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) Российской универсальной научной электронной библиотеки.
- Журналу предлагаются не публиковавшиеся ранее научные труды объемом не более одного учетно-издательского (авторского) листа (40 000 знаков).
- К рукописи прилагается одна официальная рецензия.
- Авторский оригинал предоставляется в электронной версии и с обязательной распечаткой текста, аннотацией на русском и английском языках, перечнем ключевых слов на русском и английском языках и сведениями об авторе: фамилия, имя, отчество; год окончания вуза и его название; место работы; ученая степень и звание; сфера научных интересов; средство связи (телефон, e-mail, почтовый адрес).
- Распечатка рукописи должна быть полностью идентична электронному варианту.
- Страницы рукописи нумеруются.
- Иллюстрации к статье даются отдельным файлом, с нумерацией и соответствующей распечаткой.
- Рукописи высылаются по адресу: 620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51. Главному редактору серии «Гуманитарные науки» журнала «Известия Уральского государственного университета».
- Статьи принимаются к рассмотрению в течение всего года.
- Редколлегия уведомляет автора рукописи о том, принят или не принят к публикации материал. При одобрении рукописи рецензентами и редколлегией редакция пересылает автору электронной почтой реквизиты УрГУ для частичного возмещения им расходов на рецензирование, научное редактирование и т. д.
- С аспирантов оплата указанных расходов не взимается.
- Рукописи, не принятые редколлегией к изданию, не рецензируются и автору не возвращаются.
- Статьи на корректуру авторам не высылаются.

Требования к авторскому оригиналу

Подготовка электронного варианта рукописи

- **Формат бумаги** — А4 (210 × 279 мм), ориентация книжная.
- **Программа** — Word, **гарнитура** — Times.
- **Поля** — все по 2 см.
- **Размер шрифта** (кегель) — 14 (алгоритм набора: Формат — Шрифт — Размер 14).
- **Межстрочный интервал** — полуторный (Формат — Абзац — Междустрочный — Полуторный).
- **Межбуквенный интервал** — обычный.
- **Абзацный отступ** — 1,25 (Формат — Абзац — Первая строка — Отступ 1,25).
- **Выравнивание текста по ширине** (Формат — Абзац — Выравнивание — По ширине).
- **Нумерация страниц** (Вставка — Номер страницы — Внизу, справа).
- **Переносы обязательны** (Сервис — Язык — Расстановка переносов — Автоматическая расстановка переносов).

- **Квадратные скобки** — на латинской клавиатуре (переход на латиницу с помощью клавиш Shift и Ctrl, нажатых одновременно).
- **Межсловный пробел** — один знак. Пробелы обязательны после всех знаков препинания (включая многоточие), в том числе в сокращениях *т. е.*, *т. п.*, *т. д.*, *т. к.* Два знака пунктуации подряд пробелом не разделяются, например: *М., 1995*. В личных именах все элементы разделяются пробелами, например: *А. С. Пушкин*.
- **Дефис** должен отличаться от тире, например: *Творчество Н. Заболоцкого конца 1920-х — начала 30-х годов*.
- **Тире** должно быть одного начертания по всему тексту, с пробелами слева и справа, за исключением оформления пределов «от... до» в числах и датах, например: *1941—1945 гг., с. 8—61*.
- **Кавычки** должны быть одного начертания по всему тексту («...» — внешние, “...” — внутренние).
- **Точка, запятая и точка с запятой** при слове с надстрочным знаком сноски ставятся после знака сноски, например: *«Наши дети — энциклопедисты по самому характеру своего мышления», — говорил Маршак¹*.
- **Буква ё/Ё** заменяется буквой е/Е за исключением важных для смысловоразличения контекстов, например: *Всем обо всём*.
- При наборе не допускается использование стилей, не задаются колонки.
- Не допускаются пробелы между абзацами.

Виды и приемы выделений в тексте

- Основные виды выделений в рукописи — **рубрикационные** (заголовки рубрик) и **смысловые** (термины, значимые положения, логические усиления).
- Смысловые выделения в авторском тексте оформляются разрядкой (**Формат — Шрифт — Интервал — Разреженный — 2**).
- Короткие примеры в авторском тексте выделяются светлым курсивом, при необходимости используется полужирный курсив, например: *«Неблагозвучны громоздкие сочетания согласных на стыке слов (*пусть встреча состоится*)»*. Отдельные фрагменты цитируемого текста выделяются мелким шрифтом с отбивками от основного текста.

Библиографические ссылки и примечания

- Ссылки — затекстовые, оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5—2008, введенным с 1 января 2009 г., с обязательным указанием общего объема или конкретных страниц цитируемого источника.
- Отсылки в тексте — в квадратных скобках с указанием фамилий авторов (если документ создан 1—3 авторами) или названий (4 и более авторов, коллективные сборники), а также при необходимости номера тома и страницы при прямом цитировании. Год издания указывается лишь в том случае, если есть ссылки на другие книги этого автора. Например: [Толстой, т. 4, с 285]. Отсылки в тексте на архивные документы оформляются аналогично: в квадратных скобках, элементы отсылки через запятую. Ссылки на архивный источник за текстом — по правилам оформления затекстовых ссылок.
- Для ссылок на электронные ресурсы вместо слов «Режим доступа» используют аббревиатуру URL (Uniform Resource Locator — унифицированный указатель ресурса) и ссылку на дату обращения. Например: URL: <http://www.prognosis.ru> (дата обращения: 13.03.09).
- Примечания оформляются с помощью подстрочника и арабской цифры-индекса в качестве знака сноски. Ссылки на литературу в составе примечания приводятся в виде отсылки в квадратных скобках.

Телефон для справок: (343)350-75-92 (кафедра фольклора и древней литературы).

Электронный адрес: izvestia_2@usu.ru